ЕВРОПЕЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Тема номера:
«Пространственный поворот»
в современных социальных и гуманитарных науках
[«Spatial Turn» in Contemporary Social Sciences and Humanities]

ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ **ЖУРНАЛ**

ТОПОС **№1**, 2011

ISSN 1815-0047

Журнал включен в международные базы данных:
The Philosopher's Index;
EBSCO-CEEAS (Central & Eastern European Academic Source)

Адрес редколлегии:
journal.topos@ehu.lt

Информация о журнале размещена на сайте:
http://topos.ehu.lt

Адрес издателя:
Европейский гуманитарный университет
Tauro st. 12, LT-01114
Vilnius Lithuania

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

О НОМЕРЕ
(слово редакторов)

Идея посвятить номер журнала *Топос* теме «пространственного поворота» в современных социальных и гуманитарных науках продиктована не только желанием включиться в один из самых оживлённых исследовательских дискурсов, развернувшихся в последние десятилетия в западном научном пространстве, но также стремлением увидеть за этим глобальным академическим трендом локальные социокультурные трансформации, анализ которых требует новой оптики и языка описания.

Статья известного американского социального географа Дэвида Харви, открывающая номер, исполняет роль своеобразного введения в современные исследования пространства. Демонстрируя всю сложность, актуальность и социально-критическую релевантность этих исследований, Д. Харви указывает на необходимость комплексного подхода в анализе пространства, продуктивность междисциплинарной работы с его символическими и материальными аспектами, а также на важность критического анализа того, чт*о* мы понимаем, когда говорим и пишем о пространстве. Сегодня «пространство» из ключевого слова (*keyword*) превратилось в ярлык (*tag*), произвольно приписываемый разнородным группам феноменов и представлений. В этой связи задача-максимум номера заключается не столько в обнаружении и определении ключевых слов, соотносимых так или иначе с «пространственным поворотом», сколько в прояснении того, какие смыслы и практики скрываются за ярлыком «пространство» в различных проблемных областях. Речь идёт, в том числе, о различных вариантах анализа некритического употребления слова «пространство» и способах преодоления этого доминирующего знания путём отсылки к важному эпистемологическому принципу, который можно сформулировать так: *пространство – это аспект, а не контекст действия* (см. также статьи Владимира Конева и Юлии Бедаш в этом номере).

Выполнение этой задачи-максимум невозможно без критического пересмотра существующей академической инфраструктуры, служащей зачастую «прокрустовым ложем» для анализа проблем, требующих более широкой исследовательской перспективы. Вопрос о пространстве порой оказывается подрывным зарядом, разрушающим устоявшиеся режимы легитимации и объяснительные матрицы отдельных дисциплин. С наибольшей очевидностью эта проблема даёт о себе знать в статьях Ивана Митина, Агнешки Подпоры и Томаса Фукса. В номере также представлены статьи (Елены Трубиной и Петра Сафронова), в которых – в эксплицитной форме – ставится вопрос о социально-критическом анализе дисциплинарных границ и поиске культурных, политических и научных ресурсов для исследования конкретных пространственных практик.

В рубрике «Феноменология пространства» представлены статьи, в которых исследуется онтологическое и антропологическое значение повседневного опыта пространства, при этом феноменология рассматривается не столько как академическая дисциплина, сколько как способ подхода, исследовательский метод. Так, принимая во внимание всё большую иконизацию и эстетизацию современной жизни, Илья Инишев анализирует реально-воображаемый (метериально-смысловой) характер иконической пространственности. Дмитрий Гинев, опровергая в своей статье довольно распространённое (в том числе и среди феноменологов) мнение о том, что Мартин Хайдеггер является «философом времени», последовательно демонстрирует, что пространственность у Хайдеггера играет не менее важную роль, чем временность. Реабилитация проблематики пространства в философии Хайдеггера важна не только для внутрифеноменологических изысканий, но также для междисциплинарных исследований пространства, поскольку анализ, представленный Хайдеггером, может служить хорошей исследовательской базой для анализа особой пространственности человеческой жизни. Об этой специфической пространственности человеческого существа пишет в своей статье феноменолог и практикующий психотерапевт Томас Фукс. Анализируя феномен «жилого пространства» (*lived space*) как пространства возможностей, Фукс демонстрирует, как организация этого пространства может влиять на ментальное здоровье тех, кто его обживает.

В рубрике «Город и свобода» представлены статьи, в которых проблема связи пространства, политики и культуры рассматривается сквозь призму тех нормативно-ценностных установок, которые формируются городской средой (см. статьи Анны Ширакановой, Александры Яцык и Вероники Урбонайте). Анализируя постсоветские города, характерные для них модели размещения и места, авторы статей актуализируют – в прикладном ключе – вопрос об эмансипаторном потенциале городской культуры. Делает ли на самом деле городской воздух человека свободным, как гласила известная средневековая формула? Ответ на этот вопрос авторы ищут, анализируя отношения между приватными и публичными местами, а также те (маргинальные) практики свободы, которые разрушают конвенциональный порядок города с присущей ему функциональностью и строгой пространственной организацией.

Несколько иной подход – историко-социологический – к исследованию городского пространства и способов его трансформации представлен в статьях рубрики «Город и производство». Здесь базовым остовом для интерпретативной работы с пространственными конфигурациями выступают исторические типы индустриального и постиндустриального городов. Будучи типичным для западной социологии города, этот подход приобретает свою специфику и актуальность при исследовании советских и постсоветских индустриальных пространств (см. статьи Светланы Ульяновой,

Натальи Анфёровой, Натальи Веселковой, Елены Прямиковой и Михаила Вандышева). Описываемые в статьях особенности пространственной организации (пост)социалистических индустриальных городов не только вскрывают связь между пространством и идеологией, но и показывают, как индустриальное прошлое этих городов сказывается на процессе их трансформации и адаптации к новым реалиям.

В номере также представлены рецензии на пять заметных работ о пространстве, вышедших на русском и английском языках за последние годы. Надеемся, что они также будут интересны и полезны читателям нашего журнала.

Юлия Бедаш
Сергей Любимов

ПРОСТРАНСТВО КАК КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО

Дэвид Харви[1]

Если бы сегодня Раймонд Уильямс работал над текстом своих знаменитых *Ключевых слов*, он непременно включил бы в него статью о «пространстве». По всей видимости, он включил бы это слово в короткий список понятий, в котором содержатся такие понятия, как «культура» или «природа», относящиеся к «наиболее сложным словам нашего языка» (Williams 1976). Но как нам прояснить спектр значений, связанных со словом «пространство», и при этом не потеряться в лабиринте (который сам по себе является интересной пространственной метафорой) сложностей?

«Пространство» часто обнаруживает модификации. Сложности иногда возникают скорее ввиду модификаций слова (которые слишком часто опускаются в устной или письменной речи), нежели какой-либо внутренней сложности самой идеи пространства. Когда, например, мы пишем о «материальном», «метафорическом», «пороговом» (*liminal*), «личностном», «социальном» или «физическом» пространстве (возьмём лишь несколько примеров), мы указываем на многообразие контекстов, которые настолько влияют на содержание, что понимание значения слова «пространство» зависит от соответствующего контекста. Подобным же образом, когда мы конструируем словосочетания – такие как пространство страха, игры, космологии, грёз, гнева, элементарных частиц, капитала, геополитической напряженности, надежды, памяти или экологического взаимодействия (опять-таки, дабы упомянуть лишь некоторые из кажущегося бесконечным количества способов использования этого термина), – область применения этих конструкций подразумевает нечто настолько особенное, что формулировка общей дефиниции пространства оказывается невыполнимой задачей. Несмотря на это, я намереваюсь проигнорировать эти сложности и попытаться прояснить всеобщее значение этого термина. Тем самым я надеюсь рассеять туман недопонимания, который, как кажется, опутывает использование этого слова.

Однако отправная точка нашего исследования не невинна, поскольку с неизбежностью очерчивает особую перспективу, которая выдвигает на передний план некоторые вопросы,

---

[1] Дэвид Харви (Harvey) – Ph. D. (Cambridge, 1962), почётный профессор географии и антропологии, директор *Center for Place, Culture and Politics* в департаменте аспирантуры Городского университета Нью-Йорка (*City University of New York* – CUNY) (Нью-Йорк, США).

оставляя другие в тени. Конечно, обычно известное преимущество признаётся за философской рефлексией, так как философия стремится возвыситься над разнообразными и отличающимися друг от друга полями человеческой практики и частичных знаний, дабы наделить категории, к которым мы можем апеллировать, конкретными значениями. Но у меня сформировалось устойчивое впечатление, что между философами имеется слишком много разногласий и путаницы касательно значения слова «пространство», чтобы рассматривать философские концепции пространства в качестве беспроблемной отправной точки. К тому же, поскольку я не обладаю достаточной компетентностью, чтобы рассуждать о понятии пространства в рамках философской традиции, наилучшим отправным пунктом было бы то, с чем я знаком лучше всего. Поэтому я начну с позиции географа – не потому, что точка зрения географа является привилегированной и так или иначе обладает исключительным правом на использование пространственных понятий (на чём, как кажется, настаивают некоторые географы), но потому, что мне довелось работать по большей части именно в этой области. Это та арена, на которой я столкнулся со сложностью понятия «пространства» самым непосредственным образом. Разумеется, я часто опирался на работу других, проводивших исследования в различных отраслях академического и интеллектуального разделения труда, равно как и на работы многих географов (слишком многих, чтобы упомянуть всех в столь коротком эссе), которые – каждый посвоему – активно занимались исследованием этих проблем. Здесь я не претендую на то, чтобы осуществить синтез всей этой работы. Я предлагаю всего лишь личный отчёт о том, как сформировались (или не сформировались) мои собственные взгляды, когда я искал значения, которые в максимальной степени были бы эффективны в контексте занимавших меня теоретических и практических вопросов.

Я начал размышлять над этой проблемой много лет назад. В работе *Социальная справедливость и город* (*The Social Justice and the City*), опубликованной в 1973 году, я отстаивал тезис о центральном значении рефлексий о природе пространства, коль скоро нам необходимо понять урбанистические процессы в условиях капитализма. Опираясь на идеи, которые были собраны мной во время изучения философии науки и частично проанализированы в *Объяснении в географии* (*Explanation in Geography*), я обнаружил три способа понимания пространства.

> «Если мы рассматриваем пространство в качестве абсолюта, то оно становится “вещью в себе”, обладающей существованием, независимым от содержания. Это пространство обладает структурой, которую мы можем применять к изолированным или индивидуализированным феноменам. Идея релятивного пространства предполагает, что оно может быть понято как отношение между объектами, существующее лишь до тех пор, пока существуют и находятся в отношении

> друг с другом сами объекты. Существует и другой смысл, в каком пространство может быть рассмотрено как относительное. Я решил назвать такое пространство реляционным. Это пространство понимается в духе Лейбница – как содержащееся в объектах в том смысле, что об объекте можно сказать, что он существует, лишь поскольку он содержит и репрезентирует в себе самом отношения к другим объектам» (Harvey 1973).

Я думаю, что различение этих трёх способов вполне достойно того, чтобы его сохранить. Поэтому позвольте мне начать с краткого пояснения импликаций каждого из этих типов пространства.

Абсолютное пространство фиксировано, и мы регистрируем или планируем события в его рамках. Это пространство Ньютона и Декарта. Обычно оно представляется как заранее существующая и неподвижная сетка (*grid*), поддающаяся стандартизированному измерению и доступная для исчислений. В терминах геометрии, это Евклидово пространство и поэтому – пространство разного рода кадастрового (*cadastral*) картографирования и инженерных практик. Это изначальное пространство индивидуации, то есть пространство *res extensa*, в терминологии Декарта. И оно применимо ко всем дискретным и ограниченным феноменам, включая нас с вами как конкретных личностей. В социальном отношении речь идёт о пространстве частной собственности и других территориальных обозначений (таких как государства, административные единицы, планы города (*city plans*) и городские сетки (*urban grids*)). Когда декартовский инженер смотрел на мир с чувством превосходства, это был мир абсолютного пространства (и времени), из которого в принципе могут быть изгнаны все недостоверности и неясности и в котором человеческие вычисления способны достичь безграничного размаха.

Идея релятивного пространства в основном ассоциируется с именем Эйнштейна и неевклидовыми геометриями, которые наиболее систематическим образом начали разрабатываться в XIX веке. Пространство релятивно в двух смыслах: *во-первых*, существует множество геометрий, из которых нам приходится выбирать, и, *во-вторых*, пространственная рамка принципиально зависит от того, что и кем релятивизируется. Когда Гаусс впервые установил правила неевклидовой сферической геометрии, дабы разрешить проблемы точного наблюдения искривлённой земной поверхности, он также подтвердил тезис Эйлера, согласно которому идеально масштабированная карта любой части поверхности Земли невозможна. В дальнейшем Эйнштейн использовал этот аргумент для указания на то, что все способы измерения зависят от точки зрения (*the frame of reference*) наблюдателя. Он учит нас, что в физической вселенной необходимо отбросить идею одновременности. При такой формулировке невозможно понять пространство независимо от времени, и это обстоятельство находит своё выражение и на уровне понятий: от пространства и времени мы

переходим к пространству-времени или пространственно-временности (*spatio-temporality*). Конечно же, это было достижением Эйнштейна: предоставить точные средства для исследования таких феноменов, как искривление пространства, исследуя темпоральные процессы, происходящие со скоростью света (*operating at the speed of light*) (Osserman 1995). Но в схеме Эйнштейна время остаётся фиксированным, тогда как пространство гнётся в соответствии с некоторыми наблюдаемыми правилами (подобно тому как Гаусс изобрёл сферическую геометрию в качестве точного средства для рассмотрения искривлённой земной поверхности посредством триангуляции).

На более приземлённом уровне географических исследований мы знаем, что пространство транспортных отношений (*transportation relations*) кажется отличным и отличается от пространства частной собственности. Уникальность местоположения и индивидуация, очерченные ограниченными территориями в абсолютном пространстве, открывают дорогу для множества местоположений, равноудалённых от, скажем так, некоторого центрального местоположения в городе (*some central city location*). Мы можем создать различные карты релятивных местоположений посредством различения расстояний, измеренных в терминах стоимости, времени, способа передвижения (автомобиль, велосипед или скейтборд), и даже разорвать пространственные непрерывности, ориентируясь на коммунальные сети (*networks*), топологические отношения (оптимальный маршрут для доставки почты) и т. п. Мы знаем, что, принимая во внимание дифференциальные рассогласования (*differential frictions*) встречаемых на земной поверхности дистанций, знаменитая прямая не обязательно будет кратчайшим расстоянием (измеряемым в терминах времени, стоимости, затраченной энергии) между двумя точками. К тому же ключевую роль здесь играет точка зрения наблюдателя. Взгляд на мир типичного ньюйоркца, как его изображает знаменитая карикатура Стейнберга (Steinberg), быстро теряет какой-либо смысл, стоит нам только взглянуть на территории, расположенные западнее Гудзона или восточнее Лонг-Айленда.

Важно отметить, что все эти релятивизации необязательно сокращают или ликвидируют нашу способность измерения или контроля, но они указывают на то, что для некоторых из рассматриваемых нами феноменов и процессов требуются специальные правила и законы. Однако трудности возникают, как только мы пытаемся объединить трактовки пространства, проистекающие из различных областей. Например, пространственно-временность, необходимая для точной репрезентации потоков энергии, проходящих через экологические системы, скорее всего окажется несовместимой с пространственно-временностью финансовых потоков, проходящих через глобальные рынки. Понимание пространственно-временн*ых* ритмов накопления капитала нуждается в системе координат, существенно отличающейся от системы ко-

ординат, необходимой для понимания глобальных изменений климата. Эти рассогласования, в которых крайне тяжело разобраться, необязательно представляют собой недостаток при условии, что мы и их принимаем именно за то, чем они являются. Сопоставление различных пространственно-временн*ы*х каркасов (*frameworks*) способно прояснить нам проблемы политического выбора (например, поддерживаем мы пространственно-временность финансовых потоков или же экологических систем, которые этими потоками подрываются?).

Реляционное понятие пространства чаще всего ассоциируется с именем Лейбница, который в знаменитой серии писем к Кларку (Clarke) (эффективно игравшего роль заместителя Ньютона) громогласно опротестовывает абсолютный взгляд на пространство и время, столь центральный в теории Ньютона.[2] Его первоначальное возражение было теологическим. Согласно Ньютону, Бог скорее находился в абсолютном времени и пространстве, нежели управлял пространственно-временностью. В расширительном смысле, реляционный взгляд на пространство предполагает, что такие вещи, как пространство или время, не существуют вне процессов, которые их определяют. (Если Господь создаёт мир, то он также решает – выбирая из многих возможностей – создать пространство и время определённого типа.) Процессы не происходят в пространстве, а задают свою собственную пространственную рамку. Понятие пространства встроено в процесс или внутренне ему присуще. Сама эта формулировка предполагает, что, как и в случае с релятивным пространством, невозможно отделить пространство от времени. Поэтому мы должны фокусироваться скорее на реляционности пространства-времени, нежели на реляционности изолированного пространства. Реляционное представление пространства-времени заключает в себе идею внутренних отношений; со временем внешние влияния интернализируются в специфические процессы или вещи (подобно тому как моё сознание абсорбирует все виды внешней информации и стимулов, чтобы произвести странные образцы мышления, включая сны, фантазии, равно как и попытки рациональных расчётов). Событие или вещь в некоторой точке пространства не могут быть поняты посредством апелляции к тому, что существует лишь в этой точке пространства. Они зависят от всего того, что ещё происходит вокруг пространства (подобно тому как те, кто входит в комнату с целью дискуссии, привносят с собой разнообразный опыт, который они аккумулировали по всему миру). Широкий спектр разнообразных влияний, окутывающих пространство в прошлом, настоящем и будущем, концентрируется и застывает в определённой точке (например, в конференц-зале), чтобы определить природу этой точки. Идентичность, в рамках этого аргумента, подразумевает нечто совершенно отличное от того, что мы понимаем под ней из перспективы абсолютного про-

2 Я писал об этом в: Harvey (1996), в частности в гл. 10.

странства. В итоге, мы получаем расширенную версию лейбницевского понятия монады.

Чем дальше мы продвигаемся по направлению к миру реляционного пространства-времени, тем более проблематичным становится измерение. Но на чём основывается допущение, согласно которому реляционное пространство существует, только если оно измеримо и квантифицируемо неким традиционным способом? Это ведёт к некоторым интересным размышлениям о неудаче (быть может, лучше говорить об ограниченности) позитивизма и эмпиризма при попытке разработать адекватное понимание пространственно-временн*ых* понятий помимо тех, которые допускают измерение. Некоторым образом реляционные концепции пространства-времени приводят нас к той точке, в которой сходятся, если не сливаются, математика, поэзия и музыка. И с научной точки зрения (которая противоположна эстетической) эти концепции ненавистны тем, кто склонен к позитивизму и примитивному материализму. Кантианский компромисс, признающий пространство реальным, но доступным лишь интуиции, пытается в этой точке возвести мост между Ньютоном и Лейбницем посредством инкорпорирования понятия пространства в теорию эстетического суждения. Однако то обстоятельство, что Лейбниц становится вновь популярным и значимым не только как гуру кибер-пространства, но и как фундаментальный мыслитель в плане более диалектических подходов к проблеме взаимосвязи сознания и мозга и формулировкам теории квантов, сигнализирует о наличии своего рода стремления выйти за пределы абсолютных и релятивных понятий и их более доступных измерению качеств, равно как и за пределы кантианского компромисса. Но реляционная территория – это крайне привлекательная и крайне сложная для работы территория. Существует множество мыслителей, которые на протяжении многих лет вкладывали свои таланты в размышления о перспективах реляционного мышления. Альфред Норт Уайтхед воодушевлялся необходимостью реляционного взгляда и сделал многое для его продвижения[3]. Делёз также много размышлял об этих идеях в своих рефлексиях как о Лейбнице (вместе с рефлексиями о барочной архитектуре и математике складки в работах Лейбница), так и о Спинозе.

Но почему – и как – я, будучи географом, нахожу полезным реляционный подход к пространству-времени? Ответ достаточно прост, поскольку существуют определённые темы, как, например, политическая роль коллективной памяти в урбанистических процессах, которые могут быть доступны только таким образом. Я не могу поместить политическую и коллективную память в некое абсолютное пространство (однозначно расположить на какой-либо сетке или карте), как и не могу понять их циркуляцию согласно правилам пространства-времени, которые, однако, достаточно

[3] Fitzgerald (1979); я пытался примириться с точкой зрения Уайтхеда в: Harvey (1996).

сложны. Если я спрашиваю, что значит площадь Тяньаньмэнь или Граунд Зеро (Ground Zero), то единственная возможность найти ответ скрывается в реляционных терминах. Это проблема, с которой я столкнулся, когда писал о базилике Сакре-Кёр в Париже (Harvey 1979). И, как я кратко представлю ниже, невозможно понять марксистскую политическую экономию вне реляционной перспективы.

Итак, является ли пространство (пространство-время) абсолютным, релятивным или реляционным? Я не знаю, существует ли онтологический ответ на этот вопрос. В своей работе я использую все три определения пространства. Таков вывод, к которому я пришёл тридцать лет назад, и за прошедшее с тех пор время я не обнаружил особой причины (я также не услышал какого-либо стоящего аргумента в пользу этого), чтобы заставить себя изменить своё мнение. Вот что я писал:

> «Пространство не является ни абсолютным, ни релятивным, ни реляционным само по себе, но оно может стать одним из них или тремя сразу в зависимости от обстоятельств. Проблема верной концептуализации пространства разрешается человеческой практикой, посредством обращения к ней. Другими словами, не существует философских ответов на философские вопросы, возникающие вокруг проблемы пространства. Ответы лежат в поле человеческих практик. Поэтому вопрос о том, что такое пространство, заменён вопросом: каким образом различные человеческие практики создают и используют различные концептуализации пространства? Например, отношения собственности создают абсолютные пространства, в рамках которых может осуществляться контроль монополий. Движение людей, товаров, услуг и информации происходит в релятивном пространстве, потому что оно требует денег, времени, энергии и т. п., чтобы преодолевать рассогласования (*friction*) дистанции. Части страны также получают выгоду, поскольку они заключают в себе отношения с другими частями… …В форме ренты реляционное пространство обретает своё значение важного аспекта человеческой социальной практики» (Harvey 1979, p. 13).

Существуют ли правила для принятия решения, где и когда одна пространственная рамка (*spatial frame*) оказывается предпочтительнее другой? Или же выбор осуществляется произвольно, на основании капризов человеческой практики? Решение использовать ту или иную концепцию, несомненно, зависит от природы исследуемого феномена. Так, например, концепция абсолютного пространства может оказаться наиболее адекватной в вопросах пределов собственности и определения границ, но она ни на йоту не помогает мне продвинуться в вопросе, что такое площадь Тяньаньмэнь, Граунд Зеро и базилика Сакре-Кёр. Поэтому я нахожу полезным – но только в качестве внутренней проверки – набросать обоснования для выбора абсолютной, релятивной или реля-

ционной системы координат. Кроме того, я часто замечаю, что в своих практиках я допускаю существование некой иерархии между ними в том смысле, что реляционное пространство может включать в себя релятивное и абсолютное, релятивное может включать в себя абсолютное, но абсолютное пространство остаётся лишь абсолютным пространством. Но я не стал бы самоуверенно продвигать эту точку зрения в качестве рабочего принципа, не говоря уже о том, чтобы отстаивать её теоретически. Я нахожу куда более интересным оставить эти три понятия в теоретическом напряжении по отношению друг к другу и мыслить постоянно сквозь призму взаимоотношения между ними. Граунд Зеро (нулевой уровень) является абсолютным пространством в то самое время, когда он релятивен и реляционен в пространстве-времени.

Позвольте мне проиллюстрировать эту идею на примере. Я разговариваю в комнате. Радиус слышимости моих слов ограничен абсолютным пространством, заданным конкретными стенами, и абсолютным временем разговора. Чтобы меня услышать, люди должны находиться внутри данного абсолютного пространства в данное абсолютное время. Те люди, которые находятся за пределами этих стен, исключаются из числа моих слушателей, как и те, которые придут позже и вряд ли смогут меня услышать. Те, которые находятся внутри, могут быть идентифицированы как индивидуальности – как индивидуализированные – согласно абсолютному пространству, например согласно занимаемому ими месту в течение отведённого времени. Но я также нахожусь и в релятивном пространстве по отношению к аудитории. Я нахожусь здесь, а слушатели – там. Я пытаюсь общаться сквозь пространство посредством медиума – атмосферы, которая по-разному преломляет мои слова. Я говорю тихо, и ясность моих слов убывает по мере увеличения дистанции: люди на задних рядах не могут расслышать моих слов. Если бы существовал видео-мост (*video-feed*) с Абердином, то я мог бы быть услышан там, но не на последних рядах. В релятивном пространстве-времени мои слова воспринимаются по-разному. Индивидуация становится ещё более проблематичной, если в пространстве-времени присутствует много людей, имеющих одно и то же релятивное местоположение. Все люди в четвёртом ряду равноудалены от меня. Дисконтинуальность в пространстве-времени возникает между теми, кто может слышать, и теми, кто не слышит. Анализ того, что происходит в абсолютном пространстве и времени разговора, происходящего в комнате, выглядит совершенно иначе, если рассматривать его сквозь призму релятивного времени-пространства. Но в данной ситуации присутствует и реляционный компонент. Каждый представитель публики привносит в абсолютное пространство и время разговора различные виды идей и опытов, собранных в пространстве-времени их жизненных траекторий, и всё это также присутствует в комнате: он не может перестать думать о дискуссии, произошедшей за завтраком; она не может вычеркнуть из памяти ужасные образы смерти и разру-

шения, виденные ею в вечерних новостях. Что-то в моей манере говорить напоминает кому-то травматическое происшествие из далёкого прошлого, а мои слова – политические митинги, которые некто часто посещал в 1970-х гг. Мои слова выражают некоторую ярость, направленную на то, что происходит в мире. Я нахожу себя думающим, в то время как говорю, что всё, что мы делаем в этой аудитории, глупо и тривиально. В комнате возникает напряжение. Почему мы не на улицах, почему не свергаем правительство? Я выпутываюсь из всех этих реляциональностей, отступаю назад в абсолютное и релятивное пространства комнаты и пытаюсь затронуть тему пространства как ключевого слова в сухой и технической манере. Напряжение рассеивается, кто-то в переднем ряду начинает клевать носом. Я знаю, где каждый из присутствующих находится в абсолютном времени и пространстве. Но у меня нет идей насчёт того, где во время беседы находятся «мысли людей». У меня может быть чувство, что некоторые слушатели находятся со мной, а некоторые нет, но я никогда не знаю этого наверняка. Однако это, безусловно, самая важная составляющая всего происходящего. В конце концов, это то поле, в котором располагаются подвижные политические субъективности. Реляциональность очень трудно – если вообще возможно – зафиксировать, но, тем не менее, она жизненно необходима для всего этого.

Я хотел бы показать на этом примере, что существует граница, кладущая предел самой пространственности, поскольку неумолимо мы находимся одновременно во всех трёх системах координат, хотя и необязательно в равной степени. Иногда мы перестаём, зачастую даже не замечая этого, предпочитать ту или иную дефиницию в контексте наших практических действий. В абсолютистском модусе я буду совершать какое-то действие и приходить к определённым выводам. В релятивном модусе я буду поразному конструировать свои интерпретации и делать что-то ещё. И если всё будет выглядеть совсем по-другому сквозь реляционные фильтры, тогда я буду вести себя совершенно иначе. То, что мы делаем, как и то, что мы понимаем, полностью зависит от первичной пространственно-временной рамки, в которую мы себя помещаем. Посмотрим, как это работает в отношении того наиболее нагруженного социально-политического понятия, которое мы называем «идентичностью». Всё достаточно ясно в абсолютном времени и пространстве, но ситуация несколько усложняется, когда дело доходит до релятивного времени-пространства и становится совсем уж затруднительной в реляционном мире. Но только в перспективе этой последней рамки мы можем начать схватку со многими аспектами современной политики, поскольку это мир политической субъективности и политического сознания. Дюбуа (Du Bois) много лет назад попытался описать данную ситуацию в терминах того, что он называл «двойное сознание»: он спрашивал, что это значит – нести в себе опыт бытия, будучи одновременно чёрным и американцем? Сегодня мы ещё больше усложняем этот вопрос,

спрашивая, что значит быть американкой, чёрной, женщиной, лесбиянкой и представительницей рабочего класса? Как все эти реляционности входят в политическое сознание субъекта? И когда мы рассматриваем другие измерения – мигрантов, диаспор, туристов, путешественников, тех, кто составляет аудиторию глобальных медиа, фильтрующую или же, наоборот, полностью впитывающую какофонию их сообщений, – то самый важный вопрос, с которым мы сталкиваемся, заключается в понимании того, как весь этот реляционный мир опыта и информации интернализируется в отдельном политическом субъекте (хотя и индивидуализированном в абсолютных пространстве и времени), дабы поддержать ту или иную линию размышления и действия. Ясно, что мы не можем понять подвижную территорию, на которой формируются политические субъективности и происходят политические акции, не мысля происходящее в реляционных терминах.

Если контраст между абсолютной, релятивной и реляционной концепциями пространства – это единственный путь для раскрытия значения пространства как ключевого слова, тогда мы могли бы на этом и остановиться. К счастью, или несчастью, существуют другие и в равной степени убедительные пути рассмотрения данной проблемы. Так, например, в последние годы многие географы указывают на существенное изменение в использовании понятия пространства в материалистических проектах вещественной географии и на расширение использования пространственных метафор в социальной, литературной и культурной теории. Эти метафоры, к тому же, часто использовались для того, чтобы разрушить так называемые метанарративы (такие, например, как марксистская теория) и те дискурсивные стратегии, в которых обычно превалирует временн*о*е измерение. Всё это спровоцировало бесконечные споры о роли пространства в социальной, литературной и культурной теориях. Я не намерен вступать в подробную дискуссию о значимости так называемого «пространственного поворота» вообще и о его отношениях с постмодернизмом в частности. Моя собственная позиция по данному вопросу совершенно ясна: конечно, надлежащее рассмотрение пространства и пространства-времени оказывает ключевое воздействие на то, как артикулируются и развиваются теории и концепции. Но оно не является оправданием отказа от каких-либо попыток создания метатеории (конечным результатом чего стало бы возвращение к географии, как она практиковалась в академии в 1950-х гг., в которой, что интересно, счастливым, хотя и невольным образом вызрела заметная часть современной британской географии). Поэтому суть рассмотрения пространства как ключевого слова состоит в том, чтобы определить, как это понятие может быть лучше интегрировано в существующие социальную, литературную и культурную метатеории и с каким эффектом.

Эрнст Кассирер, например, предлагает различать три модуса человеческого опыта пространства: так, он различает органиче-

ское, перцептивное и символическое пространства (Cassirer 1944; а также Harvey 1973, p. 28). В первом понятии объединены все те формы пространственного опыта, которые даны нам биологически (то есть материально и будучи регистрируемыми посредством отдельных характеристик наших чувств). Перцептивное пространство связано со способами, какими мы неврологически обрабатываем физический и биологический опыт пространства и регистрируем его в мире наших мыслей. Символическое пространство является абстрактным (и может вызывать развитие абстрактного символического языка, такого как геометрия или конструирование архитектурных и пикториальных форм). Символическое пространство генерирует различные значения посредством чтения и интерпретации. Здесь на первый план выходит вопрос эстетических практик. В этой области знания Сьюзен Лангер (Langer), со своей стороны, устанавливает различие между «реальным» и «виртуальным» пространством. Последнее, с её точки зрения, равносильно «созданному пространству, выстроенному из форм, цветов и т. д.», – созданному, чтобы производить неуловимые образы и иллюзии, составляющие сердце всех эстетических практик. Архитектура, утверждает она, «является пластическим искусством, и её первым достижением всегда, бессознательно и неизбежно, является иллюзия: нечто исключительно воображаемое или концептуальное, переведённое в визуальное впечатление». То, что существует в реальном пространстве, может быть достаточно легко описано, но для того чтобы понять аффект, который возникает при соприкосновении с произведениями искусства, мы должны исследовать особый мир виртуального пространства. И это, как отмечает Лангер, всегда выталкивает нас в сферу этнического (Langer 1953; также см. Harvey 1973, p. 31). Таковы идеи, с которыми я впервые столкнулся в *Городе и социальной справедливости*.

За пределы этой традиции пространственного мышления выходит Анри Лефевр (который, что почти достоверно известно, опирался на Кассирера), конструирующий своё собственное различение трёх видов пространства: материальное пространство (пространство опыта и переживания, открытого физическому контакту и ощущению); репрезентация пространства (пространство как постигнутое и репрезентированное); пространство репрезентации (пережитое пространство ощущений, воображения, эмоций и значений, инкорпорированное в нашу повседневную жизнь) (Lefebvre 1991 [1974]).

Если я здесь сосредоточиваюсь на Лефевре, то это не потому, что, как многие предполагают в литературной и культурной теории, Лефевр предоставляет нам отправной пункт для мышления о производстве пространства (такое утверждение явно абсурдно), но потому, что я нахожу категории Лефевра более удобными для работы, нежели категории Кассирера. Для нас, людей, материальное пространство является просто-напросто миром тактильных и чувственных взаимодействий с материей; это пространство опыта.

Элементы, моменты и события в таком мире конституированы из материальности определённых качеств. То, как мы репрезентируем мир, это совершенно другой вопрос. Однако и здесь мы не понимаем мир и не репрезентируем его произвольным образом, но стремимся к подобающим – если не точным – размышлениям о материальной реальности, которая окружает нас посредством абстрактных репрезентаций (слов, схем, карт, диаграмм, изображений и т. д.). Но Лефевр, как и Вальтер Беньямин, настаивает на том, что мы не живём подобно материальным атомам, кружащим в материалистическом мире; у нас есть воображение, страхи, эмоции, психологии, фантазии и мечты (Benjamin 1999). Эти пространства репрезентации составляют часть того способа, каким мы живём в мире. Способ, каким это пространство имеет место, мы можем также попытаться репрезентировать эмоционально и аффективно, равно как и материально, переживая его посредством поэтических образов, фотографических композиций, художественных реконструкций. Странная пространственно-временность мечты, фантазии, тайного желания, утраченного воспоминания или даже необычного возбуждения или дрожи от страха, когда мы спускаемся вниз по улице, могут репрезентироваться посредством произведений искусства, которые, в конечном итоге, всегда присутствуют в посюстороннем мире в абсолютном пространстве и времени. Лейбниц также находил интересным вопрос о чередующихся пространственно-временн*ых* мирах и сновидениях.

Заманчиво – как и в случае первого трехчастного деления пространственных терминов, которое мы разбирали, – рассмотреть три категории Лефевра как организованные иерархически. Однако и здесь кажется более уместным сохранять эти три категории в диалектическом напряжении. Физический и материальный опыт пространственного и временн*о*го упорядочения в известной мере опосредован тем способом, каким пространство и время репрезентированы. Океанограф/физик, плывущий по волнам, вероятно, испытывает их иначе, нежели поэт, восхищающийся Уолтом Уитменом, или пианист, любящий Дебюсси. Чтение книги о Патагонии, вероятно, повлияет на характер нашего восприятия этого места во время путешествия туда, даже если мы будем испытывать заметный когнитивный диссонанс между ожиданиями, вызванными печатным словом, и действительными ощущениями, которые мы приобретаем на месте. Пространства и времена репрезентации, которые окутывают и окружают нас в повседневной жизни, оказывают влияние как на наши непосредственные опыты, так и на способ, каким мы интерпретируем и понимаем репрезентации. Мы даже можем не обращать внимания на материальные качества пространственных порядков, инкорпорированных в нашу повседневную жизнь, так как мы твёрдо держимся принимаемой на веру рутины. Тем не менее именно благодаря этой повседневной рутине мы обретаем ощущения (*senses*) того, как пространственные репрезентации работают и постепенно создают определённые про-

странства репрезентации для нас самих (например, элементарное чувство безопасности в знакомом окружении или чувство «бытия дома»). Мы обращаем внимание лишь на то, что обнаруживается вне какого бы то ни было места. С моей точки зрения, то, что действительно имеет значение, так это диалектическое отношение между этими категориями, даже если для целей понимания оказывается полезным выкристаллизовать каждый элемент в качестве отдельного момента в опыте пространства и времени.

Этот способ размышления о пространстве помогает мне интерпретировать произведения искусства и архитектуры. Картина, наподобие «Крика» Мунка, является материальным объектом, но она оказывает своё воздействие из перспективы психического состояния (Лефеврового пространства репрезентации, или пережитого пространства) и посредством конкретного набора репрезентационных кодов (репрезентации пространства, или постигнутого пространства) пытается обрести физическую форму (материальное пространство картины, открытое нашему актуальному физическому опыту), которая говорит нам что-то о том, как Мунк пережил это пространство. Кажется, ему приснился кошмар того сорта, от которого просыпаются с криком. И ему удалось передать что-то от того чувства посредством физического объекта. Многие современные художники, используя мультимедиа и кинетические техники, создают экспериментальные пространства, в которых сочетается несколько модусов опыта пространства-времени. Вот так, например, описывается в каталоге работа Джудит Барри (Judith Barry), выставленная на Третьей берлинской биеннале современного искусства:

> «В своих экспериментальных работах видео-художник Джудит Барри исследует использование, конструирование и комплексное взаимодействие приватного и публичного пространств, медиа, общества и полов. Темы её инсталляций и теоретических работ позиционируются в поле наблюдения, которое обращается к исторической памяти, массовым коммуникациям и восприятию. В сфере, располагающейся между воображением наблюдателя и сгенерированной современными медиа архитектурой, она создаёт воображаемые пространства, отчуждённые изображения профанной реальности… В работе "Закадровый голос" (*Voice Off*) … зритель прорывает клаустрофобную тесноту выставочного пространства, продвигается вглубь работы и, будучи вынужденным двигаться сквозь инсталляцию, получает не только кинематографические, но и киноэстетические (*cinemaesthetic*) впечатления. Разделённое проекционное пространство предоставляет возможность установления контакта с различными голосами. Использование и восприятие голосов в качестве движущей силы, а также интенсивность психического напряжения (особенно на мужской стороне проекции) передают внутреннюю силу этого неосязаемого и эфемерного объекта. Голоса демонстрируют зрителям, как можно измениться благодаря им, как мы пытаемся контролировать их, а также потерю, которую мы ощущаем, когда больше их не слышим».

Барри, делается заключение в каталоге,

> «инсценирует эстетические пространства перехода, сохраняющие напряжение между соблазном и рефлексией» (*Третья берлинская биеннале современного искусства 2004*, с. 48–49).

Но чтобы окончательно разобраться с этим описанием работы Барри, мы должны вывести понятия пространства и пространства-времени на новый уровень сложности. Многое в данном описании избегает Лефевровых категорий, но возвращает нас к новому рассмотрению различий между абсолютным временем и пространством (ограниченная физическая структура выставки), релятивным пространством-временем (последовательное движение зрителя через пространство) и реляционным пространством-временем (воспоминания, голоса, психическое напряжение, неуловимость и эфемерность, а также клаустрофобия). Однако мы не можем отказаться и от Лефевровых категорий. Сконструированные пространства обладают материальным, концептуальным и переживаемым измерениями.

Поэтому я предлагаю осуществить спекулятивный скачок, в котором мы позиционируем тройное разделение абсолютного, релятивного и реляционного пространства-времени на фоне троичного различения испытанного (*experienced*), концептуализированного и пережитого (*lived*) пространства, предложенного Лефевром. Результат этого скачка: матрица «три-на-три», в которой пункты пересечения репрезентируют различные модальности понимания значений пространства и пространства-времени. Можно возразить, что я ограничиваю здесь возможности, поскольку матричный способ репрезентации ограничивается абсолютным пространством. Это абсолютно справедливое возражение. И поскольку я здесь оказываюсь вовлечён в практики репрезентации (концептуализации), я не могу отдать должное как опытной, так и переживаемой сферам пространственности. Поэтому, по определению, матрица, которую я предлагаю, а также способ её применения обладают ограниченными экспликативными возможностями. Но, при всех этих оговорках, я нахожу полезным рассмотреть комбинации, возникающие в различных точках пересечения внутри матрицы. Положительная сторона репрезентации в абсолютном пространстве заключается в том, что она позволяет с высокой степенью ясности индивидуализировать феномены. И если задействовать немного воображения, возможно мыслить элементы внутри матрицы диалектически, то есть так, чтобы каждый момент воображался как внутреннее отношение всех прочих. Я проиллюстрирую то, что я имею в виду (в несколько сжатой, произвольной и схематической форме), в нижеприводимых таблицах. Текст в ячейках скорее суггестивный, нежели дескриптивный (читатели могут позабавиться составлением своих собственных текстов, для того чтобы почувствовать, что я имею в виду).

Матрица возможных значений пространства как ключевого слова

	Материальное пространство (испытанное пространство)	**Репрезентации пространства (концептуализированное пространство)**	**Пространства репрезентации (пережитое пространство)**
Абсолютное пространство	Стены, мосты, двери, лестницы, настилы, потолки; улицы, здания, города; горы, континенты, водные массы; территориальные метки, физические границы и барьеры, замкнутые общины	Кадастровые и административные карты; евклидова геометрия; описание ландшафта; метафоры уединения, открытое пространство, местожительство, расположение и позициональность; (Управлять и контролировать относительно легко.) Ньютон и Декарт	Чувство удовлетворённости, связанное с пребыванием дома; чувство безопасности или защищённости; чувство власти от обладания и управления пространством, контроля над ним; страх перед другими, которые находятся там, «за забором»
Релятивное пространство (время)	Циркуляция и потоки энергии, воды, воздуха, товаров, людей, информации, денег, капитала; увеличение и сокращение рассогласованности дистанции	Тематические и топологические карты (например, схема лондонского метро); неевклидовы геометрии и топология; рисунки, включающие в себя перспективу рисовальщика; метафоры ситуативных знаний, движения, мобильности, перемещения, ускорения, пространственно-временные сжатия и расширения (Управление и контроль затруднены, нуждаются в сложных техниках.) Эйнштейн и Риман	Опасение, что мы опоздаем на лекцию; трепет от вхождения в незнакомую область; нервный срыв при нахождении в автомобильной «пробке»; усиление или ослабление сжатия пространства-времени, скорости, движения

Реляционное пространство (время)	Потоки и поля электромагнитной энергии; социальные отношения; сдаваемые в аренду и хозяйственные площади; концентрации загрязнений; запачы энергии; звуки и запахи, доносимые ветром	Сюрреализм, экзистенциализм, психогеографии, киберпространство, метафоры интернализации сил и могуществ (Управление и контроль крайне сложны – теория хаоса, диалектики, внутренние отношения, квантовые математики.) Лейбниц, Уайтхед, Делёз, Беньямин	Видения, фантазии, желания, фрустрации, воспоминания, мечты, фантазмы, психические состояния (например, агорафобия, головокружение, клаустрофобия)

Пространственно-временная матрица марксистской теории

	Материальное пространство (испытанное пространство)	**Репрезентации пространства (концептуализированное пространство)**	**Пространства репрезентации (пережитое пространство)**
Абсолютное пространство	Полезные товары, конкретные рабочие процессы, банкноты и монеты (локальные деньги?); частная собственность/государственные границы, фиксированный капитал, заводы, архитектурное пространство; пространства потребления, линии ограждения, захваченные пространства (сидячие забастовки); штурм Бастилии или Зимнего дворца…	Потребительские стоимости и эксплуатация в рабочих процессах конкретных рабочих (Маркс) *vs* работа как творческая игра (Фурье); карты частной собственности и классовых исключений; мозаики неравномерного географического развития	Отчуждение *vs* творческое удовлетворение; изолированный индивидуализм *vs* социальная солидарность; лояльность месту, классу, идентичности и т. д.; относительная депривация; несправедливость; дефицит чувства собственного достоинства; раздражение *vs* удовлетворённость

Релятивное пространство (время)	Рыночный обмен; торговля; циркуляция и потоки товаров, энергии, рабочей силы, денег, кредита или капитала; поездки и миграция; обесценивание и деградация; информационные потоки и агитация извне	Меновая стоимость (стоимость в движении); схемы накопления; товарные цепочки; модели миграции и диаспоры; модели «инвестиция–продукция», теории пространственно-временн*ых* «положений», уничтожение пространства временем; циркуляция капитала через архитектурные среды; формирование мирового рынка, инфраструктуры; геополитические отношения и революционные стратегии	Деньги и товарный фетиш (постоянно неудовлетворённое желание); страх/возбуждение в пространство-временной компрессии; нестабильность; небезопасность; интенсивность действия и мотивации *vs* покой; «всё, что является твёрдым, растворяется в воздухе...»
Реляционное пространство (время)	Абстрактный рабочий процесс; фиктивный капитал; движения сопротивления; внезапные манифестации и экспрессивные вспышки политических движений (антивоенные выступления, события 1968 года, Сиэтл...); «революционный дух пробуждается»	Денежная стоимость; стоимость как социально необходимое рабочее время; как застывший человеческий труд по отношению к мировому рынку; законы стоимости в движении и социальная сила денег (глобализация); революционные надежды и опасения; стратегии перемен	Стоимость; капиталистическая гегемония («не существует альтернатив»); пролетарское сознание; международная солидарность; универсальные права; утопические мечты; массы; сопереживание другим; «возможен другой мир»

Я думаю, что было бы лучше читать данную матрицу категорий по вертикали или по горизонтали, воображая себе комплексные сценарии комбинаций. Представьте себе, например, абсолютное пространство богатой изолированной общины на побережье Нью-Джерси. Некоторые жители ежедневно посещают релятивное пространство финансового района Манхэттена, где они приводят в движение кредиты и инвестиционные средства, которые влияют на социальную жизнь по всему миру, обретая в итоге огромную финансовую власть. Эта власть позволяет им импортировать назад в абсолютное пространство своей изолированной общины энергию, экзотическую еду и удивительные товары, необходимые для того, чтобы обеспечить себе привилегированный стиль жизни. Однако

жители ощущают смутную угрозу, поскольку чувствуют, что существует примитивная, неопределимая и нелокализуемая ненависть ко всему американскому, возникающая где-то там в мире, имя которой «терроризм». Они поддерживают правительство, которое обещает защитить их от этой туманной угрозы. Но они становятся всё более параноидными в отношении враждебности, которую ощущают в отношении себя в мире, и прилагают всё больше усилий, чтобы построить своё абсолютное пространство, которое, как им кажется, смогло бы их защитить. Они строят всё более высокие стены и даже нанимают вооружённую охрану, чтобы защитить границы. Между тем расточительное потребление энергии, приводящей в движение бронетранспортёры, которые каждый день везут их в город, оказывается соломинкой, перешибающей хребет глобальному изменению климата. Схемы циркуляции атмосферы драматически меняются. Затем – как в неподражаемом, однако, неточном популярном изображении теории хаоса – бабочка взмахивает крыльями в Гонконге, и опустошительный ураган наносит удар по побережью Нью-Джерси, стирая с лица земли изолированную общину. Многие жители умирают как раз потому, что, панически боясь внешнего мира, игнорировали призывы к эвакуации. Если бы это был голливудский фильм, то одинокий учёный распознал бы опасность и спас женщину, которую любит, но которая до этого момента его игнорировала. Теперь же она влюбляется в него, преисполненная чувства благодарности…

Рассказывая подобные простые истории, невозможно ограничиться лишь одной модальностью пространственного или пространственно-временн*о*го мышления. Действия, предпринятые в абсолютном пространстве, становятся осмысленными только в реляционных терминах. Поэтому ещё более интересной является ситуация, когда отдельные моменты, зафиксированные в матрице, находятся в более явном диалектическом напряжении. Позвольте проиллюстрировать.

Какие пространственные и пространственно-временн*ы*е принципы должны быть использованы при перестройке такого места, как Граунд Зеро в Манхэттене? Это абсолютное пространство, которое должно быть материально реконструировано, и для этой цели необходимо произвести инженерные расчёты (основанные на механике Ньютона) и разработать архитектурные проекты. Ведётся множество дискуссий на тему подпорных стен и грузоподъёмности территории. Не теряют важности и эстетические суждения (Кант одобрил бы) о том, как пространство, однажды превращённое в материальный артефакт определённого рода, может переживаться, концептуализироваться и восприниматься. Проблемой является также и то, как организовать физическое пространство, чтобы оно производило эмоциональный эффект, приводя в соответствие определённые ожидания (коммерческие, а также аффективные и эстетические) касательно того, как это пространство может быть пережито. Однажды сконструированный

опыт пространства может быть опосредован репрезентационными формами (такими, как путеводитель и планы), которые помогают нам интерпретировать подразумевавшийся смысл реконструированного места. Но диалектическое перемещение через измерение одного только абсолютного пространства является менее эффектным, нежели инсайты, возникающие из обращения к другим пространственно-временн*ым* рамкам. Капиталистические застройщики хорошо осведомлены о релятивном расположении этого места и оценивают свои шансы на коммерческий эффект в соответствии с логикой рыночных отношений. Важными характеристиками выступают здесь центральность этого места и соседство с командными и контрольными функциями Уолл Стрит. И если в ходе реконструкции транспортная доступность может быть улучшена, то этих улучшений следует добиваться по максимуму, что только повысит стоимость земли и собственности. Для застройщиков место не просто существует в релятивном пространстве-времени: реинжиниринг этого места предоставляет возможность такой трансформации релятивного пространства-времени, в результате которой возросла бы коммерческая стоимость абсолютного пространства (например, посредством улучшения доступа к аэропорту). Временной горизонт был бы подчинён соображениям, ориентирующимся на темпы амортизации или показатель «интерес/дисконт» применительно к фиксированному инвестированию в застройку.

Но почти наверняка будет много протестов – инициируемых родственниками тех, кто погиб в этом месте, – против мышления и строительства в этой абсолютной или релятивной пространственно-временн*ой* системе координат. Что бы ни построить на этом месте, это должно нечто говорить об истории и памяти. Вероятно, необходимо будет сказать что-нибудь о значении сообщества и нации, равно как и о будущих возможностях (быть может, даже о перспективах вечной истины). Да и не может это место игнорировать вопрос реляционно-пространственной связи с остальным миром. Даже капиталистические застройщики не стали бы возражать против сочетания своих приземлённых коммерческих интересов с воодушевляющими символическими высказываниями (подчёркивающими мощь и нерушимость политико-экономической системы глобального капитализма, получившего такой удар 9 сентября), воздвигая, вернее, возвышая фаллический символ, отчётливо прочитываемый как вызов. Они также добиваются экспрессивной мощи в реляционном пространстве-времени. Но необходимо исследовать все формы реляционностей. Что мы узнаем о тех, кто атаковал нас, и как далеко мы зайдём в своём знании? Это место присутствует реляционно и будет присутствовать в мире независимо от того, что там построено. И важно поразмыслить над тем, как работает это присутствие: будет ли оно переживаться как символ американского высокомерия или символ глобального сочувствия и сострадания? Обсуждение подобных «материй» тре-

бует, чтобы мы принимали реляционную концепцию пространства-времени.

Если, как считал Беньямин, история (релятивное временное понятие) не то же самое, что память (реляционное временное понятие), тогда у нас есть выбор: либо историзировать события 9/11, либо попытаться их мемуаризировать. Если место всего лишь историзировано в релятивном пространстве (посредством определённого рода монументальности), то это навязывает пространству фиксированный нарратив. В результате окажутся исключёнными будущие возможности и интерпретации. Подобная изоляция (*closure*) приведёт к ограничению генеративной мощи, необходимой для формирования иного будущего. С другой стороны, память, согласно Беньямину, – это потенциальность, способная иногда неудержимо «вспыхивать» во время кризиса, чтобы показать новые возможности (Benjamin 1968). Это способ, каким место может переживаться теми, кто наталкивается на него, становясь затем непредсказуемым и неопределённым. Коллективная память – диффузное, но тем не менее влиятельное чувство, пропитывающее собой многие урбанистические сцены; она способна играть важную роль в оживлении политических и социальных движений. Граунд Зеро не может быть чем-то другим, кроме как местом коллективной памяти. И задача дизайнеров перевести это диффузное чувство в абсолютное пространство кирпичей, цементного раствора, стали и стекла. И если, как однажды сформулировал Бальзак, «надежда – это память, которая испытывает желания», то создание «пространства надежды» на том месте требует, чтобы была интернализована память в то самое время, как будут открыты пути для выражения желания (Harvey 2003, ch. 1).

Экспрессивная реляционность Граунд Зеро сама по себе ставит захватывающие вопросы. Силы, которые сошлись в пространстве, чтобы произвести событие под названием 9/11, были комплексными. Но как тогда описать эти силы? Можно ли нечто, пережитое как локальная и личная трагедия, согласовать с идей (*understanding*) международных сил, которые были столь мощно сконцентрированы в течение нескольких разрушительных мгновений в конкретном месте? Сможем ли мы ощутить в этом месте распространившуюся по всему миру неприязнь к тому, как в 1980–90-е гг. повсюду эгоистически утверждалась американская гегемония? Узнаем ли мы, что администрация Рейгана сыграла ключевую роль в создании и поддержке движения «Талибан» в Афганистане, чтобы подорвать советскую оккупацию, и что Осама Бен Ладен превратился из союзника США во врага из-за американской поддержки коррупционного режима в Саудовской Аравии? Или мы узнаем лишь о трусливых, чужеземных и злонамеренных «других», которые ненавидят США, поскольку они символизируют ценности свободы и независимости? При должном усердии можно вытащить на свет божий реляционную пространственно-временность события и места. Но способ репрезентации и мате-

риализации остается неопределённым. Результат, очевидно, будет зависеть от политической борьбы. И самые ожесточенные битвы развернутся вокруг того, какое реляционное пространство-время создаст перестройка места. Это были те вопросы, с которыми я столкнулся, когда попытался проинтерпретировать значение базилики Сакре-Кёр в Париже на фоне исторической памяти о Парижской Коммуне.

Это приводит меня к некоторым наблюдениям на тему политики аргумента. Сквозь различные способы, какими пространство и пространство-время используются в качестве ключевых слов, мышление помогает определить некоторые предпосылки деятельности критика. Оно предоставляет возможности для идентификации противоречивых претензий и альтернативных политических возможностей. Оно склоняет нас к тому, чтобы рассмотреть способы, какими мы физически формируем нашу окружающую среду, и способы, какими мы репрезентируем её и живём в ней. Я думаю, что будет справедливым сказать, что марксистскую традицию не слишком-то беспокоили такие вопросы, и её общая неудача (хотя, конечно, существует множество исключений) чаще всего подразумевала утрату возможностей для некоторых видов трансформативной политики. Если, например, искусству социалистического реализма не удавалось пленить воображение и если его монументальность, достигнутая при коммунистических режимах прошлого, не воодушевляла, если спланированные общины и коммунистические города часто казались мёртвыми остальному миру, то один из путей для критического анализа этой проблемы состоял бы в том, чтобы обратить внимание на модусы мышления о пространстве и пространстве-времени, а также на то, что в практиках социалистического планирования они, по всей видимости, играли лишь роль ограничения и предела.

В марксистской традиции не велось сколько-нибудь явного обсуждения этих вопросов. Хотя сам Маркс является реляционным мыслителем. Во время революционных ситуаций, подобных ситуации 1848 года, Маркс волновался, что прошлое, подобно кошмару, может отягощать сознание живущих, и напрямую ставил вопрос о том, как революционная поэтика будущего может быть сконструирована тогда и там (Marx 1963). В то время он также умолял Этьена Кабе не брать с собой в Новый свет своих коммунистически настроенных последователей. Там, полагал Маркс, сторонники его социальной теории могли бы только усвоить установки и взгляды, сформированные в опыте старого. Будет лучше, советовал Маркс, если они останутся в качестве хороших коммунистов в Европе и добьются революционных трансформаций в этом пространстве, даже если существует опасность, что революция, устроенная «в нашем уголке мира», падёт жертвой глобальных сил, расположившихся вокруг него (цит. по: Marin 1984).

Ленин, откровенно испытывающий страдания от идеалистического способа презентации у Маха, пытается укрепить абсолютист-

ский и механистический взгляд на пространство и время, ассоциирующийся с концепцией Ньютона как единственно подходящей материалистической основой для научной постановки вопроса. Он занят этим в то самое время, когда Эйнштейн успешно развивает релятивное, но столь же материалистическое представление о пространстве-времени. Жёсткая линия Ленина была до известной степени смягчена обращением Лукача к более гибкому взгляду на историю и темпоральность. Но конструктивистский взгляд Лукача на отношение к природе был энергично отвергнут Виттфогелевым утверждением жёсткого материализма, трансформировавшегося в детерминистское понимание окружающей среды. С другой стороны, в работах Томпсона, Уильямса и других авторов мы находим различные уровни понимания, в частности, темпорального измерения, хотя пространство и место присутствуют повсюду. В новелле Раймонда Уильямса *Люди Чёрных гор* (*People of the Black Mountains*) реляционность пространства-времени играет важную роль. Уильямс использует её для того, чтобы воедино связать нарратив и непосредственно подчеркнуть различные способы знания, возникающие вместе с различными ощущениями пространства-времени:

> «Если серьёзно относиться к жизням и местам, сильная привязанность к местам и жизням будет совершенно необходима. Модель полистирола и её текстуальные и теоретические эквиваленты оставались отличными от субстанции, которую они реконструировали и симулировали ... На его картах и на его книгах из библиотеки или же в его доме в долине можно обнаружить отпечатки всеобщей истории, которая может стать доступной любому представителю сообщества, опирающегося на очевидность и рациональное исследование. Однако стоило ему только забраться в горы, как он обнаруживал другой взгляд, другой способ мышления; неизбывно местное и локальное, однако простирающееся до широкого всеобщего потока, где прикосновение и дыхание приходят на смену констатации и анализу; не история как нарратив, а рассказы как жизни» (Williams 1989, p. 10–12).

Для Уильямса реляционность возрождается во время прогулок по горам. Она помещает в центр совсем другие ощущения и чувства, нежели сконструированные из архивных элементов. Интересно, что только в романах Уильямс способен обратиться к этой проблеме. В рамках марксистской традиции, за исключением Лефевра и географов, отсутствует масштабное понимание проблематики пространства и времени. Так как же эти взгляды на пространство и пространство-время всё глубже интегрируются в наше чтение, интерпретацию и применение марксистской теории? Позвольте мне отложить в сторону все предостережения и нюансы, дабы изложить свою аргументацию в наиболее сильных понятиях.

В первой главе *Капитала* Маркс вводит три ключевых понятия – потребительской стоимости, меновой стоимости и стоимости. Всё, что относится к потребительской стоимости, находится в компетенции абсолютных пространства и времени. Ин-

дивидуальные рабочие, машины, товары, фабрики, дороги, дома, актуальные рабочие процессы, потребление энергии и всё тому подобное может быть индивидуализировано, описано и понято в ньютоновской системе координат абсолютных пространства и времени. Всё, что связано с меновой стоимостью, располагается в релятивном пространстве-времени, так как обмен предполагает движение товаров, денег, капитала, рабочей силы и людей во времени и пространстве. Именно циркуляция, постоянное движение имеют значение. Поэтому обмен, как отмечает Маркс, прорывается сквозь все барьеры пространства и времени (Marx 1976, p. 209) и постоянно меняет систему координат нашей повседневной жизни. С появлением денег этот «прорыв» очерчивает ещё более масштабный и текучий универсум отношений обмена, охватывающий собой релятивное пространство-время глобального рынка (понимаемого не в качестве вещи, а как непрерывное движение и интеракции). Циркуляция и накопление капитала совершаются в релятивном пространстве-времени. Но стоимость представляет собой реляционное понятие. Поэтому её референт – реляционное пространство-время. Ценность, констатирует Маркс (что весьма поразительно), нематериальна, но объективна. «В объективности обладающего стоимостью товара нет ни одного атома материи». Как следствие, стоимость не «шествует с этикеткой, описывающей, что она собой представляет», но скрывает свою реляционность в фетишизме товаров (Marx 1976, p. 167). Единственный путь к пониманию того, чем является стоимость, ведёт через тот специфический мир, в котором между людьми установлены материальные отношения (мы относимся друг к другу посредством того, чт*о* производим и чем торгуем), а между вещами – социальные отношения (цены установлены для того, чт*о* мы производим и чем торгуем). Короче говоря, стоимость – это социальное отношение. Как таковую, её невозможно измерить иначе, как только посредством её эффектов (попытайтесь напрямую измерить любое социальное отношение, и вы непременно потерпите неудачу). Стоимость включает в себя целую историческую географию бесчисленных рабочих процессов, запущенных в условиях или ввиду накопления капитала в пространстве-времени мирового рынка. Многие удивляются, обнаружив, что наиболее фундаментальным понятием Маркса является «нематериальный, но объективный». Ведь обычно Маркса изображают материалистом, для которого что бы то ни было нематериальное заслуживает проклятия. Мимоходом замечу, что реляционная дефиниция стоимости делает проблематичными, если вообще уместными, любые попытки непосредственного и эссенциалистского измерения стоимости. Социальные отношения могут быть измерены только посредством производимых ими эффектов.

Если моя характеристика категорий Маркса корректна, то она показывает, что ни одна пространственно-временн*ая* рамка не имеет приоритета. Три пространственно-временн*ы*е рамки должны находиться в диалектическом напряжении друг с другом

точно так же, как потребительская стоимость, меновая стоимость и стоимость диалектически переплетены в марксистской теории. Так, например, не было бы никакой стоимости в реляционном пространстве-времени без конкретных работ, организованных в бессчётных местах в абсолютных пространствах и временах. Равно как не смогла бы стоимость фигурировать в качестве нематериальной, однако, объективной силы без бесчисленных актов обмена, непрерывных процессов циркуляции, связывающих воедино глобальный рынок в релятивном пространстве-времени. Тем самым стоимость представляет собой социальное отношение, которое включает в себя целую историю и географию конкретных производственных сил, присутствующих на мировом рынке. Это выражает социальные (в первую очередь – однако не исключительно – классовые) отношения капитализма, выстроенные на мировой сцене. Крайне важно отметить присутствующую здесь темпоральность. И не только ввиду того значения, которое имеет «мёртвый» труд прошлого (*past 'dead' labour*) (твёрдый капитал, включающий в себя всё то, что воплощено в окружающей нас застройке), но и по причине всех тех следов истории пролетаризации, первичного накопления, технологического развития, которые интегрированы в форму стоимости. Прежде всего, нам следует осознать «исторические и моральные элементы», которые всегда входят в определение стоимости рабочей силы (Marx 1976, p. 275). Тогда мы сможем в деталях рассмотреть, как работает теория Маркса. Прядильщик внедряет стоимость (т. е. абстрактную работу как реляционную детерминацию) в ткань, выполняя конкретную работу в абсолютных пространстве и времени. Объективная сила отношения стоимости регистрируется тогда, когда прядильщик оказывается вынужден прекратить производство ткани и фабрика останавливается, поскольку ситуация на мировом рынке складывается так, что этот вид деятельности в этих конкретных абсолютных пространстве и времени теряет всякую ценность. Хотя всё это кажется очевидным, отрицание взаимодействия, возникающего между различными пространственно-временн*ы*ми рамками в марксистской теории, зачастую оказывается причиной понятийной путаницы. Например, многие дискуссии о так называемых «глобально-локальных отношениях» превратились в понятийную путаницу по причине неспособности уяснить, что обсуждаются различные пространственно-временности. Мы не можем сказать, что отношения стоимости служат причиной закрытия фабрики, словно они представляют собой некую внешнюю абстрактную силу. Это изменение конкретных условий работы в Китае, опосредованное процессами обмена в релятивном пространстве-времени, трансформирует стоимость как социальное отношение в такой степени, что это приводит к закрытию конкретных производств в Мексике.

До сих пор я сосредоточивал внимание в основном на диалектическом прочтении теории Маркса, двигаясь сверху вниз по левой

колонке нашей матрицы. Что же произойдёт, если я начну читать матрицу по горизонтали? Материальность потребительской стоимости и конкретной работы вполне очевидна. Но как репрезентировать и понять эту материальность? Легко осуществить физическое описание, но Маркс настаивает, что также важны социальные отношения, в рамках которых выполняется работа. В условиях капитализма наёмный рабочий концептуализируется (см. второй столбец соотв. таблицы) как производитель прибавочной стоимости для капиталиста, которая и репрезентируется как отношение эксплуатации. Это подразумевает, что рабочий процесс переживается (см. третий столбец) как отчуждение. При других социальных отношениях (например, при социализме) работа может переживаться как творческое удовлетворение и концептуализироваться как самореализация посредством коллективных усилий. Нет нужды даже претерпевать материальные изменения, чтобы быть реконцептуализированной и пережитой совершенно иначе. В конце концов, на это рассчитывал Ленин, когда он выступал за адаптацию фордизма на советских фабриках. Фурье же считал, что работа должна быть чуть ли не игрой и выражением желания и переживаться как возвышенное удовольствие, и для этого необходимо радикально реконструировать материальные характеристики рабочего процесса. Здесь мы должны признать существование множества конкурирующих возможностей. Так, например, в книге *Производя согласие* (*Manufacturing Consent*) Буравой утверждает, что на заводах, которые он изучал, рабочие вообще не переживают работу как отчуждение (Burawoy 1982). Это произошло потому, что они подавили идею эксплуатации, превратив рабочее место в место для ролевых и состязательных игр (в стиле Фурье). Работники участвовали в рабочем процессе таким образом, что это позволяло переживать его без отчуждения. В этом есть определённые выгоды и для капитала, поскольку рабочие, не испытывающие отчуждения, трудятся более эффективно. Поэтому капиталисты предпринимают различными меры, такие как организация ритмической гимнастики, кружков качества (*quality circles*) и т. п., чтобы уменьшить отчуждение и сделать акцент на инкорпорации. Они также производят альтернативные концептуализации, которые акцентируют внимание на поощрениях за тяжёлый труд, и производят идеологии, задача которых состоит в том, чтобы опровергать теорию эксплуатации. Поэтому хотя марксистская теория эксплуатации может быть формально верной, она не всегда и не с необходимостью воплощается в отчуждении и политическом сопротивлении. Многое зависит от того, как она концептуализируется. Последствия же для политического сознания и действий рабочего класса весьма значительны. Поэтому часть классовой борьбы направлена на выявление изначального смысла эксплуатации как должную концептуализацию того, каким образом выполняются конкретные работы при капиталистических социальных отношениях. И снова то, что действительно имеет значение, – это диалектическое напряжение между

материальным, понятым и пережитым. Если же мы будем рассматривать данные напряжения механически, тогда мы пропали.

Хотя проработка темы таким методом представляется полезной, выше я утверждал, что «матричное мышление» ограничивает возможности, если мы не готовы свободно и диалектически охватить мыслью все элементы матрицы одновременно. Позвольте пример. Первичный способ репрезентации стоимости – деньги, которые также выступают нематериальным понятием с объективной силой, но они должны принимать и материальную форму в качестве актуальной потребительской стоимости. Поначалу это происходит в результате появления денежного товара (например, золота). Но денежный товар возникает благодаря актам обмена в релятивном пространстве-времени, и именно это позволяет осязаемым денежным формам стать активным фактором в абсолютных пространстве и времени. Это создаёт парадокс, который заключается в том, что партикулярная материальная потребительская стоимость (такая, как золото или долларовая банкнота) должна репрезентировать универсальность стоимости, универсальность абстрактной работы. Кроме того, это подразумевает, что социальная власть может быть присвоена частными персонами, и из этого проистекает сама возможность денег как капитала, циркулирующего в релятивном пространстве-времени. Как отмечает Маркс, существует множество антиномий, антитезисов и противоречий касательно того, как возникли деньги, как они концептуализируются, циркулируют и используются в качестве осязаемых средств обращения, с одной стороны, и в качестве репрезентации стоимости на мировом рынке – с другой. Именно потому, что стоимость нематериальна и объективна, деньги всегда сочетают фиктивные качества с осязаемыми формами. Это зависит от того радикального изменения, которое Маркс описал в рамках анализа фетишизма товаров: когда материальные отношения возникают между людьми, а социальные отношения регистрируются между вещами. Деньги как объект желания и как объект невротического ожидания запирают нас в фетишизме, в то время как внутренние противоречия денежной формы неизбежно приводят не только к возможности, но и к неизбежности капиталистических кризисов. Нас часто сопровождает беспокойство по поводу денег, которое имеет собственные пространственно-временные локализации (истощённый ребёнок, замерший перед ослепительной роскошью вечно недосягаемых капиталистических товаров в витрине магазина). Спектакли потребления, замусорившие ландшафт в абсолютных пространстве и времени, способны порождать чувства относительной депривации. На каждом шагу нас окружают манифестации фетишистского стремления к силе денег как репрезентации стоимости на мировом рынке.

Для тех, кто незнаком с теорией Маркса, всё это, безусловно, может показаться мистическим. Как бы то ни было, нашей задачей было показать, как теоретическая работа (а я полагаю, это справедливо для всех социальных, литературных и культурных

теорий) неизменно и неизбежно влечёт за собой, как минимум, диалектическое движение через все пункты матрицы, а затем и за её пределы. Чем дальше мы продвигаемся, тем больше глубина и охват нашего понимания. В этой системе нет изолированных и замкнутых ячеек. Диалектические напряжения не должны оставаться неприкосновенными. Они должны постоянно расширяться.

Тем не менее я закончу несколькими предостерегающими ремарками. В последние годы многие учёные, включая географов, восприняли реляционные понятия и способы мышления (хотя и без явного почтения к понятию пространства-времени). Эти перемены – сколь важные, столь и похвальные – до известной степени ассоциируются с культурным и постмодернистским поворотом. Но точно так же, как традиционалистская и позитивистская география ограничивала своё видение, концентрируясь исключительно на абсолютных и релятивных, а также на материальных и понятийных аспектах пространства-времени (игнорируя переживаемые и реляционные), так и теперь существует серьёзная опасность сосредоточиться исключительно на реляционном и переживаемом, как будто абсолютное и материальное не имеет значения. Пребывание исключительно в правом нижнем углу матрицы может быть столь же обманчивым, ограничивающим и отупляющим, как и ограничение нашего внимания верхним левым углом. Единственная стратегия, которая и в самом деле работает, состоит в том, чтобы сохранять напряжения, двигаясь диалектически через все пункты матрицы. Это то, что позволит нам лучше понять, как реляционные значения (такие, как стоимость) интернализируются в материальные вещи, события и практики (такие, как конкретные рабочие процессы), конструируемые в абсолютных пространстве и времени. Мы можем – если взять другой пример – до бесконечности обсуждать все виды идей и проектов, выражающих реляционность Граунд Зеро, но однажды что-то должно материализоваться в абсолютных пространстве и времени. Будучи однажды построенным, место приобретает «перманентность» (*'permanence'*) (термин Уайтхеда) физической формы. И хотя оно всегда открыто для реконцептуализации значения этой физической формы, так что люди могут научиться переживать его по-разному, лишь материальность конструкции в абсолютных пространстве и времени имеет свой собственный вес и влияние. К тому же политические движения, которые стремятся к некоторому влиянию в мире, остаются неэффективными, пока они не заявят претензию на материальное присутствие. Это, конечно, замечательно: создать такие понятия, как движение пролетариата или восстание масс. Но никто не знает, что всё это означает до тех пор, пока настоящие тела не окажутся в абсолютных пространствах улиц Сиэтла, Квебека и Генуи в конкретные моменты абсолютного времени. Права ничего не значат, как проницательно замечает Дон Митчелл, без возможности конкретизировать их в абсолютных пространстве и времени:

«Если правом для города является право на крик и требование, то крик, который слышат, и требование, которое имеет силу, существуют лишь постольку, поскольку имеет место абсолютное пространство, из которого и в котором этот крик и это требование воспринимаемы. В публичном пространстве – на углу улицы или в парке, на улицах во время беспорядков или демонстраций – политические организации могут репрезентировать себя более широкой аудитории и посредством этой репрезентации придать своим призывам и требованиям больше силы. Претендуя на публичное пространство, создавая свои публичные пространства, социальные группы сами становятся публичными».

Публичное пространство, на чём совершенно справедливо настаивает Митчелл (Mitchell 2003, p. 129–135), «является материальным», и оно «конституирует актуальное местоположение, место, участок, в которых и из которых течёт политическая активность». Политика оживает лишь тогда, когда реляционность соединяется с абсолютными пространствами и абсолютным временем социальной и материальной жизни. Игнорировать эту связь означает столкнуться с политической иррелевантностью.

Понимание того, как пространство существует и как работают различные пространственности и пространство-временности, имеет решающее значение для конструирования специфически географического воображения. Но пространство оказывается чрезвычайно сложным ключевым словом. Оно функционирует как составное слово и имеет множество детерминаций, так что ни одно из его партикулярных значений не может быть понято должным образом, будучи изолированным от всех прочих. Но именно это и делает понятие пространства столь богатым возможностями, особенно, если соединить его с понятием времени.

Библиография

Benjamin W. (1968) *Illuminations*, New York: Schocken.
Benjamin W. (1999) *The Arcades Project*, ed. by H. Eiland, K. McLaughlin. Cambridge, MA: Belknap Press.
Burawoy M. (1982) *Manufacturing Consent: Changes in the Labor Process under Monopoly Capitalism*, Chicago, IL: University of Chicago Press.
Cassirer E. (1944) *An Essay On Man*, New Haven, CT: Yale University Press.
Deleuze G. (1993) *The Fold: Leibniz and the Baroque*, Minneapolis, MI: Minnesota University Press.
Fitzgerald J. (1979) *Alfred North Whitehead's Early Philosophy of Space and Time*, New York: Roman and Littlefield.
Harvey D. (1973) *Social Justice and the City*, London: Edward Arnold and Baltimore.
Harvey D. (1979) *Monument and Myth*. Annals of the Association of American Geographers, 3/69, pp. 361–381.
Harvey D. (1996) *Justice, Nature and the Geography of Difference*, Oxford: Blackwell.
Harvey D. (2003) *Paris, Capital of Modernity*, New York: Routledge.
Langer S. (1953) *Feeling and Form: A Theory of Art*, New York: Prentice Hill.

Lefebvre H. (1991 [1974]) *The Production of Space*, Oxford: Blackwell.
Marin L. (1984) *Utopics: A Spatial Play*, Atlantic Heights, NJ: Humanities Press.
Marx K. (1963) *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte*, New York: International Publishers.
Marx K. (1976) *Capital*, vol. 1, New York: Viking Press.
Mitchell D. (2003) *The Right to the City: Social Justice and the Fight for Public Space*, New York: Guilford Press, pp. 129–135.
Osserman R. (1995) *The Poetry of the Universe*, New York: Doubleday.
Third Berlin Biennale for Contemporary Art Catalogue (2004) *Judith Barry, Voice Off*, Berlin: Biennale, pp. 48–49.
Williams R. (1985 [1976]) *Keywords: A Vocabulary of Culture and Society* (rev. ed.). Oxford: Oxford University Press.
Williams R. (1989) *People of the Black Mountains: The Beginnings*, London: Chato & Windus 1989, pp. 10–12.

Перевод с английского
Алексея Овчинникова
под редакцией *Ильи Инишева*

Перевод сделан по: Harvey D. *Space as a Key Word*. In: N. Castree, D. Gregory (eds.) *David Harvey: A Critical Reader*. Oxford: Blackwell Publishing, 2006. P. 270–263.

ПРЕПОДАВАЯ «ПОВОРОТ К ПРОСТРАНСТВУ»: ЗАЧЕМ, КОМУ И ВМЕСТЕ С КЕМ?

Елена Трубина[1]

Abstract

In disciplinary terms, *the spatial turn* results from the interaction between geography, sociology, and, increasingly, history, and aims at renewing the theoretical frames of these disciplines beyond nation-states by positing and questioning the global scale as a possible general theoretical level. It originated as a re-reading of the classics (Karl Marx, Henry Lefebvre, Michele Foucault) by such geographers as David Harvey, Ed Soja, and Doreen Massey in search for the concepts and ideas with which to grasp both the mutually shaping force of spatial and social relations, processes and forms and the increasing multidimensionality of space. The article tries to show that, in the context of higher education, these developments invite careful reflection of possible ways in which 'where-ness' of things and people can be discussed in the classroom. In particular, the author argues that various genealogies of the spatial turn are possible and, given the 'path-dependence' of the regional higher education system on selected strands of the western theories which became available during the last twenty years, it is Michele Foucault's spatial thought that merits particular attention. The notion of 'conceptual disciplining' is introduced in order to identify the sources of on-going tensions among the schools of thoughts, disciplines, and intellectual traditions variously engaged in or related to the spatial turn.

Keywords: Spatial turn, social geography, post-soviet neoliberalism, Michele Foucault, poststructuralism, Marxism, critique, higher education, interdisciplinarity, conceptual disciplining.

> «Надо стараться найти ту скрытую точку, где житейский анекдот и афоризм мысли сливаются воедино – подобно смыслу, который, с одной стороны, есть атрибут жизненных ситуаций, а с другой – содержание мыслимых предложений. Тут существуют свои особые измерения, свои времена и пространства, свои

[1] Елена Трубина – доктор философских наук, профессор кафедры социальной философии философского факультета Уральского государственного университетета им. А.М. Горького (г. Екатеринбург, Россия).

ледники или тропики – короче, целая экзотическая география, характеризующая как способ мышления, так и стиль жизни».
Жиль Делёз[2]

Ниже я приведу свои соображения в отношении «поворота к пространству», продиктованные опытом соруководства одноимённым образовательным и научным проектом HESP-ReSET[3]. Лавирование между условиями, поставленными спонсором (институтом «Открытое общество»), реалиями существования академической среды Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии, Казахстана и России (стран, преподаватели из которых участвуют в этом проекте) и собственным пониманием пространственной проблематики препятствует формулированию «чисто» концептуальных соображений. С другой стороны, многое в моих наблюдениях продиктовано стремлением осмыслить происходящее в терминах «постсоветского неолиберализма» – совсем не очевидной концептуальной рамки, компоненты которой я только начинаю для себя соединять. Я исхожу из того, что препятствия и ограничения, с которыми сталкиваются постсоветские исследователи и преподаватели, связаны с местом университетов в неолиберальной глобальной экономике. Вузы по нарастающей становятся предметом политического интереса и специфического менеджмента, что не только ставит под вопрос традиционные академические свободы, но и весьма жёстко задаёт идентичности членов академических сообществ.

Хотя вопросы, приведённые в заглавии статьи, образовали и её первоначальный план (краткий ответ на вопрос «поворот куда», то есть обрисовка направления концептуального движения, ассоциируемого с «поворотом к пространству», наблюдения о переменах в студенческой аудитории и соображения о возможных линиях взаимодействия (в связи с пространством) членов социально-гуманитарного сообщества), признаюсь, что мне показалось более интересным соединить с теоретическими суждениями и размышления о нашем проекте, и рефлексию по поводу своего преподавания пространственной (и не только) проблематики, не отделяя (искусственно) идеи, их преподавание и адресатов.

«Вот – новый поворот»: экспансия географии или междисциплинарное движение?

Констатации того, что последние двадцать лет развития социально-гуманитарного знания отмечены «поворотом к пространству», встречаются достаточно часто на Западе и гораздо реже – в

2 Делёз Ж. *Логика смысла* / Перев. с фр. Я.И. Свирского. М.: Раритет; Екатеринбург: Деловая книга, 1998. С. 174.
3 См.: http://www.geocritical.org/about-the-project.

статьях и книгах, выходящих по-русски.[4] Неслучайно один из немногих текстов, посвящённых не пространству вообще, но именно «повороту к нему», вышедших в России, – рецензия трёх междисциплинарных коллекций, изданных в 2009-м немецкими историками и американскими географами.[5] В 2010 г. к указанным коллекциям добавилась ещё одна, озаглавленная *Пространство. Междисциплинарное руководство*[6] и составленная немецким медиа-исследователем Стефаном Гунзелем. Книга включает главы о поэтическом, историческом, политическом, экономическом, телесном, туристском, эпистемологическом, социальном, техническом, медиа-, когнитивном (ментальном), городском и ландшафтном пространствах и составлена с целью демонстрации последствий «поворота к пространству» для социального и гуманитарного знания. Умножение обсуждаемых сегодня видов пространства, рост числа феноменов, уподобляемых пространству, частота, с какой встречаются вполне оправданные, по-моему, словосочетания вроде «человек в пространстве повседневности» или «человек в пространстве истории», сами по себе симптоматичны: популярность метафоры набирает силу.

В то же время, похоже, такая продуктивная эклектичность возможна только на страницах междисциплинарных изданий, причём издаваемых не у нас: как показывают дискуссии в рамках нашего проекта, специалисты по социальному пространству рассуждают иначе, нежели те, кому интересно, скажем, медиа-пространство, либо те, кто занимается пространством в современном искусстве. Философы и социологи в нашем проекте стремятся к строгости в работе с понятиями (звучали даже призывы составить своего рода реестр вариантов употребления пространственных терминов – основу для дальнейшего их упорядочения). Культурологи, напротив, сомневаются в продуктивности такого концептуального «дисциплинирования». Учитывая, *во-первых*, что мы вместе ищем пути продуктивного междисциплинарного взаимодействия и, *во-вторых*, что один из наших приоритетов – изменить преподавание фундаментальных социально-гуманитарных дисциплин в сторону большей демократичности и учёта потребностей студентов, можно сказать, что мы сами друг для друга, во время наших дискуссий, моделируем студенческую аудиторию с её разнообразием мотиваций (и увы, неуклонно сокращающимся числом тех, что всерьёз думает о научной карьере), я сказала бы, что не понятия, а *ключевые во-*

---

4 См., в частности, статью одного из редакторов этого тематического выпуска: Бедаш Ю. Пространство как проблема постметафизической философии // *Топос*. 2009. № 1(21). С. 94–113.

5 Маяцкий М. Место пространству! Этот очень special «spatial turn» // *Пушкин*. 2009. [Электронный ресурс] Точка доступа: www.russ.ru/pushkin/Mesto-prostranstvu!

6 Günzel S. (Hg.): *Raum. EininterdisziplinäresHandbuch*. Verlag J.B. Metzler. Stuttgart, 2010. В том же году вышла ещё одна, более узкая, коллективная монография: Fisher J., Mennel B. *Spatial Turns: Space, Place, and Mobility in German Literary and Visual Culture*. Rodopi, 2010.

просы могут быть общей почвой для наших дискуссий и основой для пересматриваемых учебных курсов.

Когда задумываешься о «сухом остатке» многочисленных текстов, посвящённых пространству сегодня, то понимаешь, что присущее им акцентирование *реляционности* и *материальности* понимания пространства – компонент достаточно сложной полемики специалистов вследствие непростых коллизий между разными школами в географии и разными же школами в социальной теории и гуманитаристике. К примеру, ратование за то, что пространство следует понимать как образованное разномасштабными социальными отношениями, – часть полемики по поводу понимания глобализации, в рамках которой «государство-центристские» подходы позиционируются как типичное проявление устаревшего «контейнерного» мышления в терминах национального государства. Где, в рамках каких курсов можно продуктивно расшатывать мышление в терминах замкнутых «контейнеров», если изучаемые, к примеру, классики социологии сами и способствовали тому, что и поныне главным объектом многих исследований (и главной рамкой) является не мир в целом, а национальное государство, и если к тому же многие культуры в наших университетах изучаются именно как национальные? Кто составит благодарную аудиторию для наших возможных речей о том, что национально-государственное мышление образует барьер на пути к новым способам анализа, к новым представлениям о мире? Но вот попробовать вместе ответить на вопрос *«где?»*, т. е. где именно происходят те или иные изменения, а также подумать – *почему* это так важно, кажется более продуктивной стратегией. Ответы не должны сводиться друг к другу, каждый должен предполагать определённый контекст, в котором тот или иной ответ должен быть первым, какой приходит в голову, само собой разумеющимся. Здесь мы предполагаем не только собственно научные, но и более широкие контексты, в частности мифологические, культурные картины мира, фундаментальные повествования, в рамках которых пространство занимало бы определённое место. Не исключено, что ответ на вопрос *«где?»* есть ответ, который совпадает с той или иной картиной мира либо с вариантом его истории, каким-то убедительным сценарием происшедшего.

Обилие литературы, посвящённой пространству, в самых разных областях социально-гуманитарного знания, безусловно, можно считать самым главным следствием «поворота». Другим его следствием является смелость, с какой пространственные метафоры используются для описания процессов, протекающих где угодно: от черепной коробки до Сети. Попытки включиться в «поворот» служат хорошим стимулом для пересмотра оснований и истории ряда дисциплин и способствуют их открытости друг другу. С другой стороны, как всем известно, пространством занимается география, и, на первый взгляд, резонно считать, что раз происходит поворот к пространству, то это к географии должны по нарастающей стать открытыми другие дисциплины. Между тем, без-

условно растущее интеллектуальное влияние дисциплины далеко не всюду совпадает с её институциональным положением: если в процветающих частных университетах создаются новые географические центры[7], то в вузах попроще география далека от процветания. Так, число преподавателей на многих факультетах университетов Европы и США сокращается, ряд факультетов закрыты, а существующие сталкиваются с вызовом, хорошо описанным австралийским географом:

> «Исследователям неформально советуют перепрофилироваться на другие, предположительно более проблемно-ориентированные и технологичные, области вроде менеджмента окружающей среды, пространственной науки (*spatialscience*) или урбанистических исследований, которые кажутся многим университетским менеджерам способными предложить более узкую профессиональную подготовку, обращаться к “реальным проблемам” и не закапываться в старых дисциплинарных “шахтах”»[8].

Соединяя общую историю «поворота к пространству» и ещё очень короткую историю нашего проекта, нацеленного на создание и сплочение социально-гуманитарного сообщества интересующихся пространством людей, замечу следующее. Объявив конкурс на участие в HESP-ReSET проекте весной 2010 г., мы рассчитывали, что слова «социальная и культурная география» привлекут молодых преподавателей факультетов географии бывших советских республик и России. Так, на сайте Русского географического общества перечислено 176 вузов и колледжей России, где ведётся преподавание географических специальностей, но, возможно, каналы, по которым мы распространяли извещение о конкурсе, оказались недостаточными. Вероятно, сказались также инерция участия в предыдущих проектах HESP (участники ряда предыдущих подали заявки и были приняты) и тот факт, что в разных дисциплинарных сообществах – свои традиции повышения квалификации. Итог: географов в нашем проекте почти нет. Это очень досадно, потому что в дискуссиях об окружающей среде, экономике, обществе, культурном разнообразии географы могли бы сказать решающее слово. Ниже я попробую кратко разобраться в том, почему на наших школах мы обсуждаем пространство без географов. Понятно, что сказанное здесь ни в коей мере не относится к состоянию постсоветской или российской географии в целом.

Просмотрев сайты факультетов географии России и её ближайших соседей на западе и на юге, понимаешь, что преподавательской молодёжи на них почти нет и что традиционно сильная в Восточной Европе и России *физическая* география, пожалуй, превалирует среди преподаваемых там дисциплин. Анекдотическое под-

---

7 См.: [Электронный ресурс] Точка доступа: http://gis.harvard.edu/icb/icb.do.

8 Gibson C. Geography in Higher Education in Australia // *Journal of Geography in Higher Education*. 2007. Vol. 31(1). P. 99.

тверждение этому – сайт студентов географического факультета МГУ, где, среди прочего, утверждается, что самый популярный вопрос среди студентов I курса в октябре-ноябре следующий: «Какой у тебя градус?». Что буквально означает: «По какому меридиану ты чертишь комплексный физико-географический профиль?».[9] На академических конференциях при упоминании «поворота к пространству» можно натолкнуться на иронические улыбки географов (мы-то, мол, туда давно повернули), однако напрасными будут поиски тех разнообразных видов пространства, которым посвящены упомянутые выше недавние немецкие компендиумы, среди названий диссертаций, защищаемых на географических факультетах или в представляемых географами на конференциях материалах. Так, по специальности 25.00.24 «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география» Алексеем Сидоренко недавно защищена работа под названием «Информационные и политические аспекты развития крупных городов России в 2000-х гг.»[10], в выводах которой российские города без какой-либо дифференциации именуются «опорными пунктами глобальной мировой системы» (с. 21), лишний раз, по-моему, демонстрируя необходимость систематической рефлексии того, как в научной работе сочетаются воображаемое и реальное. Неслучайно географы-профессионалы подчёркивают, объясняя проблематичный статус социальной географии в интеллектуальной жизни России, что

> «география на самом деле – это культура восприятия пространства. Неодинаковое пространство, неравноместное пространство»[11].

В то же время московский географ А.Д. Арманд, сожалея о том, что у географов нет надёжных оснований выделения специфики «своего», географического, пространства, подчёркивает, что до сих пор его коллеги не в состоянии сформулировать закон, или закономерность, «согласно которой строятся, сохраняются и исчезают географические системы, включающие абиотические, биологические и социальные компоненты»[12], но что ближе всего к такому закону – модель размещения центральных мест Вальтера Кристаллера, суть которой в том, что «точечные объекты на земной поверхности имеют тенденцию располагаться не слишком близко друг к другу и не слишком далеко» в случае, когда на них распространяются силы притяжения и отталкивания. А.Д. Арманд продолжает разговор, ссылаясь на «модификации общефизических закономер-

---

[9] *Геофакер. Неофициальный сайт географического факультета МГУ* // [Электронный ресурс] Точка доступа: http://geofaker.1gb.ru/default.aspx?ti=3&hti=15&hhti=113.

[10] См.: www.geogr.msu.ru/science/diss/oby/Sidorenko.pdf.

[11] Орешкин Д. «Все свободны» – разговор на свободные темы // *Радио «Свобода»*. 2005. 16 окт. [Электронный ресурс] Точка доступа: http://archive.svoboda.org/programs/shen/2005/shen.101605.asp

[12] Круглый стол «Изменения территориальной организации общества в условиях становления постиндустриализма» // *Август Леш как философ экономического пространства*. М.: «Эслан», 2007. С. 293.

ностей», и хотя понятно, что это – частное обсуждение частного вопроса, в нём, по-моему, можно вычленить некоторые черты когнитивного стиля, проявляющегося во множестве отечественных географических штудий.

Во-первых, это уверенность в существовании общих закономерностей, с помощью которых можно описать пространство, геометрическое ли, физическое или географическое. *Во-вторых*, это мышление в терминах «систем», в данном случае географических систем, сочетающих в себе различные подсистемы, включая биологические и социальные. *В-третьих*, это отождествление научности рассуждений с разговорами, ведущимися на самом абстрактном уровне из всех мыслимых. Не странно ли, в самом деле, что идеи Кристаллера, сформулированные им в 1933 в книге *Центральные места южной Германии*, семьдесят лет спустя географом страны, отмеченной фантастическим разнообразием ландшафтов, очищаются от всех возможных пространственных коннотаций и превращаются в повод говорить о «точечных объектах»? Разумеется, часть географического сообщества России как раз и посвятила профессиональную жизнь описанию этого разнообразия, но в описании содержания читаемых в университетах и педвузов курсов слишком, по-моему, часто встречаются разговоры на поистине вселенском уровне «человека» и «окружающей среды». Не этим ли объясняется то, что когда речь заходит о том, чт*о* именно географы делают с продуцируемым и воспроизводимым знанием, хвастаться им особенно нечего? Между тем если брать примеры из опыта географических сообществ других стран, то именно способность интересно описать региональную и городскую специфику развития стран и городов Азии позволила коллегам активно включиться в англоязычные дебаты, посвящённые глобализации. В российских же университетах, когда дело доходит до социальной географии, она, как правило, объединяется с экономической, т. е. изучаются по преимуществу масштабные экономические регионы, а такие ключевые для современной географической теории понятия, как «пространство», «место», «масштаб», «взаимосвязь», «потоки», «сети», «процессы», «изменения», насколько можно судить по программам читаемых курсов и той академической продукции, с которой довелось познакомиться, растворяются в тех или иных версиях географического детерминизма. Между тем с их помощью можно добиться очень важного – более широкого осознания окружающего всех нас большого и взаимосвязанного мира.

Классик современной географии Дэвид Харви, настаивая, что география слишком важна для понимания событий мира, чтобы оставить её только географам, выделяет *четыре* ключевых компонента географического знания: картографические идентификации, знание положения того или иного объекта в географическом пространстве; понимание пространственно-временной динамики; знание характеристик местности, места и региона; знание окружа-

ющей среды, или отношений между природным и культурным.[13] Он подчёркивает, что следует различать использование понятия пространства «как ключевого элемента материалистического проекта понимания осязаемых географий “на местах”» и «присвоение пространственных метафор социальной, литературной и культурной теорией»[14] – занятие, которое, с его точки зрения, обрело популярность в постструктурализме для проблематизации метанарративов вроде марксистского. Как видим, знаменитый географ, серьёзно способствовавший тому, что пространство стало столь значимым для интеллектуалов, идентифицируется с «материалистическим проектом» и дистанцируется от постструктурализма; и он, как я покажу ниже, следует здесь неомарксистской традиции понимания пространства, заложенной Анри Лефевром. Это приводит нас к проблеме генеалогии «поворота к пространству».

Генеалогия «поворота»

Использование для описания смены теоретических приоритетов метафоры «поворота» радует умеренностью: царившие в прошлом «измы» потому с неумолимостью и приводили к появлению «пост-» и «нео-» двойников, что чересчур ко многому обязывали своих сторонников. Множество «поворотов», под знаком которых сформировалось уже не одно поколение исследователей («лингвистический» был, кажется, первым), способствует представлению об академической деятельности, и в частности о деятельности научной, как крайне разнородной и образованной взаимодействием школ, сообществ, позиций, парадигм, традиций, друг с другом конкурирующих и спорящих и друг на друга влияющих. Само знание и практики, его порождающие, мыслятся как всегда исторически и социально обусловленные, побуждая по-новому относиться к истинам и теориям, позиционируемым как универсальные и вневременные. Повороты «нормативный» и «перформативный», «аретический» и «нарративный», «материальный» и «практический» рождают, в свою очередь, стремление отойти в сторону и посмотреть, что же было упущено в случае слишком радикальной или слишком поспешной концептуальной перестройки, или разобраться в том, что происходит «после» того или иного поворота. Не этим ли объясняется, что почти каждый из упомянутых поворотов фигурирует в названиях коллективных монографий со словом *«beyond»*, т. е. «после» или «помимо»?[15]

---

13 Harvey D. Cartographic Identities: geographical knowledge under globalization // *Spaces of Capital: Towards a Critical Geography.* Edinburgh: Edinburgh University Press, 2001. P. 3.

14 Harvey D. Space as a Keyword // N. Castree, D. Gregory (eds.) *David Harvey: a Critical Reader.* P. 278.

15 Hacker P. Analytic Philosophy: Beyond the Linguistic Turn and Back Again // M. Beaney (ed.) *The Analytic Turn. Analysis in Early Analytic Philosophy and Phenomenology.* New York: Routledge, 2000. P. 125–133; Allweil Y. Beyond the Spatial Turn: Architectural History at the Intersection

Думая о том, как составить учебный курс не по конкретной дисциплине и не о влиятельном мыслителе, а о смене приоритетов во всём корпусе социально-гуманитарного знания, приходишь к выводу, что в разных странах возможна своя генеалогия «поворота к пространству». К примеру, немецкий историк городов Восточной Европы Карл Шлегель в своей монографии *В пространстве читаем мы время* среди влиятельных участников поворота к пространству называет Эда Соджу, Анри Лефевра, Дэвида Харви и И-Фу Туана[16], но не упоминает Мишеля Фуко. Дэвид Харви, в свою очередь, критикует Мишеля Фуко за непродуманность пространственных построений.[17] Напротив, Соджа, по-моему, более точен, заявляя, что «поворот к пространству начинался в Париже»[18], с Фуко и Лефевра, и сетуя, что в силу целого ряда социальных и политических обстоятельств инициированный ими поворот не получил развития и оставался скрытым в течение двух десятилетий. Учитывая, что Фуко в России, Украине, Беларуси и других странах и переведён шире и освоен активнее, чем Лефевр, не говоря уже о Содже и Харви, и принимая во внимание, что постструктурализм больше значит для большинства вузовских педагогов среднего и младшего поколения этих стран, чем материализм, можно предложить очень простой вариант генеалогии «поворота». Подчеркну, что его педагогическая польза – больше, поскольку если из Соджи и Харви многое приходится пересказывать, то Фуко можно *читать*, добиваясь у студентов того, что А. Бикбов точно называет «эффектом “очарования” пророческим текстом Фуко, который производит собственную, противостоящую обыденной очевидность»[19].

«Пространство, а не время!» – не этим ли тезисом вошёл в историю постструктурализм? Начало «поворота» можно датировать мартом 1967-го, когда Мишель Фуко прочитал лекцию, позднее получившую название *Другие пространства* и впервые опубликованную на языке оригинала в октябре 1984 г. Лекция начинается с энергичного утверждения:

> «Как мы знаем, великим наваждением девятнадцатого века была история с её темами развития и приостановки, кризиса и цикла, накапливающегося прошлого, с её великим перевесом мёртвых и угро-

---

of the Social Sciences and Built Form // *The Proceedings of Spaces of History/Histories of Space: Emerging Approaches to the Study of the Built Environment*. College of Environmental Design, UC Berkeley. [Electronic resource] Mode of access: http://escholarship.org/uc/item/9rt7c05f.

16 Schlögel K. *Im Raumelesenwir die Zeit: ÜberZivilisationsgeschichte und Geopolitik*. 2003. S. 63.

17 Harvey D. Cosmopolitanism and the banality of geographical evils // *Public Culture*. 2000. Vol. 12(2). P. 529–564.

18 Soja E. Taking Space Personally // W. Barney, S. Arias (eds.) *The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives*. P. 17.

19 Бикбов А. Пространственная схема аналитики Фуко: социальное объяснение как инструмент разрыва с горизонтом обыденной очевидности // *Мишель Фуко и Россия*. М.: Летний Сад; СПб.: Европейский университет, 2002. С. 117.

жающим обледенением мира… Современная эпоха, возможно, кроме всего прочего будет эпохой пространства. Мы живём в эпоху одновременности, в эпоху наложения, эпоху близкого и далёкого, эпоху, когда многое существует бок о бок, эпоху рассеяния. Настоящий момент, мне кажется, таков, что наш опыт мира – не столько опыт длительной жизни, развёртывающейся во времени, сколько опыт сети, увязывающей пункты и пересекающейся со своими собственными сплетениями».[20]

Мишель Фуко радикально проблематизировал предшествующие формы мысли, оспорив приоритет, отдаваемый философами времени:

> «Со времён Канта то, что надлежит мыслить философу, – это время. Гегель, Бергсон, Хайдеггер... Одновременно обесценивается пространство, которое оказывается на стороне рассудка – всего, что есть аналитического, концептуального, мёртвого, застывшего, инертного».[21]

Почти дословно этот ход мысли повторен в его *Мыслях о географии*:

> «С Бергсона или раньше это началось? Пространство трактовали как мёртвое, постоянное, недиалектичное, неподвижное. Напротив, время было богатством, изобилием, диалектикой»[22].

Задержка с публикацией лекции Фуко (по убеждению Дэвида Харви, неслучайная) придаёт темпоральное измерение рассуждению о том, кто стоял у истоков «поворота к пространству», которое становится ещё серьёзнее, когда осознаёшь, что весьма схожим образом мыслившие пространство Фуко и Лефевр в «симметричной», т. е. предполагающей хорошее знакомство с идеями друг друга, дискуссии не состояли, хотя, излагая план *Производства пространства*, Лефевр вступает в полемику с Фуко. Его соображения следует здесь привести ещё и потому, что неомарксистский классик в 1974 году (год выхода книги по-французски) весьма скептически отзывается по поводу «такого и сякого» пространства, т. е. разговоров по поводу идеологического, литературного,

---

20 Foucault M. Of Other Spaces // N. Mirzoeff (ed.) *Visual Culture Reader.* L.: Routledge, 1998, P. 237. Эта работа переведена на русский с французского, но не без неточностей (по крайней мере, если сравнивать с переводом на английский: так, в цитируемом фрагменте в существующем русском переводе слово «история» вообще исчезло). См.: Фуко М. Другие пространства. Гетеротопии [Текст]; перев. с франц. А. Муратова; ред. С. Ситар // *Проект International.* 2007. № 19. С. 170–179.

21 Фуко М. Око власти // *Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью*; перев. с франц. М.: «Праксис», 2002. С. 224.

22 Foucault M. Questions of Geography // C. Gordon (ed.) *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977.* New York: Pantheon Books, 1980. P. 63–77.

сновидческого пространства и т. д. Иными словами, то, что нам сегодня кажется одним из самых интересных *последствий* поворота, а именно: возможность обсуждать с помощью пространственных терминов интернет и субъективность, тело и поэзию, историю и экономику, познание и технику, Лефевр – зачинатель поворота – оценивает скептически, позиционируя себя как сторонника концептуальной строгости в использовании понятия пространства. В этом тексте у меня нет возможности подробно показать, зачем понадобилось Лефевру это упорное концептуальное дисциплинирование современников, но всякий одолевший его книгу согласится со мной, что строгость в работе с понятиями – отнюдь не самая сильная сторона мыслителя.

Лефевр возмущается тем, что «мы вечно слышим о пространстве того и/или пространстве этого: о литературном пространстве, идеологических пространствах, пространстве сна, психоаналитических топологиях и так далее и так далее». Предположительно фундаментальные эпистемологические штудии отмечены явным отсутствием не только идеи «человека», но и идеи пространства, невзирая на то что пространство упомянуто на каждой странице. Поэтому Фуко может спокойно утверждать, что

> «знание – это пространство, в котором субъект может занять позицию и говорить об объектах, с которыми он имеет дело в своём дискурсе»[23].

Фуко никогда не объясняет, что это за пространство, о котором он говорит, или как оно преодолевает разрыв между теоретической (эпистемологической) областью и практической, между ментальной и социальной, между пространством философов и пространством людей, имеющих дело с материальными вещами. Научная позиция, понятая как приложение «эпистемологического» мышления к приобретённому знанию, мыслится как «структурно» связанная с пространственной сферой. Эта связь, с точки зрения научного дискурса считаемая самоочевидной, никогда не концептуализируется.[24] Заметим невероятную избирательность прочтения Лефевром книги Фуко, в которой последний, по-моему, очень интересно демонстрирует возможности таких пространственных понятий, как «место», «позиция», «траектория» и т. д., и не раз заводит разговор о «социальном» пространстве – вотчине тех, кто, как Лефевр, размещают себя не в «пространстве философов», но в «пространстве людей, имеющих дело с материальными вещами». В цитируемой Лефевром книге (*Археология знания*) Фуко говорит и об «общественном здоровье в конкретном социальном пространстве»[25], и об «анонимных исторических правилах, всегда определённых во времени и пространстве, которые установили в данную эпоху и для данного социального, экономического, географического или лингвистического

---

23 Фуко М. *Археология знания.* Киев: Ника-Центр, 1996. С. 180.
24 Lefebvre H. *The Production of Space.* Blackwell, 1991. P. 3–4.
25 Фуко, *Археология знания*, указ. соч., с. 53.

пространства условия выполнения функции высказывания»[26]. Вероятное объяснение столь тенденциозного прочтения одним классиком другого можно почерпнуть несколькими страницами ниже, где Лефевр чеканит: «Правящий класс всеми доступными средствами стремится сохранить гегемонию, одно из них – знание. Тем самым проявляется связь между властью и знанием… указывая на антагонизм между обслуживающим власть знанием и формой познания, отказывающейся признать власть», – и подчёркивает, что этот антагонизм Фуко в своём тексте обходит стороной.[27]

Это очень и очень важный для наших целей момент, связывающий проблему интеллектуального первенства в формулировании оснований «поворота» с проблемой позиции интеллектуала перед лицом «глобального» капитализма. Когда я думаю, какую эволюцию проделали за 35 лет, что прошли с написания текста Лефевра, «формы познания, отказывающиеся признать власть», то есть о трансформации левого движения, о судьбе продуктивной социальной и политической критики и инстанциях, которые её существование могли бы поддерживать, то, признавая безусловный вклад неомарксизма в точное описание социально-экономического производства пространства, констатирую крайнюю противоречивость современного дискурса о критике и сопротивлении. Академически это проявляется в том, что марксизм активно используется в целях, опять, концептуального дисциплинирования, и на ряде конференций (вроде конференции по критической географии, что собирается этим летом во Франкфурте[28]) ты можешь стать объектом атаки коллег за то, что недостаточно страстно обличала противоречия позднего капитализма, а твоя солидарность с угнетёнными была выражена вяловато. В российском социологическом сообществе есть свои варианты такого дисциплинирования: «Что-то мало я услышала здесь о социальном неравенстве», – может сказать после твоего доклада коллега, сформулировав «неотбиваемый» критический довод. С другой стороны, вспоминая атаку участников нашего проекта на одного из лекторов – Джона Шорта, который с чрезмерным энтузиазмом воспроизводил самую вульгарную версию дискурса глобализации (дескать, как здорово, что по своей кредитке в любой части света ты можешь извлечь деньги из банкомата и не это ли является замечательным свидетельством того, что глобализация создаёт пространство потоков, финансовых прежде всего), думаешь, что критическая позиция мыслящей части преподавательского сообщества – это поистине драгоценное наше общее достояние. Только вот как её транслировать?

---

26 Фуко, *Археология знания*, указ. соч., с. 117.
27 Lefebvre, op. cit., p. 10–11.
28 *VI International Conference of Critical Geography. General theme: «Crises – Causes, Dimensions, Reactions»*. Frankfurt am Main, Germany, 16–20 August 2011 // [Electronic resource] Mode of access: http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/belina/iccg2011/ENG/index.html.

Преподавая на философском факультете и обсуждая со студентами и проблемы назначения человека, и изощрённость, с какой поддерживается социальный порядок, я иногда обнаруживаю, что школьное образование надёжно приобщило их к прогрессистскому нарративу. Они верят и в то, что наука со временем сможет решить все человеческие проблемы, и в то, что человеческий удел будет постепенно улучшаться, и в то, что свобода и равенство получат всё большее распространение. Оглядываясь назад, они вроде бы обоснованно заключают, что социальные различия будут если не сняты, то, так сказать, «оптимизированы». Памятуя о том, что задачу философского просвещения классики моей профессии связывали скорее с лишением людей иллюзий, чем с их поддержанием, я спрашиваю себя: стоит ли обращать внимание студентов на то, что задачи радикальных социальных реформ сегодня ни одна политическая сила не ставит и что глобальный капитализм представляет, по сути, единственную «тотальность», как говорят философы, то есть единственную объяснительную рамку, единственный контекст для наших размышлений?

В контексте единственности капитализма как объяснительной рамки можно точнее понять обескураживающие рассуждения харизматичного американского политического философа Уэнди Браун о двух революционных мечтах, умерших в последние двадцать лет, а именно социалистической и феминистской (и сексуальной).[29] Экономическая неэффективность государственного социализма в рамках глобального капитализма, а также отсутствие освободительного потенциала в социалистическом по характеру труде, приведшие к краху социалистических режимов, поставили в сложное положение Новую Левую, пишет она. Вроде бы попытались Хардт и Негри представить что-то вроде мирового социализма, возможного за счёт самоуправляющихся независимых поселений, но кого это вдохновило? Проблема в том, как пишет Браун, что

> «почти невозможно представить освободительный, экологический и экономически вместительный социализм, который вытекал бы из текущего развития того, что Маркс называл “производительными силами”, то есть который был бы сопоставим с современной политической, экономической или социальной организацией пространства и населения и не был подвержен коррупции известными нам сегодня опасными способами осуществления власти»[30].

У. Браун, по-моему, очень хорошо формулирует урок, который мы все извлекали по мере того, как в наших странах упрочивался капитализм, что

> «мужчин и женщин можно сделать взаимозаменимыми винтиками в современной и будущей капиталистической машинерии, где редко

---

[29] Brown W. Women Studies Unbound: Revolution, Mourning, Politics // *Parallax*. 2003. Vol. 9, № 2. P. 3–16.

[30] Brown, op. cit., p. 8.

нужна физическая сила, где мало значит продолжительность работы на одном месте, где работа, связанная с воспроизводством, почти полностью коммодифицирована, а само воспроизводство почти отделимо от тел и в любом случае отделимо от сексуального разделения труда»[31].

Похоже, связь капитализма и подчинения (гендерного, классового, этнического) более сложна и неоднозначна: капитализм эксплуатирует различия, коммодифицирует и реифицирует сексуальные различия, но обладает также и мощной гомогенизирующей силой. Проблема заключается в другом, и позвольте мне здесь снова процитировать Браун:

> «Может ли при капиталистическом социальном порядке поддерживаться и принять форму живой и организованной оппозиции ... именно радикальная критика систематических проявлений несправедливости и страдания и радикальное видение альтернатив?»[32]

Возвращаясь к дискуссиям со студентами, амбивалентность моих раздумий по поводу которых я пытаюсь здесь передать, можно сказать в этой связи, что студенты часто равнодушны и к радикализму и к критике, потому что в их сознании нарративы прогресса и капитализм накрепко соединены и они уверены в том, что, как и раньше, капитализм будет демонстрировать свою способность к самореформированию. Зачем же тогда суетиться и тратить время на непродуктивную критику? Но проблема в том, что капитализм довольно жёстко конструирует социальное воображение, и в публичной сфере циркулируют только те мечты и упования, которые согласуются с его сутью и сохранением статус-кво. Внятные альтернативы нынешнему социальному порядку очень трудно и формулировать и пропагандировать.

Что представляет собой теория, из которой вычли убеждение в том, что условия подчинения могут быть не только определены и описаны, но и трансформированы? Так, Браун задаётся вопросом: если феминисты продолжат только описывать виктимизацию женщин и социальную конструкцию этой виктимизации, то в чём конечная цель этой работы? Иными словами, чего оно всё ст*о*ит, если продолжать умножать насыщенные описания угнетения? Браун пишет: почему мы всегда описываем, что власть делает с нами, почему наши предложения всегда включают лишь, так сказать, приручение власти, добывание защиты посредством законов и регулирования? Чего всё это ст*о*ит, если мы не можем себе представить мир, в котором сами управляем и в котором мы свободны от того вектора идентичности, с которым сопряжено столько наших ран? Кстати сказать, чем мы образованнее и квалифицированнее, тем точнее мы представляем, почему это невозможно. Не получается ли, что благодаря Фуко с его учением о замкнутых эпистемах и микрофизике власти мы поняли не только, что не надо ки-

31 Brown, op. cit., p. 9.
32 Ibid.

вать на власть «вверху», потому что она вездесуща и пронизывает все закоулки наших отношений, но что мы никогда не в состоянии точно понять принципы её работы? И даже марксизм, с его проблематикой ложного сознания, обрисовал те нешуточные усилия, которые нужно предпринять коллективному субъекту, чтобы понять подлинные условия своего существования и механизмы их изменения. Чем больше мы знаем про силу социального конструирования, тем, как кажется, безвыходнее наше общее положение.

Это, однако, рассуждения, сформулированные в конце первого десятилетия XXI века. Когда А. Лефевр восставал против «контейнерного» представления о пространстве и призывал продумывать альтернативные принципы организации пространства, он настаивал на том, что новое знание о пространстве должно одновременно учитывать прошлое и смотреть в будущее, а точнее, помочь понять, как именно общества порождают пространство и какие именно факторы следует учесть в будущем, размышляя о «проекте ... другого пространства и другого времени в другом (возможном или невозможном) обществе»[33]. «Другого пространства?» – Но постойте, не о других ли пространствах и толковал его более знаменитый современник в своём долго ожидавшем публикации тексте 1967 года:

> «Пространство, в котором мы живём, которое выводит нас из себя, в котором происходит эрозия наших жизни, времени и истории, которое царапает и грызёт нас, есть также, в себе, гетерогенное пространство. Другими словами, мы не живём в пустоте, внутрь которой можно помещать людей и предметы. Мы не живём в пустоте, которую можно подсветить разными оттенками света, мы живём внутри набора отношений, очерчивающих несводимые друг к другу и не взаимозаменимые места»[34].

Не насущнее ли сегодня эти строки по сравнению с идеями Лефевра, который, увязав другое пространство с другим временем, утопически уводит разговор в неведомое будущее?

Говоря о Фуко, столь радикальное противопоставление времени и истории пространству, которое мы находим в процитированных выше строках, было частью более масштабного проекта мыслителя, а именно археологии знания, частью которого было формулирование особенностей дискретных дискурсивных формаций, создающих субъектов и объектов знания, и условием реализации которого Фуко считал необходимость «избавиться от целой массы понятий, каждое из которых диверсифицирует тему непрерывности»[35]. Археология – критический проект, при этом критике подвергается и социальный порядок, и мастер-нарративы, которые укладывают историю в телеологические схемы, а индивидуальные стили и предпочтения говорящих изображают как за-

33 Lefebvre, op. cit., p. 91.
34 Foucault, *Of Other Spaces*, op. cit., p. 239.
35 Фуко, *Археология знания*, указ. соч., с. 11.

ведомо вторичные по отношению к системам фундаментальных правил той или другой дискурсивной формации. Рассеяние, которое упоминает Фуко, – это прежде всего рассеяние дискурсивных формаций, формирующихся дискретно и в своей отдельности друг от друга:

> «Конкретный дискурс может в один момент фигурировать как программа или институт, а в другой может функционировать как средство оправдания или маскировки практики, которая сама по себе остаётся безмолвной, или как вторичная интерпретация этой практики, открывая для неё новое поле рациональности»[36].

Исторический момент формирования определённого пространства – вот то, что интересовало Фуко: дом*а* призрения, тюрьмы и приюты, множащиеся в пространстве города, использование архитектуры для производства дисциплинарного пространства в целях нормализации индивидов и, более общим образом – открытие того, как можно дисциплинировать, нормализовать, упорядочить жизнь посредством заточения её в городском пространстве. Жизнь и болезни – отношения разворачивались, начиная со Средних веков, в городских стенах: социальный порядок укреплялся через понимание власть предержащими, чт*о* можно сделать перед лицом эпидемии. «Проказа – сифилис – сумасшествие» – такую смысловую цепочку выстраивает Фуко в *Истории безумия*, начав её выразительным описанием «больших проплешин» на окраинах городов – пустующих после победы над проказой лепрозориев, которым впоследствии нашлось применение: в них поселились «повредившиеся в уме». Таким образом, исторический момент формирования определённого пространства неотделим от исключения кого-то из этого пространства и исчезновения из него чего-то навсегда.

Благодаря Фуко ощущения узника в пространстве камеры, став эмблемой модерности, вошли в общий европейский интеллектуальный багаж. Хрестоматийный сегодня анализ *Паноптикума Бентама* – часть проекта генеалогии, ибо соединение архитектуры и социальной теории, реализуемое через тщательную работу мыслителя с планами и схемами, увязывает воедино пути мысли и механизмы контроля. Фуко не очень интересно то, как пространство можно *читать* (их, кстати, объединяет с Лефевром сильный скепсис по отношению к семиотике). Куда важнее, что *чувствует* обладатель тела, включённого в машину власти, исследующей, переустраивающей, распределяющей тела в пространстве, в свою очередь иерархически сегментируемом. Вот почему

> «стоило бы написать целую историю различных пространств (которая в то же время была бы историей различных видов власти), начиная с больших геополитических стратегий и заканчивая мельчайшими тактиками по условиям расселения, историю архитектуры учреждений,

---

[36] Foucault M. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977*. Ed. C. Gordon. Brighton: Harvester, 1980. P. 194–195.

классной комнаты или больницы, проходя через способы хозяйственно-политической дифференциации»[37].

Этот проект Фуко противопоставляет многочисленным вариантам пространственного/географического редукционизма, согласно которым пространство мыслилось как данность либо как уже упомянутый «контейнер»: «место пребывания или распространения какого-либо народа, культуры, языка или государства»[38]. Фуко призывает перестать «уверять друг друга, что пространство предопределяет историю». Понять историю как пространство изменяющую и в нём откладывающуюся – вот что необходимо.

Сдвиг интересов Фуко от дисциплинарного пространства к пространству, создаваемому либерализмом и неолиберализмом и базирующемуся на безопасности, населении и территории (его работы по «правительности»[39]), делает его автором, крайне релевантным для дебатов по поводу неолиберальной глобализации. Кстати, иерархическая сегментация пространства, описанная Фуко как центральный принцип дисциплинарного общества, воспроизводится глобально – в нарастающем использовании «тюремным» государством практик исключения определённых категорий граждан из сферы юрисдикции, сводящим их к «нагой жизни» с помощью риторики «чрезвычайного положения», «исключительной ситуации», «особой опасности». Необиополитическая, или постполитическая, природа современной власти, которая не знает, что делать с миллионами «лишних» людей, существующих биологически, однако, жизнью, не имеющей экономического или политического значения, с использованием идей Фуко может быть описана точнее. Его тексты ближе самоощущению образованного субъекта, нежели те, в которых лишь утверждается, что пространство социально производится. Эта увлечённость идеями социальной сконструированности пространства была объяснима в 1970–1990-е, когда и появились ключевые для поворота к пространству тексты на языке оригинала.

Сегодня, когда власть основывает свою деятельность на «постфордистском постсоциальном контракте» (выражение Гуса Венна), когда трудно понять, что же это за общество, которое конструирует пространство – хоть в России, хоть в Америке; когда невозможно указать на субъекта ответственности ни в одном правительстве, но, напротив, происходит агрессивная индивидуализация ответственности, то есть адресация ответственности за себя тем, над кем правят; когда государство позиционирует себя как внешнее по отношению к определённым категориям людей, не уставая «геополитизировать» безопасность, население и территорию за счёт воспроизведения различения друг/враг, Фуко, так сказать, выдерживает прочитывание, а у Лефевра более насущным кажется анализ

37 Фуко, *Око власти*, указ. соч., с. 223.
38 Там же.
39 Governmentality. – *Прим. ред.*

«консолидации государства в мировом масштабе»[40]. Но там, где Лефевр спешит увидеть *оппозицию* планам, техникам и программам государства, его последователь Дэвид Харви подчёркивает, что за три века государство слишком надёжно утвердило себя в качестве главного субъекта производства географического знания:

> «Государственный аппарат с его интересами в правительности, администрации, налоговой сфере, планировании и социальном контроле последовательно, с восемнадцатого века, создавался как основное место сбора и анализа географической информации. Процесс формирования государства был и остаётся зависим от складывания определённых типов географического понимания… На протяжении последних двух веков государство остаётся местом производства географических знаний, необходимых для создания, поддержки и усиления его власти… Посредством механизмов планирования государство учреждает нормативные программы для производства пространства, определения территориальности, географического распределения населения, экономической деятельности, социальной политики, богатства и благополучия»[41].

Когда же Лефевр убеждённо твердит, что «навязываемая государством нормальность делает неизбежной постоянную трансгрессию»[42], ты жалеешь, что не можешь ему показать тысячи индивидов, которые в ходе социализации благополучно минуют «романтическую» фазу бунтарства и утопических иллюзий, с малолетства отождествившись с ценностями материального успеха.

На тотальность капитализма упорно обращает внимание Фредрик Джеймисон, который, кстати, вторит Фуко, противопоставляя историзм – модерности и пространственность – постмодерности:

> «Несомненный поворот к пространству часто, казалось, давал возможность отличить постмодернизм от подлинного модернизма. Опыт темпоральности, присущий последнему – экзистенциальное время, а также глубокая память, – привычно считается доминантой высокого модернизма»[43].

«Пространственная форма» лучших образцов высокого модернизма обладает, по Джеймисону, сходством с дворцами памяти, описанными Фрэнсис Йейтс, т. е. античными формами организации памяти, которые базировались на уподоблении последовательности рассказа оратора упорядоченным местам какого-то здания. Времен*ная* упорядоченность, воцарившаяся в интеллектуальной жизни Европы на тысячелетия, противопоставляется Джеймисоном «пре-

---

40 Lefebvre, *The Production of Space*, op. cit., p. 23.

41 Harvey D. *Spaces of Capital: Towards a Critical Geography.* Edinburgh University Press, Edinburgh, 2001; especially «Cartographic Identities: Geographical Knowledge Under Globalisation», pp. 208–233. P. 3.

42 Lefebvre, *The Production of Space*, op. cit., p. 23.

43 Jameson F. *Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism.* Durham, NC: Duke University Press, 1991.

рывному пространственному опыту и смешениям постмодерна». В этих рассуждениях сегодня важно, что теоретик проводит различение между «двумя формами взаимосвязи времени и пространства». Хотя «постмодернистский идеал героического шизофреника» (который можно почерпнуть в трудах Делёза) и нацелен на невозможное, а именно попытку вообразить чистый опыт «чисто» пространственного настоящего, находящегося вне «прошлой истории и будущей судьбы», идеальный опыт шизофреника – это всё-таки опыт временной, что-то близкое вечному настоящему Ницше.

В то же время в опыте большинства людей, отмеченном постмодернизмом, темпоральности места нет, о ней скорее лишь пишут, чем её переживают. Другое дело, что и опыт и его выражение – скорее компоненты века модернистского, а «в постмодерном веке им нет места», так что остаётся неясным, чт*о* именно должно подвергнуться опространствливанию – категории мышления? Неясно и то, кто же носитель «воли использовать или поставить время на службу пространству»? Не прояснён и статус опыта в постмодернизме: в воспроизведённом пассаже Джеймисон, с одной стороны, выделяет специфический, только постмодерну присущий опыт, главная характеристика которого – прерывность, а с другой стороны, повторю, допускает, что опыту в постмодерне вообще нет места.

Немного о студенческой аудитории

В постмодерне какому-то опыту, похоже, всё же место находится. Учителя лучшей екатеринбургской гимназии с ужасом рассказали о недавней (статья закончена в марте 2011) проверке работ ЕГЭ по русской словесности в городе и области. В одной из работ задание написать о кризисе гуманизма проиллюстрировано наблюдениями за состоянием ипотеки в регионе (что-то важное здесь, по-моему, схвачено). Предложение проанализировать хрестоматийное решение покидающей Москву семьи Ростовых отдать подводы раненым превратилось, в другой работе, в «эвакуацию раненых на подводной лодке в романе Достоевского *Война и мир*». Такие рассказы рождают понятные опасения: идеи, значимые для вузовских педагогов, и потребности и ценности их завтрашних подопечных неумолимо расходятся. В то же время те, кто заканчивают университеты сегодня, неохотно их покидают: им кажется, что если они останутся в сфере высшего образования, то будут застрахованы от жлобства и крайностей «гибкого» трудоустройства. В любом случае не совсем ясно, кому мы будем адресовать наши сложные и не очень речи о пространстве через несколько лет. Но, в духе «перформативного поворота», можно сказать, что, только пытаясь что-то изменить, приобретёшь основания для алармистских, скептических (ими я уже поделилась) или оптимистических суждений о нашем безнадёжном деле.

Участие в проекте даёт нам всем шанс, если злоупотребить известной метафорикой, проложить тропы через дисциплины и об-

ласти литературы, до нас разъединённые, чтобы найти новые ресурсы, стимулы, причины для собственного и студенческого интереса к пространственной проблематике. Теоретическое влияние постколониализма на социальную теории привело к увеличению внимания к тому, как знание производится в не-западном контексте, так что отдельную и перспективную тему разговоров со студентами может составить специфика производства научного и иных видов знания в Восточной Европе и России. Практически это выражается в том, что востребованы приложения западной теории к соответствующему материалу. Призывать ли к созданию «собственной» теории или аккуратно анализировать пределы таких приложений – выбор всегда остаётся за преподавателем, но чешский антрополог Якуб Грыгар в своей лекции на нашей февральской Школе подал, по-моему, вдохновляющий пример работы с конкретной (модной, что немаловажно) акторно-сетевой теорией для этнографического анализа мелкой контрабанды сигарет и межграничной миграции на польско-белорусской границе. Обсуждение его лекции, с моей точки зрения, было одной из самых продуктивных точек нашей работы, потому что мы говорили о конкретной теории, о том, что она может (бросить настолько свежий взгляд на происходящее на границе, что пачка сигарет и прячущая их на своём теле пожилая «контрабандистка» будут «уравнены в правах») и чего она не может (инкорпорировать в исследование биографии информантов – как раз провести различие между живым женским телом и неодушевлённым куревом (замечание Стива Пайла)). Такой разговор вполне можно построить в студенческой аудитории, опираясь на юношеское стремление разоблачать и обнажать слабости чего угодно.

Когда мы с Альмирой Усмановой сами являлись участницами одного из летних университетов, мне запомнились слова нашего главного лектора, историка и теоретика искусства из Университета Огайо Стивена Мелвилла (он был «главным», потому что с нами, участниками, разлучался только на несколько часов сна): «Мы можем дать нашим студентам прошлое, которого у них без нас не будет». Что может входить в это прошлое? Туда, *во-первых*, должны войти интересные разговоры о *сложном,* независимо от того, в какой области знания эта сложность продуцируется. Больше того, если нам повезёт с молодыми коллегами, мы даже можем *подсадить* их на сложность, снабдив своеобразным иммунитетом против слишком лобовых аргументов, примитивных схем и риторических клише. Разбирая последние российские фильмы, один из проницательных наших комментаторов Булат Назмутдинов ставит такой диагноз:

> «Это скольжение по поверхности, косность сознания, его заштампованность – одни из самых страшных симптомов российского общества. Они, помноженные на неуважение к личному миру другого, отсутствие должной дистанции, неделикатность, являют собой нечто ужасное. Чёрно-белое общество опасно, прежде всего, своей склонностью к мгновенному делению всего и вся на “правильное” и “не-

верное". Причём если на уровне принципов и идей такая поляризация необходима, то в обыденных отношениях между людьми поспешное деление всех на своих и чужих, добрых и прочих не менее опасно, чем релятивизм»[44].

Вспоминается также замечание теоретика словесности, американиста Татьяны Венедиктовой на недавней конференции российских американистов и американских славистов о том, что пренебрежение гуманитарным компонентом высшего образования в ходе его неолиберального реформирования чревато тем, что люди перестанут считывать иронию, многослойность адресуемых им посланий, начнут воспринимать говоримое «в лоб», примером чего явилась реакция на карикатуры пророка Мухаммеда. Когда в рамках проектов HESP мы обсуждаем, как наилучшим образом транслировать передовое знание студентам, большинство которых не собираются становиться учёными, очень важно избегать проявлений индоктринации: самая лучшая теория, толкуй она о толерантности или реляционности, будет бесполезной, если её преподавать «в лоб» и безапелляционно, без сопоставления с тем, что студенты уже знают (или хотят знать). Так, снова подчеркну, что ставить под вопрос «контейнерное» мышление в условиях, когда обращённый в прошлое национализм составляет единственный ресурс легитимности власти, нужно очень изобретательно, отдавая себе отчёт в том, что твои речи и тексты, которые ты на этот счёт предложишь, могут показаться студентам прекраснодушными и не относящимися к делу.

Во-вторых, в это прошлое есть смысл попытаться включить аффективные и эмоциональные компоненты, «моменты интенсивности», как их называет Ханс Ульрих Гумберт[45], подчёркивая, что хотя они не воспитывают, они важны, так как «в такие моменты мы … ощущаем просто-напросто высшую степень мобилизации наших обычных познавательных, эмоциональных, может быть, даже физических способностей». «Пространство субъекта», «субъективное переживание пространства», «пространственное воображение» – темы, давно и активно у нас разрабатываемые[46], правда, к сожалению, вне диалога с западной традицией культурной географии. К примеру, О. Лавренова и И. Митин, следуя идеям И-Фу Туана, говорят о «топофилии», о тех или других вариантах привязанности к месту, но в приводимой ими литературе нет ни одного текста о современной России.[47] Между тем обсуждение того, какие места мы любим (кроме собственных любовно обихаживаемых квартир),

---

[44] Назмутдинов Б. Неудобные вопросы русского кино // *Русский журнал*. 2010. [Электронный ресурс] Точка доступа: http://www.russ.ru/pole/Neudobnye-voprosy-russkogo-kino.

[45] Гумбрехт Х.У. *Производство присутствия: чего не может передать значение.* М.: НЛО, 2006. С. 100.

[46] См. прежде всего многочисленные работы Д.Н. Замятина.

[47] Лавренова О.А., Митин И.И. Топофилия [Материалы к словарю гуманитарной географии] // *Гуманитарная география: Научный и куль-*

а какие места, пространства, города и страны не любим, проходит всегда весьма занимательно и плодотворно: тему мизантропии, присущей городскому обитателю, обоснованно начал разрабатывать ещё Георг Зиммель. Иными словами, дискуссии о пространстве, скорее всего, породят целый спектр эмоций: от пробудившихся вдруг сильных неприязни и зависти до, возможно, восторга. Другое дело, что это будет за восторг. На организованном мною обсуждении фильма Элен Шатлен, посвящённого ГУЛаг, несколько лет назад, одна из студенток сказала об узниках следующее: «Конечно, эти люди мучились, но зато с их помощью мы покорили новые пространства!» Пути, какими националистическая пропаганда проникает в сердца умных людей, могут быть самыми различными, и ещё раз подчеркну, что «безродный космополитизм» иного преподавателя рискует столкнуться с совершенно иными, искренними, выношенными, но от этого не менее для него проблематичными чувствами студентов. Современные варианты переживания возвышенного, переполненность огромностью мира, тем, как сложно и непредсказуемо в нём сосуществуют живое и неживое, проблематизация стремительно набирающего популярность отношения к жизни по принципу *feeling good as part of being creative* – возможны и такие измерения разговоров по поводу пространства. Сложности современного устройства жизни – финансовые рынки, сети информации, границы, менеджмент частной жизни – так или иначе воплощаются в культурных репрезентациях, с той оговоркой, что те, стремясь схватить текучесть, скорость и эфемерность происходящего, хотя и всё менее буквальны, но всё же могут лечь в основу сюжетов, карт и фильмов.

Заключение

Как избежать укрепления того, что ты думаешь, что свергаешь, – этот вопрос неслучайно преследовал Мориса Бланшо, Мишеля Фуко и других мыслителей, у которых критичность сочеталась с трезвостью. Думая о том, как менять преподавание пространственной проблематики в претерпевающих реформу университетах, как включить в учебные планы курсы, посвящённые идеям и фигурам, не желающим смириться с кажущейся бесперспективностью критики, нужно помнить, что количество тех «других» пространств и мест, где люди могли бы осознать свои общие с другими политические интересы, стремительно сокращается. Между тем специфика проблематики, которая ассоциируется с «поворотом к пространству», заключается в её тесной связи как с политиками дисциплинарного знания, так и с возможностями политики в постполитическом мире. Нарастающая зарегулированность университетской жизни, исчезновение из учебных планов хороших курсов, протекающее под разговоры об инновациях и открытости, конечно,

турно-просветительский альманах. Вып. 4. М.: Институт культурного наследия, 2007. С. 339–342.

осложняют организацию содержательного разговора о пространстве на новый лад. Уроки, которые вместе со студентами мы могли бы извлечь, перечитывая тексты инициаторов «поворота», могут состоять в проблематизации господствующих социальных стереотипов, в том числе и критических, и в установлении связи между дорогими студентам «анекдотами», случаями, компонентами фонового знания и теми фантастическими взлётами, на которые оказалась способна современная пространственная мысль.

НА ПУТИ К ВООБРАЖАЕМОЙ ГЕОГРАФИИ: ДВА ПОВОРОТА, ТРИ ПРОСТРАНСТВА

Иван Митин[1]

Abstract

The appearance and institutionalization of the research on interrelations of imagination and space is regarded as the result of ‘cultural turn’ in geography and ‘spatial turn’ in the humanities. ‘Cultural turn’ is understood in the article as a multilayered historic process, including the revolutionary changes in the theory of geography in the 1950s–1980s (‘behavioral revolution’, ‘humanistic revolution’) and the establishment of both humanistic and critical geographies. The concept of ‘thirdspace’ is seen as a sign of the final mix and collaboration of the two large research fields, becoming some new one.

Keywords: cultural turn, spatial turn, humanistic geography, imagination of space, space and place, social space, thirdspace.

Тематика интерпретации пространства и места, всевозможных представлений о территории и (пере)осмысления ландшафта, особенно городского, становится в последние полтора десятилетия актуальной для целого ряда совершенно различных научных дисциплин: от географии до семиотики, от философии до туристских исследований, от экологии культуры до социальной антропологии. Обращение социальных и гуманитарных наук к пространственным аспектам социального действия и идентичности получило наименование «пространственного поворота» (*spatial turn*) и, несомненно, явило собой определённую революцию в соответствующем научном мышлении. Однако этот «поворот» не был единственным на пути к изучению воображения пространства и интерпретации места: в *географической науке* в течение второй половины XX века начался волнообразный процесс внутреннего преобразования, который получил название «культурного поворота» (*cultural turn*).

«Культурный поворот»

О содержании понятия «культурного поворота» сегодня, по прошествии нескольких десятилетий после его начала (а по некоторым мнениям, и после его завершения), не-

[1] Иван Игоревич Митин – кандидат географических наук, старший научный сотрудник сектора гуманитарной географии Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва (г. Москва, Российская Федерация).

мало спорят.[2] Как справедливо замечает, например, Лоретта Лис, трансформацию общественной географии с 1970-х по 2000-е гг. вполне можно разделить на пять «поворотов», выделив, помимо собственно культурного, ещё и лингвистический («ландшафт как текст»), интерпретативный («иконография ландшафта» и анализ визуальных интерпретаций пространства), постмодернистский (репрезентации и «производство пространства») и психический (моральность/аморальность ландшафта и психоанализ города).[3]

Если пойти дальше, то, на наш взгляд, истоки того, что можно считать «культурным поворотом», следует искать в развитии географии сразу после Второй мировой войны[4], то есть с первых попыток поставить под сомнение хорологический подход Р. Хартшорна[5] и школу культурного ландшафта К. Зауэра[6]. Речь следует вести как минимум о трёх процессах в истории географии:

- общая тенденция смены парадигм в англо-американской географии в 1950–2000-х гг.;
- развитие инновационных тенденций в культурной географии (так называемая «новая культурная география»);
- разносторонние тенденции уже в самой гуманистической географии после 1980-х гг.: её обращение к феноменологии, герменевтике, постмодернизму, взаимодействию и взаимопроникновению с другими ветвями т. н. «критической географии».

Что касается *общей смены парадигм*, то становление гуманистической парадигмы связано с двумя общегеографическими тенденциями. *Первая* – последовательная смена школ: на смену школе пространственного анализа с её моделями географической реальности и развитием достижений количественной революции приходит бихевиористская (поведенческая) география. Однако суть бихевиористской революции в географии *наследует* достижения количественной революции: на начальном этапе поведенческая география предлагает *дополнить модели* факторами чело-

---

2 Barnett C. The Cultural Turn: Fashion or Progress in Human Geography // *Antipode*. 1998. Vol. 30, № 4. P. 379–394; Albet A., Kramsch O. Space, Inequality and Difference: ‘Radical Turns’ and ‘Cultural Turns’ // *European Planning Studies*. 1999. Vol. 7, № 1. P. 77–79; Simonsen K. Difference in Human Geography – Traveling through Anglo-Saxon and Scandinavian Discourses // *European Planning Studies*. 1999. Vol. 7, № 1. P. 9–24; Gregory K.J. Changing the nature of physical geography // *Fennia*. 2001. Vol. 179, № 1. P. 9–19.

3 Lees L. Rematerializing Geography: The ‘New’ Urban Geography // *Progress in Human Geography*. 2002. Vol. 26, № 1. P. 101–112.

4 Митин И.И. Культурная, гуманистическая и гуманитарная география через призму мифогеографии // *Гуманитарная география: Научный и культурно-просветительский альманах*. Вып. 5; отв. ред. И.И. Митин; сост. Д.Н. Замятин. М.: Институт Наследия, 2008. С. 87–110.

5 Hartshorne R. The nature of geography. A critical survey of current thought in the light of the past // *Annals of the Association of American Geographers*. 1939. Vol. 29, № 3. P. 173–645.

6 Sauer C.O. The morphology of landscape // *Publications in geography*. Berkeley, University of California. 1925. Vol. 2, № 2. P. 19–53.

вечеcкого поведения, принятия решений, сделав их таким образом более адекватными действительности[7]; значит, изменилось содержание исследований, но не метод. В основе поисков бихевиористов – строгие закономерные зависимости концептов «в голове» и поведения, образов, схем и действий.[8] Логической реакцией на *такую* поведенческую географию становится призыв к большему вниманию собственно к человеку, нерациональному и не познаваемому в моделях[9], что и приводит к становлению гуманистической географии (см. ниже).

Вторая тенденция – более эволюционная и тесно связанная с культурной географией; это общее последовательное обращение географии к *гуманитарным вопросам* – особенностям географического знания, роли воображения в географии.[10] Ключевая роль здесь, по нашему мнению, принадлежит К. Райту, предложившему ещё в 1947 г. термин «*геософия*», которым он предлагал обозначать «исследования географического знания с любой точки зрения»[11], апеллируя, в том числе, и к переосмыслению понимания чувства места Д. Уиттлси[12]. Райт подчёркивает:

> «Это верно, что субъективные идеи могут объективно изучаться до определённого момента, и геософия, конечно, не есть поле приложения строгих аналитических методов, возможных в физике или физической географии. ... Помогая нам понять, как научная география

---

7 Downs R.M. Geographic space perception: past approaches and future prospects // *Progress in geography*. 1970. Vol. 2. P. 65–108.

8 Характерные примеры являют собой знаменитые труды К. Линча (см.: Линч К. *Образ города* / Перев. с англ. В.Л. Глазычева; сост. и ред. А.В. Иконников. М.: Стройиздат, 1982) и Дж. Голда (см.: Голд Дж. *Психология и география: Основы поведенческой географии.* М.: Прогресс, 1990), большинство статей сборника *Восприятие и поведение в окружающей среде* (*Environmental perception and behavior* / Ed. by D. Lowenthal. Chicago, 1967), а более подробный обзор представлен в статьях: Bunting T.E., Guelke L. Behavioral and perception geography: A critical appraisal // *Annals of the Association of American Geographers*. 1979. Vol. 69, № 3. P. 448–462; Костинский Г.Д. Вопросы поведения человека и восприятия среды в зарубежной географии (обзор) // *Известия АН СССР*. Сер. геогр. 1976. № 5. С. 142–148; Тархов С.А. Новые направления исследований в англо-американской географии человека // *Основные понятия, модели и методы общегеографических исследований*: Матер. Всесоюзной теоретич. конф. М.: ИГ АН СССР, 1984. С. 72–81.

9 Bunting, Guelke, op. cit.; Tuan Y.-F. Attitudes toward environment: Themes and approaches // D. Lowenthal (eds.) *Environmental perception and behavior.* Chicago, 1967. P. 4–17.

10 Sauer, op. cit.; Lowenthal D. Geography, experience and imagination: Towards a geographical epistemology // *Annals of the Association of American Geographers*. 1961. Vol. 51, № 3. P. 241–260; Wright J.K. Terrae incognitae: The place of the imagination in geography // *Annals of the Association of American Geographers*. 1947. Vol. 37, № 1. P. 1–15.

11 Wright, op. cit., p. 12.

12 Whittlesey D. The horizon of geography // *Annals of the Association of American Geographers*. 1945. Vol. 35, № 1. P. 1–36.

соотносится с историко-культурными условиями, в которых она создаётся, геософия сделает кругозор научной географии шире».[13]

Первая тенденция показывает, почему в гуманистической географии акцент смещается от моделирования к пониманию, попытке проникновения в глубинную суть мышления и сознания, вторая же обосновывает широкий круг применения полученных географических знаний о человеке. Две указанные тенденции Г.Д. Костинский считает двумя подходами к поведенческой географии, что также отражает суть дифференциации исследований.[14] В объяснении же становления гуманистической географии Д.В. Николаенко склоняется к опоре на вторую тенденцию, считая основоположниками гуманистической географии как раз К. Зауэра и Дж. Райта.[15] На наш взгляд, возникновение в 1970-е гг. гуманистической географии явилось результатом *обеих* тенденций, и именно эта двойственность и делала гуманистическую географию *продуктивной* в течение нескольких десятилетий уже после формального окончания эпохи «гуманизации» в географии.

Второй процесс связан с трансформацией *культурной географии*. Развитие культурной географии в 1940–1980-е гг. было весьма заметным[16]; в результате поле культурной географии стало весьма широким и вместе с тем отчасти размытым. В отношении трансформации культурной географии показательна эволюция понятия «культурный ландшафт». Традиция этого понятия восходит к Зауэру.[17] *Новая культурная география* критикует подходы Зауэра и его школы за то, что они «фокусировали свои исследования на материальных артефактах, создавая любопытный и фундаментальный “объектный фетишизм” из домов, сараев, заборов и заправочных станций»[18]. Для К. Зауэра ландшафт – это, действительно, прежде всего «территория, характеризующаяся специфической взаимосвязью природных и культурных форм»[19]. Тем не менее уже Зауэр отмечает, что «все составляющие культурного ландшафта

13 Wright, op. cit., p. 12.

14 Костинский, указ. соч.

15 Николаенко Д.В. *Джон Райт и Карл Зауэр как основоположники гуманистической географии Запада.* Симферополь, 1982. Деп. ВИНИТИ № 5991-82.

16 Gritzner C.F. The scope of cultural geography // *Journal of geography*. 1966. Vol. 65, № 1, P. 4–11; Norton W. Cultural analysis in geography: A course outline // *Journal of geography*. 1981. Vol. 80, № 1. P. 46–51; Norton W. The meaning of culture in cultural geography: An appraisal // *Journal of geography*. 1984. Vol. 83, № 4. P. 145–148; Mikesell M.W. Tradition and innovation in cultural geography // *Annals of the Association of American Geographers*. 1978. Vol. 68, № 1. P. 1–16; Zelinsky W. *The Cultural Geography of the United States. Englewood Cliffs*, N.J.: Prentice-Hall, Inc., 1973.

17 Sauer, op. cit.

18 Price M., Lewis M. The reinvention of cultural geography // *Annals of the Association of American Geographers*. 1993. Vol. 83, № 1. P. 3.

19 *Словарь общегеографических терминов* / Перев. с англ. В.Я. Барласа [и др.]. Т. II. М.: Прогресс, 1976. С. 60.

отбираются самим исследователем»[20]. Именно этот аспект культурного ландшафта – его представление через осмысление, означивание, символизацию – и становится впоследствии ключевым элементом трансформации этого важнейшего понятия культурной географии.[21] Л. Роунтри и М. Конки рассматривают культурный ландшафт как «информацию, сохранённую в символической форме, … <которая> отчасти функционирует как нарратив»[22]. Символы становятся динамическими структурами, «регулирующими механизмами, которые упорядочивают и контролируют потоки информации»[23].

Таким образом, *«символические качества* ландшафтов – те, что создают социальные значения, – оказываются в фокусе исследований»[24]. Такой подход видоизменяет не только собственно понимание культурного ландшафта, но и понимание *места* вообще – и открывает, прежде всего, пути исследований *«конструирования места»*, поскольку

> «ландшафты, представляемые как красочный способ репрезентации среды обитания человека, могут исследоваться через множество источников и плоскостей: в картинах на холсте, в текстах на бумаге, образах в кино, так же, как и на земной поверхности»[25].

В результате в культурной географии возникает понимание *«ландшафта как текста»*, который можно *«читать»*, при этом в основе метафоры «ландшафт как текст» лежит понимание текста как совокупности знаков и значений.[26]

Наконец, третий процесс, составляющий основу «культурного поворота», – развитие самой *гуманистической географии*.

---

20 *Словарь общегеографических терминов*, с 61.

21 Robertson I., Richards P. (eds.) *Studying Cultural Landscapes.* London: Arnold Publishers, 2003; Rowntree L.B., Conkey M.W. Symbolism and cultural landscape // *Annals of the Association of American Geographers*. 1980. Vol. 70, № 4. P. 459–474.

22 Rowntree, Conkey, op. cit., p. 461.

23 Ibid., p. 460.

24 Cosgrove D., Jackson P. New directions in cultural geography // *Area*. 1987. Vol. 19, № 2, P. 96.

25 Daniels S., Cosgrove D. Introduction: The iconography of landscape // S. Daniels, D. Cosgrove (eds.) *The iconography of landscape: Essays on the symbolic representation, design and use of the past environments.* Cambridge, 1988, P. 8.

26 Demeritt D. The nature of metaphors in cultural geography and environmental history // *Progress in human geography*. 1994. Vol. 18, № 2. P. 163–185; Meinig D.W. (eds.) *The Interpretation of Ordinary Landscapes: Geographical Essays*. New York – Oxford: Oxford University Press, 1979; Rowntree L.B. Cultural/humanistic geography // *Progress in human geography*. 1986. Vol. 10, № 4. P. 580–586; Rowntree L.B. Orthodoxy and new directions: cultural/humanistic geography // *Progress in human geography*. 1988. Vol. 12, № 4. P. 575–586; Price, Lewis, op. cit.; Tuan Y.-F. Perceptual and cultural geography // *Annals of the Association of American Geographers*. 2003. Vol. 93, № 4. P. 878–881.

«Гуманистическая география достигает понимания мира человека путём изучения отношений человека и природы, географического поведения людей и их чувств и идей в отношении пространства и места».

Так сформулировал суть гуманистической географии один из её основателей И-Фу Туан.[27] В центре внимания гуманистической географии – люди, а ключи к познанию – «человеческий опыт, понимание и знание»[28]. Важнейшим во всей гуманистической географии является понятие *опыта* (*experience*), что неоднократно подчёркивается.[29] Особое значение уделяется концепции *«топофилии»*, которая предполагает изучение территории как объекта привязанности и любви человека; в фокусе «топофильных» исследований – связь между человеком и пространством на *эмоциональном* уровне.[30] При этом трактовки гуманистической географии различаются[31]; отчасти это связано с обращением тех или иных аспектов изучения гуманистической географии к феноменологии[32], герменевтике[33], постмодернизму[34], кооперации с марксистской[35] и, шире, «критической географией» в целом[36].

Интерпретативный подход герменевтики к месту и становление идей символического наполнения культурного ландшафта находят развитие в гуманистической географии в специфическом понимании *места*.[37] Определение места изначально вводится через визуальность: это та совокупность объектов, которая охватывается

---

27 Tuan Y.-F. Humanistic geography // *Annals of the Association of American Geographers*. 1976. Vol. 66, № 2. P. 266.

28 Ibid.

29 Tuan Y.-F. *Space and Place. The Perspective of Experience.* 9th ed. Minneapolis/L.: University of Minnesota Press, 2002.

30 Tuan Y.-F. *Topophilia: A study of environmental perception, attitudes and values.* Morningside ed., with new preface by the author. N.Y.: Columbia University Press, 1990.

31 Entrikin J.N. Humanism, naturalism and geographical thought // *Geographical analysis*. 1985. Vol. 17, № 3. P. 243–247; Hall R. Teaching humanistic geography // *Australian geographer*. 1978. Vol. 14, № 1. P. 7–14; Hasson S. Humanistic geography from the perspective of Martin Buber's philosophy // *Professional geographer*. 1984. Vol. 36, № 1. P. 11–18.

32 Buttimer A. Grasping the dynamism of lifeworld // *Annals of the Association of American Geographers*. 1976. Vol. 66, № 2. P. 277–292.

33 Mügerauer R. Concerning regional geography as a hermeneutical discipline // *Geographische Zeitschrift*. 1981. Jg. 69, Heft 1. S. 57–67.

34 Curry M. Postmodernism, language and the strains of modernism // *Annals of the Association of American Geographers*. 1991. Vol. 81, №. 2. P. 210–228.

35 Cosgrove, Jackson, op. cit.

36 Gregory D. Human agency and human geography // *Transactions of the Institute of British Geographers*. New Series. 1981. Vol. 6, № 1. P. 1–18; Ley D. Rediscovering man's place // *Transactions of the Institute of British Geographers*. New Series. 1982. Vol. 7, № 1. P. 248–253; Pile S. Human agency and geography revisited: a critique of 'new models' of the self // *Transactions of the Institute of British Geographers*. New Series. 1993. Vol. 18, № 1. P. 122–139.

37 Entrikin J.N. *The betweenness of place. Towards a geography of modernity.* Houndmills – L.: MacMillan Education Ltd., 1991.

нашим вниманием.[38] Однако важнейшее достижение гуманистической географии (впрочем, коренящееся в более ранних эпистемологических исследованиях) – расширение материального понятия места:

> «Место имеет историю и значение. Место воплощает в себе опыт и устремления людей. Место – это не только единица, объясняемая в поле содержащего её пространства, это также и реальность, объясняемая и понимаемая с позиции людей, которые и наделили его значением».[39]

С этой точки зрения место предстаёт через *дух места, чувство места и личность (personality) места*.[40] Чувство места «принадлежит» людям.[41] Чувство места происходит из визуального и эстетического переживания мест и опыта и выражает собой *знание*. Места, по И-Фу Туану, непременно *очеловечены*.[42] «Пространство трансформируется в место, как только получает определение и значение»[43], – это, пожалуй, ключевая мысль И-Фу Туана: *место конструируется*.

> «Главный концепт здесь – это “значение”; и в самом деле, “место” может быть переосмыслено как нечто, пробуждающееся к существованию через человека и наделение локальности значением».[44]

Значит, *место конструируется человеком посредством означивания*: «Создать (*to make*) место значит окружить локальность человеческим значением»[45].

Воображение пространства: за пределами географии?

В географической науке тема воображения пространства стала, пожалуй, главным индикатором прогрессирующего (а затем, видимо, и деградирующего) «культурного поворота». Впервые она была поднята, по всей видимости, К. Райтом в его статье о *геософии*[46]. Воображение, по Райту, возникло в географии из концепта «терра инкогнита» и, следовательно, являет собой давнего спутника географов. При этом К. Райт чётко разграничивает восприятие и географические образы как память о реальном объекте, с одной стороны, и воображение и продуцируемые им «чудесные» образы – с другой.

38 Tuan Y.-F. (2002), op. cit., p. 262.
39 Tuan T.-F. Space and place: humanistic perspective // *Progress in geography*. 1974. Vol. 6. P. 213.
40 Ibid., p. 234.
41 Ibid., p. 235.
42 Tuan (2002), op. cit., p. 178.
43 Ibid., p. 136.
44 Jeans D.N. Some literary examples of humanistic descriptions of place // *Australian geographer*. 1979. Vol. 14, № 4. P. 207–208.
45 Jeans, op. cit., p. 209.
46 Wright, op. cit.

> «В отличие от ментальных образов, которые мы восстанавливаем в памяти, например, вспоминая однажды увиденные пейзажи, воображаемые концепты – это, главным образом, новое видение, новое творение»[47].

Д. Лоуэнталь в уже упоминавшейся выше статье 1961 года замечает, что в общую картину мира входят пространства, конструируемые людьми, никогда не бывавшими в их реальных прототипах.[48]

> «Каждый образ мира составлен из личного опыта, научения, воображения и памяти. Места, в которых мы живём или бывали; миры, о которых мы читали или знакомые нам из изобразительного искусства; продукты воображения и фантазии – всё это создаёт наши образы природы и человечества».[49]

Однако уже у Д. Лоуэнталя мы находим ставший стандартным для географии приём изучения образов пространства – через его восприятие к пониманию поведения человека в нём.[50] Созданная в 1960–1970-е гг. на Западе *география восприятия* стала признанной самостоятельной дисциплиной, чего нельзя сказать о *географии воображения*. Отчасти это связано с чёткими *закономерностями* восприятия пространства, немалую роль в установлении которых сыграла книга К. Линча *Образ города*[51], в которой сделан упор на *визуальных* компонентах мысленного представления о городе[52]. Размышляя об упоминавшейся выше статье Лоуэнталя, уже в 2000-е И-Фу Туан замечает, что *восприятие пространства зависит и от опыта, и от воображения.*[53] При этом акцент в географических исследованиях воображения оказывается смещённым от *места* к *субъекту* (воображающему, воспринимающему, действующему), причём, как правило, к группе или социально-этнической общности.[54] Это связано также и с работами Д. Харви, одного из перво-

---

47 Wright, op. cit., p. 5.
48 Lowenthal, op. cit., p. 248.
49 Ibid., p. 260.
50 Wood L.J. Perception studies in geography // *Transactions of The Institute of British Geographers*. 1970. Vol. 50. P. 129–142.
51 Линч, указ. соч.
52 Голд, указ. соч., с. 117
53 Tuan (2003), op. cit., p 880.
54 См., напр.: Bivand R. Imaginative geographies: spaces beyond the horizons? // *European space, Baltic space, Polish space*. Part 2. Warsaw, 1997. P. 213–220; Castree N. Commodity fetishism, geographical imaginations & imaginative geographies // *Environment and Planning A*. 2001. Vol. 33. P. 1519–1525; Dora V.D. The rhetoric of nostalgia: postcolonial Alexandria between uncanny memories and global geographies // *Cultural Geographies*. 2006. Vol. 13, № 2. P. 207–238; Felgenhauer T., Mihm M., Schlottmann A. The Making of Mitteldeutschland: On the function of implicit and explicit symbolic features for implementing regions and regional identity // *Geografiska Annaler. Series B: Human geography*. 2005. Vol. 87, № 1. P. 45–60; Fenton J. Space, chance, time: walking backwards through the hours on the left and right banks of Paris // *Cultural Geographies*. 2005. Vol. 12, № 4. P. 412–428; Price M. The Venezuelan Andes and the geographical

проходцев географии воображения, «соединившего» воображение с поведением в социальном понимании городского пространства.[55] Другое дело, что порой субъект выступает только выразителем, ретранслятором образа самого места – но выраженного, прежде всего, художественным языком в искусстве.[56] Непосредственная связь самого места и его воображаемого образа, продуцируемого субъектом, зачастую оказывается *разорванной*.[57] В итоге, уже в 1970-е гг. возникают трактовки воображения пространства, перемещающие акценты именно к субъекту. Так, Д. Харви определяет географическое воображение как «форму пространственного сознания, позволяющую индивидууму понять роль пространства и места в его/её жизни и увидеть события и собственный опыт через призму географии»[58].

Своеобразный «мостик» между «объектным» и «субъектным» акцентами в определении воображения пространства перекидывает герменевтическая трактовка. Так, согласно Д. Мэсси, географическое воображение – это «способ понимания географической реальности и нашей репрезентации её самим себе и другим людям»[59]. Географические трактовки воображения пространства, нашедшие наибольшее развитие в географии туризма[60], не являются единственными. Воображаемые географии, выросшие из исследований восприятия и, в наибольшей степени, из изучения *ментальных карт*[61], вырвались *за пределы географии*. В результате, сегодня принято считать, что родоначальником воображаемой географии был Эдвард Саид[62]. Воображаемое в отношении простран-

---

imagination // *Geographical Review*. 1996. Vol. 86, № 3. P. 334–359; Rycroft S. Mapping underground London: the cultural politics of nature, technology and humanity // *Cultural Geographies*. 2003. Vol. 10, № 1. P. 84–111

55 Harvey D. *Social justice and the city.* Baltimore: John Hopkins University Press, 1973. P. 27.

56 Reid B. 'A profound edge': Performative negotiations of Belfast // *Cultural geographies*. 2005. Vol. 12, № 4. P. 485–506.

57 Chang T.C., Lim S.I. Geographical imaginations of 'New Asia – Singapore' // *Geografiska Annaler. Series B: Human geography*. 2004. Vol. 86, № 3. P. 165–185; Rofe M.W. From 'Problem city' to 'Promise city': Gentrification and the revitalisation of Newcastle // *Australian Geographical Studies*. 2004. Vol. 42, № 2. P. 193–206.

58 Harvey, op. cit., p. 24.

59 Massey D. 'Imagining the world' // J. Allen, D. Massey (eds.) *Geographical Worlds*. Oxford, 1995. P. 41.

60 См.: Митин И.И., Сересова У.И. Алексин: воображение пространства города // *Россия: воображение пространства/пространство воображения*; отв. ред. И.И. Митин; сост. Д.Н. Замятин, И.И. Митин. М.: Аграф, 2009. С. 179–217.

61 Tuan Y.-F. Images and mental maps // *Annals of the Association of American Geographers*. 1975. Vol. 65, № 2. P. 205–213; Шенк Ф.Б. Ментальные карты: конструирование географического пространства в Европе от эпохи Просвещения до наших дней // *Новое литературное обозрение*. 2001. № 52.

62 Said E.W. *Orientalism*. L. – Henley, 1978.

ства раскрывается не как особый факт *выхода* из воображения, прежде всего индивидуального, и не как особый атрибут каждого места в отдельности – а через различия в *пространственных стереотипах культур, сообществ, социальных групп*.

В этой связи необходимо обратить внимание на различия *социологического и географического воображения*.[63] Д. Грегори, автор одной из немногих книг о географическом воображении[64], отмечает, что старался объединить концепцию «географического воображения» Харви, упоминавшуюся выше, и «социологическое воображение» Ч. Миллса[65], послужившее отправной точкой гуманитарного изучения воображения[66]. Последнее, в развитие идей Миллса, было определено П. Штомпкой как «вытекающая из признания разнообразия и множественности социальных установлений способность связать любое событие в обществе со структурным, культурным и историческим контекстами, а также с индивидуальными и коллективными действиями членов общества»[67]. Все «субъектные» трактовки воображения пространства, таким образом, приближают таковое именно к социологическому воображению. П. Штомпка недаром называет формирование социологического воображения целью профессионального образования социолога – оно формирует через самосознание человека «объёмное» в*и*дение общества. Подобное же в*и*дение, но уже пространства и его частей формируется географическим воображением, т. е. *воображением пространства*, посредством которого последнее и *превращается в места, наделённые человеческими значениями* (см. выше).

Какое пространство?..

Наконец, мы подошли вплотную к *точке соприкосновения* двух «поворотов», к точке, в которой встречаются социально-гуманитарные и критическо-географические науки. Уже говоря выше *о двух воображениях*, нельзя не усмотреть связи воображаемого пространства, как оно было понято в географии, с *социальным пространством*. Именно таким образом обращается физическое пространство, как только в нём конструируются места, т. е. оно наделяется социальными значениями. В то же время известные концепции социального пространства рассматривают данный процесс принципиально *«с другой стороны»*.

В рамках *социальных наук* пространство определяется как «система координат для материальных аспектов социальных

63 Harvey D. The sociological and geographical imaginations // *International journal of politics, culture & society*. 2005. Vol. 18, № 3–4. P. 211-255.

64 Gregory D. *Geographical imaginations.* Cambridge, MA – Oxford: Blackwell, 1994.

65 Миллс Ч.Р. *Социологическое воображение* / Под общ. ред. и с предисл. Г.С. Батыгина. М.: Стратегия, 1998.

66 Gregory, op. cit., p. 176.

67 Штомпка П. Теоретическая социология и социологическое воображение // *Социологический журнал*. 2001. № 1.

действий»[68]. Отсюда ясно, что с этой точки зрения «социальное пространство не состоит из набора вещей, из суммы фактов … не сводится к форме, приданной явлениям, вещам, физической материальности»[69]. Физическое («природное») пространство может после этого рассматриваться как «исходный материал, поле деятельности производительных сил различных обществ, создававших своё пространство»[70], а может – и вовсе как *проекция социального пространства.* По Бурдье,

> «физическое пространство есть проекция социального пространства, социальная структура в объективированном состоянии… объективация и натурализация прошлых и настоящих социальных отношений»[71].

В обоих случаях получается, что «пространство может быть понято только через обращение к субъектному, интенциональному, рефлексивному действию»[72].

В данном случае отличие от субъектной интерпретации географического воображения состоит в *«переворачивании»* одного и того же процесса «производства мест». *С географической точки зрения элементы материального пространства обретают социальные значения и становятся местами, в то время как с социологической – это социальные отношения проецируются на материальную реальность и отражаются в физическом пространстве.* Это различие, на наш взгляд, есть следствие того самого схождения в одной точке двух разнонаправленных революционных «поворотов» из двух обширных областей знания.

Нас интересует – в любом случае – сопоставление свойств реально наблюдаемого (физического, материального, географического) пространства и «пространства значений» (пространства *мест*, социального пространства, воображаемого пространства). Однако в рамках *постмодернистской критической теории пространства* наша постановка вопроса ставится под сомнение.[73] Так, согласно Э. Содже, «модернистская пространственность … основана на двоичной конструкции пространства, включающей реальное и воображаемое пространство»[74]. Эту двоичность Лефевр

---

68 Верлен Б. Общество, действие и пространство. Альтернативная социальная география // *Социологическое обозрение.* 2001. Т. 1, № 2. С. 32–33.

69 Лефевр А. Производство пространства // *Социологическое обозрение.* 2002. Т. 2, № 3. С. 27.

70 Там же, с. 29.

71 Бурдье П. *Социология социального пространства.* М.; СПб., 2005. С. 53.

72 Вахштайн В.С. К проблеме темпоральных механизмов социальной организации пространства. Анализ резидентальной дифференциации // *Социологическое обозрение*. 2003. Т. 3, № 3. С. 75.

73 Soja E. *Thirdspace.* Cambridge, MA: Blackwell Publishers Inc., 1996.

74 Allen R.L. The social-spatial making and marking of ‘Us’: Towards a critical postmodern spatial theory of difference and community // *Social Identities*.

называет «двойной иллюзией»[75]. Так *воображаемое пространство отделяется от социального*:

> «Пространства – не реальные и не воображаемые, они всегда «реальные-и-воображаемые» и даже больше. Что-то большее – это третье пространство (*thirdspace*) (предполагается, что реальное пространство – это первое пространство, воображаемое – второе), служащее не просто прагматическим синтезом реального и воображаемого, но и пространством Другого, триалектически – а не диалектически – взаимосвязанным и взаимозависимым с “реальным-и-воображаемым”. Для Соджи и Лефевра третье пространство служит для “реального-и-воображаемого” социальным пространством. ... Третье пространство, не рассматриваемое в модернистском пространственном дискурсе, есть интерреактивный и интерзависимый аспект социального пространства».[76]

При этом «воображаемое (оно же – ментальное, концептуальное, субъективное), реальное (оно же – физическое, материальное, объективное) и социальное (оно же – семиотическое, идеологическое или пространство отношений) пространства взаимодействуют и взаимно зависимы одно от другого»[77]. Здесь нам важно обратить внимание вот на что: как появилось третье пространство? Очевидно, из недостаточности «первого» и «второго» для изучения/понимания, скажем так, социальной реальности. Получается, именно акцент на *соотношении* реального и воображаемого пространств фактически привёл Э. Соджу и А. Лефевра к необходимости конституирования нового – *третьего* – пространства, объединяющего при этом первые два.

Так «культурный поворот» привёл географию к изучению соотношения «первого» и «второго» пространств, к тому же самому соотношению привёл и социальные науки «пространственный поворот». Рассмотрение этого соотношения *с разных сторон* (и, разумеется, с противоположных методологических и философских позиций) привело в обоих случаях к необходимости конституирования *нового*, другого, «третьего» пространства. В его изучении уже не будет – насколько мы можем судить – ни географии, ни социологии, а будет какая-то «третья» наука (или, наоборот, бесконечное множество новых научных школ и течений). При этом с точки зрения *истории* географической науки «культурный поворот» привёл таковую как дисциплину скорее, в строгом смысле, к *деградации*, размыванию методологических междисциплинарных границ. Будет ли такой же эффект у «пространственного поворота», видимо, прояснится уже очень скоро.

1999. Vol. 5, № 3. P. 253.

75 Lefebvre H. *The production of space.* Oxford: Basil Blackwell, 1991.

76 Allen, op. cit., p. 257.

77 Ibid., p. 258.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА: КОЛЛЕКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ТОПОЛОГИЯ[1]

Пётр А. Сафронов[2]

Abstract

What do we know about space? We know that it is a homogenous infinite unity. And that it is not only a scientific statement but also a matter of political dominance. Physical homogeneity produces social heterogeneity and inequality. How can we re-invent and re-appropriate space in a non-colonial way? That is the main topic of the article. I'd like to scrutinize contemporary art and environmental movements in order to understand how to get an experience of liberation of space in a collective action.

Keywords: experience, contemporary art, ecological movements, community.

Существовало ли пространство до Декарта, Галилея, Ньютона? Если мы понимаем под этим однородное единство, существующее одинаковым образом везде и простирающееся без ограничений по всем направлениям, то до наступления Нового времени пространства не существовало. И если оно не существовало, то его требовалось изобрести[3]. Концептуальное изменение шло здесь рука об руку с изменением политическим: молодые государства Старого Света нуждались в обеспечении эффективного доступа к новым территориям. Идея однородного пространства служила, в сущности, концептуальной проекцией для формирования образной подпитки политического господства метрополий.[4] Возникает парадоксальная ситуация: однородность физического пространства в данном случае только усили-

1 Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для поддержки молодых российских учёных и ведущих научных школ МД-140.2010.6 «Справедливость в сфере принятия экологически значимых решений: теоретические основания и практические контексты».

2 Пётр Александрович Сафронов – кандидат философских наук, научный сотрудник философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; приглашённый преподаватель факультета государственного управления Академии народного хозяйства при Правительстве РФ (г. Москва, Российская Федерация).

3 Как именно происходило такое «изобретение» пространства, показал в своих работах А. Койре; см., напр.: Койре А. *От замкнутого мира к бесконечной Вселенной.* М.: Логос, 2001.

4 См., напр.: Zarobell J. *Empire of Landscape: Space and Ideology in French Colonial Algeria.* Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

вает неоднородность пространства социального, политического, культурного, создавая необходимую для управления асимметрию потенциалов. Указанный разрыв в категориальной структуре пространственных представлений производит основополагающее условие для создания и поддержания колониальной системы. Физическое пространство, как оно мыслится новоевропейской наукой, оказывается универсальной метафорой, создающей удобное окно контакта с многообразной социальной реальностью колоний. Научное знание о пространстве становится инструментом власти ещё до того, как оно начинает непосредственно применяться на практике, уже в силу заложенных в его основании методологических принципов.

Следовательно, когда в современную (читай – научную) эпоху говорят о пространстве, то всегда затрагивают этот парадокс, соединяющий метрическую однородность физического пространства с позиционной неоднородностью социального пространства. Тождество положений в физическом пространстве создаёт и поддерживает различие социальных позиций. Возможность сполна использовать однородность физического пространства, свободно перемещаясь по миру, оказывается при этом достоянием относительно небольшого числа представителей привилегированных слоёв, тогда как значительная часть населения фактически замкнута в пределах своего района, города или населённого пункта.[5] Иначе говоря, однородность физического пространства претерпевает структурную дифференциацию, сужаясь, в одном случае, до масштаба улицы или района и расширяясь – в другом – до масштаба всего мира. Речь, таким образом, идёт о характере реального опыта пространства, который имеют или могут иметь представители той или иной социальной группы или страты. Наличие или отсутствие переживаемой в опыте связи с определённым местом, а также тип этой связи зачастую становятся индикаторами социального неравенства.[6] Топологическая проблематика тесно соприкасается здесь с проблематикой социальной *справедливости*.

Реорганизация и/или переучреждение опыта пространства с целью развития начал социальной справедливости представляет собой сложный вопрос социальной теории и социальной практики. Решение этого вопроса неотделимо от понимания динамического, проницаемого характера самой оппозиции физического/социального применительно к пространству. Следует избегать как утопиче-

---

5 Так, например, по данным британских социологов, собранным в 1990-е гг., на рабочих окраинах Лондона живут молодые люди, никогда не покидавшие своего района и не видевшие достопримечательностей собственного города; см.: O'Byrne D. Working class Culture: Local Community and Global Conditions // J. Eade (ed.) *Living the Global City: Globalization as Local Process*. London: Routledge, 1993.

6 Day G. *Community and Everyday Life*. London: Routledge, 2006. P. 182–186. О значении категории места в смысловой конституции пространства см.: Филиппов А.Ф. *Социология пространства*. СПб.: Владимир Даль, 2008. С. 195 и далее.

ского требования непосредственного снятия социальных различий в заново обретённом (сверх)физическом единстве (идея ноосферы В.И. Вернадского)[7], так и иллюзорно радикальной объективации различий, направленной на критическое вскрытие механизма их порождения (социоанализ П. Бурдье). На мой взгляд, существует ещё один способ осмысления соотношения физического и социального пространств, способ задания новой социальной топологии, воплощённый в таких практиках, как современное искусство и экологический активизм. Для них свойственно принципиально новаторское использование топологических структур, при котором создание/сознание неоднородности на уровне физического пространства оказывается в состоянии создавать и поддерживать спонтанную социальную однородность в форме *сообщества*.

В практиках современных художников и экологических активистов происходит постоянное формирование выделенной, хотя и не имеющей точных границ, зоны социальной *солидарности*, возникающей благодаря совершению коллективных действий, во многом основанных на продуманном использовании специфических пространственных условий, в которых осуществляются эти действия. В признании и защите множественности мест – занимаемых, посещаемых слишком часто, отсутствующих, создаваемых, заброшенных – прорастает корень социального сотрудничества, не продиктованного какой бы то ни было априорно схваченной или предписанной нормативностью. Не существует некоего обязательства, требующего действовать именно так, а не иначе. Скорее наоборот: есть обязательства, требующие не действовать так. Здесь, как в любом разговоре о свободе, есть оттенок неуместного морализаторства. Необходимо подчеркнуть, что борьба с разрушительными последствиями властного использования однородности пространства не осуществляется изнутри, путём имманентного доведения логики этой однородности до абсурдного предела.[8] Напротив, эмансипирующий потенциал той социальной топологии, которая исподволь формируется в коллективных эстетических или экологических практиках, основан на обострённом чувстве локального, частного, отдельного. Переживание локального порождается и концентрируется *в опыте действующих сообществ*, занимающихся *простым* предъявлением, *показом* средствами физического пространства тех или иных социальных проблем. Соответственно, в нашу эпоху создание нового локуса физического пространства оказывается в состоянии реально содействовать трансформации

---

7 Комплекс утопических представлений, связанных, в том числе, с проблемой переустройства пространства, на материале русской культуры проанализирован Б.Ф. Егоровым; см.: Егоров Б.Ф. *Российские утопии. Исторический путеводитель.* СПб.: Искусство-СПб., 2007.

8 Пример тактики такого рода можно обнаружить в труде А. Негри и М. Хардта под лапидарным названием *Империя* (М.: Праксис, 2004). Однако это именно тактика, которой не суждено подняться до уровня стратегии.

горизонтов социального существования, открывая одновременно возможности для получения нового типа опыта.

Деятельность многих современных арт-групп непосредственно связана с присвоением и переприсвоением публичного пространства в городе. Так, например, участник московско-петербургской группы «Что делать» художник Дмитрий Виленский осенью 2010-го реализует в Санкт-Петербурге в рамках инициативы Уличного университета цикл дискуссий под общим названием «Архитектура общественной среды».[9] Деятельность Виленского и его коллег направлена на непосредственное освоение городской среды. Обживание пространства происходит благодаря тем или иным акциям (открытые обсуждения, лекции, уличные выставки, пантомима, граффити на мостовых и публичных сооружениях), общим моментом которых является высвобождение занимаемого активистами пространства из рутины повседневности в процессе прямого действия. Волевое учреждение совместности в условиях, когда публичность оттесняется в торговые центры, становится важной эстетической задачей. Коллективное эстетическое действие расшатывает комфортабельность привычных способов восприятия окружающего мира. Новое сознание пространства возникает благодаря последовательному нарушению единства места и действия.

Результативность художественного акта обеспечивается тем, что он обращается напрямую к пространству, как если бы оно не было уже предварительно захвачено течением жизни. Таким образом в совершаемом коллективном действии происходит открытие пространства *как оно есть само по себе*, как если бы в нём не было ничего, кроме него самого, свободного, среди прочего, и от избыточного этического пафоса. В фильме испанского режиссёра Ачеро Маньяса «Ноябрь» (2003) показывается, каким образом эта задача может решаться средствами уличного театра. Разыгрывая непосредственно в уличном пространстве сюрреалистические сценки, участники уличного театра создают источник беспокойства для горожан-зрителей, проблематизируют восприятие городского пространства, их топологические интуиции[10], исходящие из чёткого разделения приемлемого и неприемлемого. Имплицитная ло-

---

[9] Развитие инициатив Уличного университета подробно отображается в блоге этого сообщества (см.: http://community.livejournal.com/newstreetuniver). См. также сайты: Уличного университета (http://www.streetuniver.narod.ru/) и группы «Что делать» (http://www.chtodelat.org/). Интересно отметить, что антропологическое измерение архитектуры стало темой XII Венецианской архитектурной биеннале, проходившей с 29 августа по 21 ноября 2010 г.; см. сайт биеннале: http://www.labiennale.org/en/Home.html.

[10] О топологической проблематике в практиках современного искусства также см.: Гройс Б. Топология современного искусства // *Художественный журнал*. 2006. № 61/62 [Электронный ресурс] Точка доступа: http://xz.gif.ru/numbers/61-62/topologiya/ Дата доступа: 29.09.2010 г.

гика скрытых форм территориального производства[11] неожиданно выносится на первый план и обнаруживает свою условность и/или несостоятельность. Нарушение формального единства пространственной среды призвано обеспечить возможности для создания содержательного единства людей, организованного посредством непосредственного со-общения эмоций и мыслей. Это позволяет избежать ситуации, когда социальные взаимодействия оказываются редуцированными к случайными эффектам некоторой заданной по умолчанию пространственной конфигурации.

Учреждающие новую социальную топологию практики реализуются как бы *в порах* существующих структур и институций, сопрягая международное общественное мнение с имеющимися локальными проблемами. В результате возникает кумулятивный эффект своеобразной «горизонтальной глобальности», основанной на деятельности транснациональных сетевых сообществ, которые объединяют, в том числе, и таких людей, непосредственная мобильность которых по тем или иным причинам затруднена.[12] Деятельность сообществ способствует мгновенному распространению мнений отдельных лиц за счёт электронных средств коммуникации и одновременно выступает как индикатор значимости тех или иных тем в мировом масштабе. Учитывая ограниченные возможности национальных государств контролировать виртуальные взаимодействия, а также неблагоприятное воздействие сведений о загрязнении окружающей среды на имидж отдельных стран, распространяющие такую информацию глобальные экологические сообщества становятся реальными участниками международной политики, успешно действуя при этом внутри локальных контекстов.

Социальное значение экологического активизма определяется его прямым участием в артикуляции *неравенства* населения различных регионов мира в отношении доступа к экологическим благам, возможностям для полноценного развития человеческого потенциала и участия в принятии управленческих решений, предполагающих воздействие на окружающую среду.[13] Глубокое осознание и постоянно поддерживаемое обсуждение актуального неравенства влечёт за собой вопрос об экологической *справедливости* не только в смысле условий более или менее равномерного распределения экологических выгод и потерь в глобальном масштабе, но и в смысле признания значения экологической составляющей в пространственной организации существования каждого отдельного

---

[11] О структуре форм территориального производства и их типологии см.: Kärrholm M. A Conceptual Discussion of Territoriality, Materiality, and the Everyday Life of Public Space // *Space and Culture*. 2007. Vol. 10, № 4. P. 441–443.

[12] Sassen S. *Neither Global nor National: the World's Third Spaces.* Stockholm: Södertörn, 2009.

[13] См., напр.: Bullard R. (ed.) *The Quest for Environmental Justice: Human Rights and the Politics of Pollution.* San-Francisco, CA: Sierra Club Books, 2005.

сообщества.[14] Защита экологической справедливости оказывается тесно переплетена с осознанием и (вос)производством роли сообщества как *субъекта* коллективного политического и социального действия.

Потенциальный и актуальный плюрализм стратегий (само)реализации сообщества позволяет акцентировать внимание на принципиальной множественности способов борьбы за экологические права граждан. С точки зрения экологического активизма сообщество можно рассматривать как форму устойчивой коллективной идентификации группы людей, связанных деятельностью по отстаиванию локальных экологических прав и поддерживающих её за счёт глобальной коммуникативной *инфраструктуры*. В свою очередь, публично артикулированная апелляция к экологической справедливости оказывается для проживающих в конкретном регионе индивидов мощным средством кристаллизации отчётливого сознания принадлежности к глобальному сообществу людей, испытывающих явные или скрытые ограничения своих прав.[15] Тем самым включение в коллективную деятельность сообщества непосредственно меняет пространственный горизонт личности, позволяет ей иначе увидеть своё *место* в мире.

Характерной приметой описываемых здесь способов коллективного действия является единство теоретических и практических аспектов. Ядром значительного числа исследовательских предприятий становится стремление утверждать и развивать *субъектность локальных сообществ*. Процесс формирования теоретических конструкций смыкается с практической активистской деятельностью в рамках повседневной жизни, поскольку именно в рамках последней первоначально возникает специфическая связь человека с пространством. Организующее коллективные действия сообщество выступает при этом как посредник в коммуникации между личностью, которая испытывает неравенство или депривацию в своём опыте пространственных отношений, и широкой общественностью.[16]. Сообщество аккумулирует «биографическую» информацию и возводит её в ранг совместно признанного *знания*, могущего служить *ресурсом* для дальнейших действий. То, что на уровне отдельного человека может выступать как частная проблема, многократно усиливается на уровне сообщества и приобретает масштаб социально значимого институционального дефекта или стратегической ошибки.

Критериальным условием развития новой социальной топологии является безоговорочное признание перспективы *Другого*

---

14 Это, в числе прочего, хорошо продемонстрировала борьба – увы, не увенчавшаяся полной победой – защитников Химкинского леса в Подмосковье летом 2010 года; см. сайт инициативной группы http://ecmo.ru.

15 Schlosberg D. *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. Oxford: Oxford University Press, 2007. P. 73.

16 Szasz A. *EcoPopulism: Toxic Waste and the Movement for Environmental Justice*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1994.

(человеческого и не-человеческого), размыкающего устойчивый горизонт опыта. Освобождение пространства приобретает характер фундаментального эпистемологического требования, сосредоточенного на преодолении (пост)колониального типизирующего отношения к формам пространственной организации социума и природы. Углубление этого требования актуализирует идею множественной субъектности действия, лишённого «образца», что сопряжено с выявлением *сложности* как структурного свойства любых пространственных взаимодействий. При этом сложность как свойство взаимодействий мыслится не только и не столько как последовательная направленная дифференциация более или менее утончённых форм топологической организации, сколько как продуктивное обнаружение гетерогенности различных срезов реальности, не сводимых к исчерпывающему, полностью однородному единству. Сообщество поддерживается той *асимметрией участия*, которая спонтанно возникает и длится в резонансе между голосами, слышимыми из разных мест. Этот эффект случайного (но и необходимого) со-ответствия заставляет оценить эвристический потенциал социальной топологии.

Пространство в целом может и должно быть осмыслено как полноправный участник процессов коммуникативного взаимодействия в мире, дающий подчас неожиданный, но, тем не менее, релевантный происходящему *ответ*. Каждое сообщество вписывается в пространство, к которому необходимо относиться с соблюдением требований справедливости аналогичных тем, применяемых в отношении человеческих индивидов. Естественным объектом критики тогда неизбежно становится любое притязание установить дискурсивную монополию, легитимирующую и оформляющую некий единственно возможный и доступный способ обхождения с пространством. Сколь бы изощрённой и тонкой ни была такая монополия в действии, она, в конечном итоге, снова возвращает нас к колониальной логике однородного пространства, пусть даже устанавливаемой на тщательно охраняемой территории отдельно взятого инновационного города. Новая социальная топология имеет место только там, где освобождённое пространство становится полноправным участником очередного коллективного действия.

SPATIAL TURN IN LITERARY RESEARCH, ANALYSIS AND READING PRACTICES: PERSPECTIVES AND LIMITATIONS

Agnieszka Podpora[1]

Abstract

A turn toward critically rethinking and theorizing space, has received a wide scholarly attention, noticeable in multitude of recent publications on this topic throughout the humanities, especially in social sciences. Over the last several decades works in the fields of sociology, cultural geography, anthropology, political science, history and recently also literary studies have grown increasingly spatial in their orientation. However, despite these developments the potential of space as a new heuristic platform for the field of literary studies has not been thoroughly explored until recently.

The following paper serves two purposes: first of all it aims at presenting the broad spectrum of scholarly contexts for spatial reorientation in the field of literary studies; second, it is designed as an attempt to critically asses the value and potential applications of the «spatial turn» in literary studies. The first section of the paper charts briefly the general context of spatial turn in the humanities, presents an overview of conceptual orientations that influenced spatial thinking in literary research and refers to some specific theoretical solutions that appeared within the field over time. In the second section the author discusses different possible applications of spatial thinking in literary studies, in relation to their advantages as well as their limitations. The paper concludes with a reflection upon one of the possible new research fields, where the spatial turn may be of great significance in relation to literature, providing new insight into the interdependencies between space and literary texts.

Keywords: spatial turn, literary research, space, place, identity.

1.

A turn toward critically rethinking and theorizing space, has received a wide scholarly attention, noticeable in multitude of recent publications on this topic throughout the humanities, especially in social sciences. Over the last several decades, works in the fields of sociology, cultural geography, anthropology, political

[1] Agnieszka Podpora – Ph. D. candidate at the Faculty of Oriental Studies, Department of Hebrew Studies, University of Warsaw (Poland).

science, history and recently also literary studies have grown increasingly spatial in their orientation – in the substantial sense aiming at reworking of the notion of spatiality and rethinking its significance for both the hermeneutical practices of the disciplines and for the general understanding of the temporary human condition. As early as in 1967 Michelle Foucault, in his critical essay «Of Other Spaces» proclaimed the beginning of «the epoch of space»[2].

Since the Foucauldian famous dictum, space and place have been theorized across a broad terrain of cultural discourses and academic disciplines throughout the last three decades. Initiated by critical tendencies within the field of social science and geography this emerging interdisciplinary formation centered on new «spatialized» approaches gradually called into question the 19th century notion of space as an objective, homogenous and empty container, a mere «stage» for social action. Critical evaluation of space in social thought and discursive analysis – introduced in the 1970s mainly by Marxism inspirited works of Henri Lefebvre[3] and by Foucault's narrations of history of modernity[4] – repositioned the understanding of space from *a priori* given and neutral, to produced and deeply power-laden, concurrently calling attention to its creational aspect in transformation of social relations. This line of thought was picked up by researchers in the field of critical geography, who set out to question its traditional quantitative and static approach to space and drew growing attention to its social and subjectivity forming dimensions.

The intuition of the profound conceptual reorientation in the humanities was articulated with the term «spatial turn» for the first time by the geographer Edward Soja, who in his groundbreaking study *Postmodern Geographies. The Reassertion of Space in Critical Social Theory* (1989)[5] diagnosed the repression of spatial reasoning as a landmark of modernity, tracing its reemergence in the critical thought of the postmodern, including that of Foucault. He thus argued, along the lines of Foucault, that spatial turn heralds the end of modern historicism, understood here as a paradigm privileging time over space, and marks the shift towards postmodern spatialized thinking, capable of providing richer and more contextualized understanding of human experience, social relations and the production of culture.[6] In his later works, in-

2 Foucault M. Of Other Spaces // *Diacritics*. 1986. Vol. 16(1). P. 22–27.

3 Lefebvre H. *The Production of Space.* Oxford: Blacwell, 1991.

4 Foucault M. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison.* New York: Vintage, 1977.

5 Soja E. *Postmodern Geographies. The Reassertion of Space in Critical Social Theory.* New York: Verso, 1989.

6 Although by some he is considered the founding father of the contemporary «spatial turn» – mainly for the coinage of the term and formulating manifesto of the reassertion of place in the critical agenda – Soja has been also criticized for his to a large extent superficial analysis based on integration of various space theories and for his overly simplified opposition of time and space. See for example in: Döring J., Thielmann T. (Hg.) *Spatial Turn: das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften.* Bielefeld, 2008.

cluding the widely discussed *Thirdspace* (1996), where he elaborated further on the notion of space as landmarks of postmodern thought, he repeatedly insisted on the spatial as an important dimension of human existence, not reducible to the temporal and the social. Soja summarized the «transdisciplinary spatial turn» as follows:

> «Contemporary critical studies have experienced a significant spatial turn. In what may be seen as one of the most important intellectual and political development in the late twentieth century, scholars have begun to interpret space and the spatiality of human life with the same critical insight and emphasis that has traditionally been given to time and history on the one hand, and to the social relations and society on the other».[7]

Despite the developments in social theory that formed a centerpiece for a critical reevaluation of space in the humanities already in the 1970s and laid the foundations for the recently advocated «spatial turn», the potential of space as a new heuristic platform for the field of literary studies has not been thoroughly explored until recently. That is of course not to say that the spatial dimension of literature and its research have been omitted entirely – the attention to it had been developed gradually in a growing conversation with the work being done in the broad range of other disciplines and directions. The notion of the produced and producing space – both shaping and shaped by a range of social phenomena, deeply political in its nature, influencing the ways of a human being in the world – entered into literary studies from a number of directions. First of all, through the mentioned critical revisions of Marxism and the Anglo-American cultural studies informed by post-Marxist thought. Seminal works in theorization of space stemming form this tradition, Henri Lefebvre's *The production of space* (1974, 1991 Eng. ed.) and David Harvey's *The Condition of Postmodernity* (1989)[8] dismiss the purely materialistic approach to space and emphasize its dynamic nature. Both authors assert that space is a social construction relevant to the understanding of histories of human subjects and to the production of cultural phenomena in capitalistic society. Since, as it is argued, the organization of space is central to the functioning of capitalism, space must be thus understood not simply as concrete material object, but also as an ideological, embodied and subjective entity – that both creates meaning and is already imbued with it. Space is thus defined by Lefebvre and Harvey less by structural determinants than by human usage.

From this point of discursive production of space as well as subjective experience of it conceptual reorientations toward spatiality within the field of cultural and literary studies depart. The critical emphasis on space as representation of the embodied cultural experience of the subject marks the transition of focus in literary research – from time, the domain of the plot and characters' psychological development, to the production and perception of space as reflection of social relations.

---

7 Soja E. *Thirdspace. Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places.* New York: Verso, 1996.

8 Harvey D. *The Condition of Postmodernity.* Oxford: Blackwell, 1989.

The new approach, drawing upon Lefebvre's concept of a «lived space» (*espaces vécus)* and Michel de Certeau's[9] understanding of space as constantly socially practiced and dynamic environment, brought about interest in the way literary representations of space reflect diverse models of subjectivity and changing social relations. Attention to subjective spatial practices, experiences and strategies of place-making depicted in literature allowed for new subversive views on the ways text utilizes space and for rethinking spatial assumptions that have been taken for granted. As the political aspect of space rose to the fore together with the awareness of the reciprocal nature of the relation between space and subject, increased attention has been dedicated to the ways literary text can reflect upon the subjectivity formation process in relation to space and, in the wider sense, function as both expression and commentary on society's spatial relations.

These perspectives have been taken up and advanced in the field of postcolonial and gender studies that influenced both culture and literary research to a great deal. They contributed mainly by the strategy of reading cultural phenomena in their simultaneous embeddedness in a number of different contexts, linked closely to space in its practiced, or «lived» aspect: body, home, community, sexuality, national and local identity, gender, race etc. Colonial and postcolonial analysis of literary works, such as this conducted by the founding figure of postcolonial theory Edward Said in his collection of essays *Culture and Imperialism* (1993)[10] brought into the focus the issues of domination over space, invasive and deeply ideological character of spatial practices and the effects of migrations and interaction of different populations. Said showed, how power relations, connected closely with the spatial practices of European imperialism manifested in the most important literary works of the period. The postcolonial and race-based readings of literature and cultural phenomena drew attention to the process of, to a great deal spatial in character, construction of «otherness», which served the exertion of power and subordination practices. Following this argument not only the analysis of literary work but also the general view on the literary history started to change. The way every national literature negotiates its global spatial context stopped being perceived as neutral and taken for granted and started to account for the structure of the society in a given period and to reflect deep-rooted power relations governing it.[11]

Gender studies on the other hand – where the issues of the body, sexuality and social norms defining and limiting the subject have long been of a central importance – brought to the fore the gendered character of the embodied experience of space. The assumption underlying

9 De Certeau M. *Practice of Everyday Life.* Berkeley: University of California Press, 1984.

10 Said E. *Culture and Imperialism.* New York: A.A. Knopf, 1993.

11 Phillip E. Wegner in his concise but very informative article concerning the place of spatial criticism in literary research elaborates on some of these points in relation to rich bibliography, see: Wegner P. Spatial Criticism // J. Wolfreys (ed.) *Introducing Criticism at the 21st Century.* Edinburgh: University Press 2002. P. 179–202.

the gender interest in spatial relations is that of Lefebvre's – that space emerges by living and governing it and thus not only reflects social relations, but also actively produces and reproduces them. The starting point for this kind of analysis is exploring the discursive interactions of space and gender, as declared by a feminist geographer Doreen Massey in her landmark work *Space, Place and Gender:*

> «…spaces are not only themselves gendered but, in their being so, they both reflect and affect the ways in which gender is constructed and understood»[12].

As Alexandra Ganser wrote[13], fundamental for the development of the notion of gendered space is the awareness of how the dominant discourses – including mediums reproducing or undermining them, such as literature – develop strategies of inclusion and exclusion by means of organizing structures of social space, assigning certain «domains» to the sexes. Following Michel de Certeau's description of subversive strategies that can be undertaken by subaltern groups through spatial agency, gender analysis of the spatial explores the ways in which certain discursive practices can modify the social relations embedded and formed in space. Thus, analyses of literary works of this strand address the notion of space in literature not only as the area of discursive reproduction of gendered reality but also as a potential niche where this reality may be contested and called into question. In this view, gender studies introduced into the literary research explorations not only how literature reflects these dominant and subversive discourses, but also to what extent it can be agent itself in transformation of the spatial relations towards a more egalitarian society. As Ganser aptly puts it, the aim of these studies would be to see spatial relations represented in a literary text as: «indicative of, building on and dialectically intervening in dominant discourses about social relations»[14].

These developments that led to the recent profound rethinking of literature in terms of space on the wave of the «spatial turn», reflect an increasing impact of cultural studies on literary criticism and a diminishing influence of formalist and structuralist approaches that prior to this shift have mainly theorized space in the context of literature. The first approach, with its canonical texts by Yuri Lotman, Gegard Genette and Jeffrey Smitten written in the 1960s and the 1970s, aimed mainly at examining of space in the context of its semiological character, as a realm of signifiers that in turn stand for cultural constructs. Structuralists on the other hand – like Carl Malmgren and Elisabeth Bronfen – writing about space in literature mainly in the 1980s, focused in the first place on linguistic and aesthetic mechanisms creating spatiality in a text and delivered detailed analyses of the spatial structure of literature. Only

---

12 Massey D. *Space, Place, Gender. Minneapolis: University of Minnesota Press,* 1994. P. 179.

13 Ganser A. *Roads of Her Own. Gendered Space and Mobility In American Women's Road Narratives, 1970–2000.* Amsterdam – New York: Rodopi, 2009. P. 62–72.

14 Ibid., p. 64.

in the following decade the first studies appeared, challenging the notion of space prevailing in literary research and reading practices – space understood as a steady, objective and unchanging container, filled with human activity, signs and *a priori* given structures. It was marked by the appearance of works (for example Caren Kaplans's *Questions of Travel. Postmodern Discourses of Displacement*[15]) delving into circulation of space-related figures and metaphors in theoretical and critical literary discourse, inquiring into their allegedly neutral and fixed character and thus giving literary research a decisive spin towards the new «spatial» directions outlined above.

2.

The contemporary research directions within the field of literature studies, drawing upon the conclusions and strategies worked out in a dialogue with other disciplines for the past three decades correspond to some of the general conceptual reorientations brought along with the recently acknowledged «spatial turn» in the humanities. Elżbieta Rybicka pointed to some discernible tendencies in literary research marking contemporary thought about place in the context of literature after the cultural turn.[16] Among them she enumerated: emphasis put on local practices and regionalism in literature; interest in hybrid spaces and borderlands; intensive exploration of the political aspect of place and space (literary ideological and mythical landscapes); emergence of new analytical categories such as displacement, diaspora or heterotopias and a general shift in stress form the poetics of imaginary spaces to the interactions of literature with real places. Pamela K. Gilbert[17] on the other hand dismisses the real/imaginary opposition, diagnosing two directions of literary studies in relation to place – its concern with creation and representation of actually existing or strongly culturally embedded locations on the one hand and the description of specific topographies, like city, home etc. on the other. Gilbert also shares the assumption that the new challenge posed before literary studies consists not as much in the poetics of space – how different understandings of space operate at the level of plot and poetic structure, but in grasping literature's creational role – how it structures spatial experience, creates space and imbues it with meaning, processed and decoded in the act of reading. The spatial analysis of literature can thus enhance our understanding of how literature is engaged in the process of cognitive mapping – how it can contribute to the better understanding of the political process of imagining spaces and forming collective identities, by illuminating the ways

[15] Kaplan C. *Questions of Travel. Postmodern Discourses of Displacement.* Duke University Press, 1996.

[16] Rybicka E. Od poetyki miejsca do poetyki przestrzeni. Zwrot topograficzny w badaniach literackich // *Teksty Drugie*. 2008. № 4. P. 21–38, at 33.

[17] Gilbert P. Sex and the Modern City. English Studies and the Spatial Turn // B. Warf, S. Arias (eds.) *The Spatial Turn. Interdisciplinary Perspectives.* London – New York: Routledge. P. 102–121, at 105.

in which space is being written and read by different groups and individuals. Moreover, the reassertion of space into literary research offers a new view on the canon, calling into question the criteria of its constitution and changing the ways we think about literary history.

Indeed, productivity of the new findings and perspectives brought to focus by «spatial turn» in literary research is indisputable. On the other hand however, «spatial turn» in general, and its applications in literary research in particular, draw also some criticism. As it has been rightly argued in some reconstructions of the origins of spatial criticism and critical reactions to it[18], the recent interest in space in various disciplines in the humanities, including literary research, is as multi-faceted as vague in its theoretical formulation. The first serious point of doubt here is the discursive origin of the term «spatial term» and the consequences of its analytical application. The clear cut distinction along the lines of Foucault between the «despatialized» modern consciousness – consistently subordinating space to time and emphasizing a solely temporal character of human existence – and the post-modern sudden discovery and rehabilitation of space seem to be overly simplified. The first reservation brought to the fore by Steffen Günzel[19] is that, along these lines of thinking, one may be caught up in the same contradictions one intended to solve. In other words, underscoring only one aspect or category that may have been undervalued in the course of research while disregarding the others entirely, may lead to trivialization of analysis. Günzel himself turns to a term «topological turn» instead of «spatial turn», and «spatiality» instead of «space» willing thus to draw attention to the most important, according to him, finding of the conceptual turn – the understanding of space as a cluster of relations that can change within a set framework. Hence, the main challenge posed before contemporary «spatialized» critical theory would be to explore, how such spatiality is conditioned, modified from within and processed. In terms of literary and cultural research this approach would translate into rendering spatiality as a main venue of subject constitution and this being so, examining the poetics of spatiality, that is exploration of the relations constituting it in a text.

In a similar manner also Doreen Massey tends to conceptualize space, in particular when it comes to literary and cultural studies. She argues against the overly simplified opposition of time and space, insisting on a bounded definition of space, that in its «lived», subjective dimension is always inseparably intertwined with time within which the social relations evolve. In her book *Space, Place and Gender* she advanced a concept of space-time, recognizing that the subjective experi-

---

18 See for example: Dünne J. Geschichten im Raum und Raumgeschichte, Topologie und Topographie: Wohin geht die Wende zum Raum // *Dynamisierte Räume. Zur Theorie der Bewegung in den romanischen Kulturen.* Potsdam, 2009. S. 5–26.

19 Günzel S. Spatial Turn – Topographical Turn – Topological Turn. Über die Unterschiede zwischen Raumparadigmen // Döring, Thielmann, *Spatial Turn*, op. cit., s. 219–237.

ences of space are always locked in temporal framework. Thus, space-time is defined as

> «…a configuration of social relations within which the specifically spatial may be conceived of as an inherently dynamic simultaneity. Moreover, since social relations are inevitably and everywhere imbued with power, meaning and symbolism, this view of the spatial is an as evershifting social geometry of power and signification»[20].

Moreover, in her research Massey addresses the third problematical issue connected to conceptualizing space in literary and cultural research. Since within these fields the terms «space» and «place» can be defined in many different ways or not defined at all and since both of them have an ambiguous ontological status, as a symbolic and material entities at the same time, there can be no clear cut distinction between space and place. Hence, their characteristics and function within a given text should be rather orientation points that can turn out to be congruent or to some extent overlap. Doreen Massey argues thus for non-essential thinking about place and space and calls for abandonment of this opposition, that tends to render space as dynamic structure and place as static location with essential, unchanging characteristics:

> «Indeed, in much of the debate today about globalization, about migration and cultural shifts, about the reorganization of time and space, there's often a background motif which is unquestioning about the nature of "places", which holds – probably implicitly – to a notion of essential places. There are a number of aspects to this. It includes the idea that places have essential characteristics, that it is possible somehow to distill their intrinsic nature. Very often moreover, that intrinsic nature, is seen as eternal, unchanging».[21]

According to Massey, in literary and cultural studies place can be defined rather as a set of variables, a dynamic configuration that is intertwined with temporal dimension. It is only in this way that the link between place and identity can be effectively explored.

3.

As it was shown above, it seems that there are multiple ways to think space and place in the contexts of literature. The first and most obvious dimension (but at the same time demanding some modifications in perceiving literary texts) is the spatiality of text itself, stemming form its materiality. Second, space in literature is the space depicted in the text, where the plot unfolds and the activities of the subject take place. Third, the entire world of literature's creation, production, reception and research may be seen in its spatial dimensions – geographic, social and

20 Massey, op.cit., p. 3.

21 Massey D. Double Articulation // A. Bammer (ed.) *Displacements: Cultural Identities in Question.* Bloomington – Indianapolis: Indiana University Press, 1994. P. 110–122, at 117.

ideological coordinates of literary milieus gain importance in the light of awareness about the deeply political nature of places. The last, but maybe the most significant facet of spatiality in literature, indicated by some of the afore-mentioned contemporary spatial critics, lies in the creational role of the text – how it interacts with culture and intervenes in it to produce new understandings and configurations of space.

These views on space in relation to literature are by no means to be read in separation – the survey serves only for showing how diverse the direction of research may be. Furthermore, as the overview above has shown, the majority of the problematic has been present in literary research in different contexts before the recent proclamations of spatial turn. Even on the rhetorical level, the tradition of drawing upon the *topos* in literary studies – exploring different *topoi* depicted in literature or mapping out *topographies*, textual descriptions of space – has a long and well-established tradition. Hence, the «spatial turn» in literary research, analysis and reading practices does not thus imply a mere substitution of «the temporal» by «the spatial», nor does it mark any radical paradigmatic shift in methodological approach to literary texts. Application of some of its premises aims more at broadening the perspective and bringing to focus aspects of analysis that have previously been omitted. As Karl Schlögel aptly argued:

> «Der *turn* ist offenbar die moderne Rede für gesteigerte Aufmerksamkeit für Seiten und Aspekte, die bisher zu kurz gekommen sind, zufällig oder aus systemisch-wissenschaftslogischen Gründen». («The “turn” is equivalent of increased attention to these points and aspects that have previously been understated, accidentally or for systematic research-related reasons».)[22]

According to this view, «spatial turn» in literary research can be understood as a manifestation of more general tendencies in critical thought in the last decades. It can be set in a broader context of the prior «turns» – linguistic turn, cultural turn, performative turn or a turn to the body – discernible in critical practices in a broad spectrum of disciplines. However, they did not form a decisive shift of paradigm, but rather a new heuristic platform for analyzing cultural phenomena and navigating the terrain of new cultural situation, by some labeled as the post-modern. In a general perspective, the recent turn to the spatial, with its renewal of interest in this aspect of human existence, undoubtedly diagnoses need for new analytical solutions that hold the promise of fresh insights into the contemporary human condition. Within the field of literature – the medium that constructs, maintains and circulates meanings ascribed to space and place – investigation of literary topographies, exploration of spatial poetic strategies, reading anew of the ways experiencing space is being textualized and ascribed with meaning, can

[22] Schlögel K. Kartenlesen, Augenarbeit. Über die Fälligkeit des spatial turn In den Geschichts- und Kulturwissenschaften // H.D. Kittsteiner (Hg.) *Was sind Kulturwissenschaften? 13 Antworten.* Münich, 2004. P. 261–283, at. 265.

bring new appreciation of some aspects and refresh traditional reading strategies.

Nevertheless, the spatial turn in literary research gains considerable significance in the light of contemporary social and cultural developments, that in the face of globalization manifest the growing focus on the regional and the local – on these dimensions of human existence, that originate in the primordial experience of being-in-place, the localization of the subject, its changes, interdependencies and an emotional strain attached to it. It appears that the renewed interest in space and place in the field of literary and culture may have been actually partly induced by the recent revival of «literature of the place» – of the texts that are deeply immersed in the notion of the place and movement in space and that for their main subject take the subject's existence in and interdependency with space and place. Travelogues; accounts of a journey; narratives of travel, migration or return; novels of development based on experiences of displacement, border-crossing, discovery of new territories etc. – they all seem to reappear periodically, in different configurations, in literary history bringing to focus every time anew the questions about the role and nature of place and space and its relation to the subject. As the 19th century national literatures mirrored fascination with *genius loci* and its impact on the history of imperial and subdued nations, the post-modern counterpart tends to be more interested in exploring the notions of identity and memory in connection to subject's «being-rooted» in place. The new literature of migration and return for instance, in contrast to the traditional travel literature, focuses on human attachment to «their place» as a key factor in identity formation and thus raises questions about the sense of belonging in the contemporary world. In depicting the «construction of the self» in space, this literature poses anew the vital questions about the role of space and spatial differences in the production of national, local, regional and personal identities, in correspondence to the unstable character of post-modern condition.

Texts, in which space and place are the main means of conveying meaning and of defining such categories as border, uprootedness, memory, identity, power, trauma and possibility of transgression, are the main subject of critical inquiry for literary studies, where the «spatial turn» promises to have practical, and hopefully fruitful, applications.

ДАНТОВЫ КООРДИНАТЫ КАК КООРДИНАТЫ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА

Владимир Конев[1]

Abstract

Social space is interpreted in the article in terms of heterogeneous space. The author identifies three types of social space: civilization space, stratification space and cultural space. Space of social stratification forms the social coordinates (P. Sorokin), which like the Cartesian coordinates predetermine an individual by means of identification with the environment. Cultural space predetermines the relationship of axiological values and is characterized by Dante's coordinates.

Dante's coordinates in contrast to Cartesian coordinates predetermine apophatic space in which the definition of an individual as a personality is based on the result of denial, separation from the environment. It is shown that an individual being (personality, product) is formed in the space of Dante's coordinates. There were identified specific behavioral modes (modus operandi) that lead to the formation of a personality.

Keywords: social space, cultural space, social coordinates, Dant's coordinates, apophatic space, personality, individual being.

Есть у Бориса Пастернака в цикле стихов *Занятье философией* стихотворение *Определение души*, которое постоянно будоражит ум своей загадочностью. Вот оно:

Спелой грушею в бурю слететь
Об одном безраздельном листе.
Как он предан – расстался с суком!
Сумасброд – задохнётся в сухом!

Спелой грушею, ветра косей.
Как он предан, – «Меня не затреплет!»
Оглянись: отгремела в красе,
Отпылала, осыпалась – в пепле.

Нашу родину буря сожгла.
Узнаёшь ли гнездо своё, птенчик?

[1] Владимир Александрович Конев – доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой философии гуманитарных факультетов Самарского государственного университета (г. Самара, Российская Федерация).

О мой лист, ты пугливей щегла!
Что ты бьёшься, о шёлк мой застенчивый?

О не бойся, приросшая песнь!
И куда порываться ещё нам?
Ах, наречье смертельное «здесь» –
Невдомёк содроганью сращенному.

Вот это – «…наречье смертельное “здесь”» – что значит? Где «здесь» и почему «смертельное»? Не в нём ли тайна души? Душа срывается с места, когда её захватывает порыв. Порыв желаний, страстей, стремления к тому, что станет её песней, её смыслом. И эта песня, этот её смысл будут вырваны из места, в котором они были укоренены, с которого душа срывается, от которого она бежит и которое перестаёт для неё быть местом жизни. «Здесь» – то есть всегда в одном и том же месте – смертельно для души. Её жизнь – вечное стремление. «Душа обязана трудиться», – скажет другой поэт. И хотя хотелось бы никуда не порываться, но «содрогание сращенное», «приросшая песнь» не знают смертельного «здесь», они постоянно влекут душу, уносят её в иное.

Не знаю, прав ли я в толковании стихотворения Б. Пастернака, но, во всяком случае, оно наталкивает на мысль о том, что ***опреде****ление* человека (выявление, обнаружение им своих *пределов*!) организуется *пространством* его жизни. Пространство всегда считалось знаковой характеристикой тел. Уже Аристотель указывал на то, что место обладает «известной силой», так как

> «верх находится не где придётся, а куда несутся огонь и лёгкое тело, равным образом не где придётся находится низ, а куда двигаются тела тяжёлые и землистые, как если бы эти определения различались не положением только, но известной силой» (Физика, IV, 1, 208*в*).

А Декарт протяжённость делает отличительной характеристикой материального тела, отделяющей *res extensa* от *res cogitans*. Более того, опираясь на введённое онтологическое различение, Декарт строит математическую абстракцию – прямоугольные координаты, которые представляют саму пространственность как таковую и тем самым делают явной операцию определения всякого тела: выявление его пространственных характеристик через отнесение к значениям координат. Принцип декартовых координат – отождествление данного с заданными значениями (известными характеристиками) – становится универсальным методологическим принципом естественнонаучного познания, которое всегда стремится выделить общее в вещах и их отношениях, признаёт уравнивание и отождествление, но отвергает отрицание (отрицательные определения), хотя снисходительно принимает отрицательный результат как «всё-таки» результат, закрывающий дальнейшее движение в этом направлении.

Этот принцип направляет и социальное познание. Питирим Сорокин, много сделавший для развития социологии, писал:

> «Определить положение человека или какого-либо социального явления в социальном пространстве означает определить его (их) отношение к другим людям и другим социальным явлениям, взятым за такие “точки отсчёта”»[2].

Обратим внимание на то, что и для социолога социальные явления, и человек как социальное явление определяются через их пространственные характеристики. П. Сорокин прямо ссылается на опыт естествознания:

> «Определение более или менее удовлетворительного геометрического положения требует учёта целой системы пространственных координат геометрической вселенной. То же относится и к определению “социального положения” индивида»[3].

Положение любого человека в социальной вселенной определяется, считает П. Сорокин, системой *социальных координат*, которые задаются совокупностью социальных групп и положений внутри каждой из них.[4] Такая система социальных координат оказывается у П. Сорокина подобна декартовым координатам, ибо их пространство – это пространство отождествления, уподобления, в котором определяемое получает существующие в этом пространстве значения.

Однако социальное пространство отличается от геометрического пространства, что отмечает сам Сорокин. Это отличие проявляется в том, что если «евклидово-геометрическое пространство» трёхмерно, то социальное пространство многомерно, ибо народонаселение, которое, согласно концепции социолога, и есть социальное пространство[5], дифференцировано, и чем сложнее дифференцировано, тем многочисленнее параметры социального пространства[6]. Благодаря такому пониманию социального пространства Сорокин, как известно, создаёт стройную теорию социальной стратификации и социальной мобильности, показывая «перемещение населения и социальных тел» по вертикали и горизонтали. Но есть в теории стратификации и социальной мобильности, как представляется, один упущенный момент – анализ самого понятия «перемещение». Конечно, социолог понимает, что «социальное перемещение» скорее метафора, чем реальное движение, но поскольку изменение социального статуса может выражаться в реальном перемещении в конкретном физическом пространстве: пе-

---

2 Сорокин П. Социальная стратификация и мобильность // Сорокин П. *Человек. Цивилизация. Общество.* М.: Изд-во полит. лит-ры, 1992. С. 298.

3 Сорокин, указ. соч.

4 Там же, с. 299.

5 Сорокин, указ. соч.

6 Там же, с. 300.

реходя в некий «высший» слой, индивид может реально переехать в более престижный район города, в другую квартиру и т. п., – то термин «социальное перемещение» наполняется смыслами реального движения в реальном физическом пространстве – верхние, нижние слои, пирамида, плоский рельеф, равновесие и т. п.[7] Об этом свидетельствуют и термины – вертикальная и горизонтальная мобильность, карьерная лестница, жизненный путь и т. п.

Подобный язык стал привычным как для повседневности, так и для науки, но он затушёвывает один чрезвычайно важный аспект в характеристике социального пространства – здесь происходят изменения даже тогда, когда нет никакого видимого перемещения в физическом пространстве. Например, жених и невеста стоят перед столом регистрации гражданских состояний, и уполномоченное лицо провозглашает: «Объявляю вас мужем и женой!». Ничего не меняется в окружении, но пара перестаёт быть женихом и невестой – они становятся супружеской парой, люди обретают другой социальный статус, меняют своё социальное положение. Такое изменение социального статуса Делёз и Гваттари назвали «бестелесной трансформацией»[8]. Авторы *Тысячи плато* пишут:

> «Бестелесная трансформация распознаётся в своей мгновенности, в своей непосредственности, в одновременности высказываемого, которое выражает трансформацию, и производимого им эффекта»[9].

Бестелесная социальная трансформация, всегда сопровождаемая либо высказываниями, либо знаковыми процедурами (ситуациями), указывает на смысловую оформленность социального пространства. Его гетерогенность (многомерность) определяется именно содержательной (значимой) определённостью неких социальных позиций, которые развёртываются как система возможных (но не всегда актуальных!) действий индивида. Эта смысловая гетерогенность социального пространства предъявляет себя в оценке, поэтому оценка (и действие, несущее в себе оценку) становится мерностью социального пространства. А само социальное пространство – пространством оценок, пространством ценностей.

---

7 См. напр.: «Слишком *плоский рельеф* суть только лишь переходное состояние общества… Если стратификация становится слишком *высокой* и слишком *рельефной*, её *верхние* слои, или *верхушка*, рано или поздно *отсекаются*: революцией, войной, убийством, путём низвержения монарха или олигархов, путём ли новых мирных законов – способов много, и они разнообразны. Но результат их один и тот же: *выравнивание* слишком *высокого* и чересчур *нестабильного* политического организма. Вышеуказанными способами политический организм возвращается к состоянию *равновесия* тогда, когда форма *конуса* либо гипертрофированно *плоская*, либо сильно *возвышенная*» (курсив мой. – *В.К.*) (Сорокин, указ. соч., с. 351).

8 Делёз Ж., Гваттари Ф. *Тысяча плато: Капитализм и шизофрения* / Перев. с франц. и послесл. Я.И. Свирского; науч. ред. В.Ю. Кузнецов. Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010. С. 133.

9 Делёз, Гваттари, указ. соч., с. 134.

Конечно, различные виды социального пространства в разной степени обнаруживают свою ценностную природу. Меньше всего она проявляется в «цивилизационном» пространстве – пространстве вещного (предметного) действия человека, – хотя и его можно структурировать по степени ценностного значения вещей и способов их оформления (например, урбанизированное пространство и агропространство, зоны производства и зоны отдыха и т. п.). В большей степени выявляет ценностную природу «общественное» (социальное в узком смысле) пространство – пространство стратификации, системы социальных групп, позиций. И максимально ценностная природа социального пространства раскрывает себя в культурном пространстве – пространстве отношения (расположения) смыслов и ценностей, пространстве «работы» человека со смыслами и ценностями, пространстве произведений. В каждом типе пространства человеческого мира происходит социально-культурная трансформация индивида, в результате чего он обретает своё социальное бытие.

В полном согласии с известной формулой – [пространство = форма существования материальных систем] – тип социального пространства определяет форму социального бытия человека. Различные типы социального пространства по-разному ***определяют*** человека, различным способом организуют его социальную трансформацию. В цивилизационном пространстве, организуемом вещно-предметной деятельностью человека, и в общественном пространстве стратификации действует, прежде всего, принцип социальных координат, выявленный П. Сорокиным. Здесь индивид получает своё социальное определение по принципу «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты»[10]. Это принцип декартовых координат. Но такой способ определения человека в социальном пространстве не раскрывает тайну появления самих значений социального пространства – да, индивид получает свои определения от окружения, но как возникло само это окружение, если в социальном пространстве всё появляется только благодаря действиям человека? Кто и как порождает новые значения в социальных пространствах?

И здесь мы снова можем обратиться к стихотворению Пастернака, в котором определение души связывается с её отрывом от «здесь», с её порывами, со «стремлением к перемене мест». Ей было суждено «в бурю слететь», быть «ветра косей», и этот принцип порождения определяет её судьбу. Разрыв с «социальными координатами» определяет душу. Песни, произведения, творения души, сама душа, а это всегда *Этот* человек, определяются не в социальных координатах, подобных декартовым, требующих отождествления, а в координатах отказа, ухода, разрыва, которые могут быть названы Дантовыми координатами.

[10] Ср. у П. Сорокина: «Скажи мне, к каким социальным группам ты принадлежишь и каковы твои функции в пределах каждой из этих групп, и я скажу, каково твоё социальное положение в обществе и кто ты в социальном плане» (Сорокин, указ. соч., с. 299).

Божественная комедия Данте Алигьери – это картина жизни человеческой души, рассказ о её странствиях. Путь души через страдания и скорби земной жизни, жизни неподлинной, к очищению и обновлению, к подлинной жизни души на небесах – это путь спасения. Всё созданное Богом имеет своё место, своё предназначение в мире. Место души – Эмпирей, куда она устремляется легко и свободно, при условии если она очищена от груза грехов. Поэтому способ её поведения в «нетленной геометрии» (термин итальянского литературоведа Де Санктиса[11]) пространства духовной жизни – *спасение*. А ради этого душа должна отказаться от... – и круги Ада показывают нам, от чего она должна отказаться. Она должна очистить себя и покаяться в... – уступы Чистилища показывают нам, в чём она должна покаяться и от чего она должна воздержаться. Даже в небесах Рая, где все равно блаженны, всё-таки и там есть иерархия, потому даже здесь душа должна вести себя *от* меньшего блаженства *к* большему. Только в самом конце:

...в мой разум грянул блеск с высот,
Неся свершенья всех его *усилий.*
(*Рай*, XXXIII, 140–142)

Принцип архитектоники «нетленной геометрии» – уйти, чтобы прийти, отказаться, чтобы получить, воздержаться, чтобы насладиться, наконец, спуститься (в Ад), чтобы подняться (в Рай, к вечному свету). Парадоксальная антиномичность метрики «нетленной геометрии» с особой наглядностью демонстрируется топологией последнего отрезка пути Данте и Вергилия по телу Люцифера:

...мой вожатый
...стал спускаться *вниз* с клока на клок,
Меж корок льда и грудью волосатой.
Когда мы пробирались там, где бок,
Загнув к бедру, даёт уклон пологий,
Вождь, тяжело дыша, с усилием лёг
Челом туда, где прежде были ноги,
И стал по шерсти *подыматься ввысь,*
Я думал – *вспять, по той же вновь дороге.*
Учитель молвил: «Крепче ухватись...
Вот путь, чтоб нам из бездны зла спастись».
(*Ад*, XXXIV, 71, 74–84)

Это место из *Божественной комедии* вызвало множество толкований вплоть до того, которое даёт П. Флоренский в «мнимостях геометрии», считая, что Дантово пространство построено по типу эллиптической геометрии и вселенная Данте основывается на неевклидовой геометрии.[12] Возможно, что так оно и есть. Только вряд

[11] Санктис Ф. де. *История итальянской литературы.* Т. 1. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1963. С. 217.
[12] См.: Флоренский П.А. *Мнимости геометрии.* М., 1922. С. 53.

ли флорентийский поэт рубежа XIII–XIV вв. задумывался об аксиомах и постулатах какой-либо конкретной (материальной) геометрии. Мне представляется, что ближе к истине в толковании этого места М.К. Мамардашвили, который в своих лекциях «Психологическая топология пути», посвящённых анализу онтологии сознания в романе Марселя Пруста *В поисках утраченного времени*, говорит, что этот переворот в точке, «где гнёт всех грузов отовсюду слился» (Ад, XXXIV, 111), означает изменение понимания Данте мира, о трансформации его души. Спускаясь в Ад, Данте имел один мир, знал один мир, а вернувшись – он видит другой мир. Тот был не понятый, а этот понятый.[13]

Метрика пространства жизни души задаётся Данте сразу в Первой песне *Ада*.

> Земную жизнь пройдя до половины,
> Я очутился в сумрачном лесу...

Так начинает Данте свою *Божественную комедию*. И здесь, пытаясь пройти через дикий лес, дремучий и грозящий всякими бедами, стремясь к вершине, где светит «путеводная планета», герой встречает три препятствия: рысь, льва и волчицу.

> И вот, внизу крутого косогора,
> Проворная и вьющаяся рысь,
> Вся в ярких пятнах пёстрого узора.
> Она, кружа, мне преграждала высь,
> И я не раз на крутизне опасной
> Возвратным следом помышлял спастись...
> ...навстречу вышел лев с подъятой гривой.
> Он наступал как будто на меня,
> ...И с ним волчица, чьё худое тело,
> Казалось, все алчбы в себе несёт;
> ...Меня сковал такой тяжёлый гнёт
> Перед её стремящим ужас взором,
> Что я утратил чаяние высот.
> (*Ад*, 1, 31–36, 45-54)

Произведение Данте – это грандиозный символический образ человеческого мира. Каждый персонаж, каждый шаг героев имеет все четыре толкования, применявшиеся в средние века к священным книгам *Писания*: буквальный, аллегорический, моральный и анагогический. Так и в этом первом приключении Данте: лес, холм, звери – всё имеет значение, как толкуют комментаторы. Сумрачный лес – аллегорически изображает заблуждения человеческой души, холм – восхождение к правде, звери – символы человеческих пороков: рысь олицетворяет иллюзорность земных радостей, сладострастие, обман; лев – гордость, силу, власть; вол-

---

13 Мамардашвили М.К. *Лекции о Прусте (психологическая топология пути).* М.: Ad Marginem, 1995. С. 22–23.

чица – алчность и себялюбие. Три зверя представляют собою злые силы, препятствующие восхождению человека к совершенству, – и в этом открывается высшее символическое значение эпизода, его анагогический смысл.[14]

Но, развивая анагогическое толкование, можно выстроить ещё и методологическое толкование, то есть рассмотреть весь эпизод как заключающий в себе принцип и метод определения человека. При этом необходимо отметить, что мы имеем здесь дело с определением человека в двояком смысле. *Во-первых*, с определением человека в жизни, т. е. с тем, что, совершая реальные действия, человек определяет себя, ставит себя в определённую позицию. *Во-вторых*, со способом определения того, *что* такое человек, *чем* он является по своей сути. Эта двойственность понятия определения человека неслучайна. Она вытекает из онтологической природы человека и должна входить в само теоретическое представление о человеке: я определяю себя как человека, как личность – это есть мой реальный процесс жизни, но именно он и позволяет определить меня – дать имя, дать мою дефиницию. Определение человека – это перформативное действие, совершаясь, оно раскрывает себя, показывая свою определённость, отделённость от другого. Именно это и содержит в себе принцип Дантовых координат, который может быть выделен в методологическом толковании начального эпизода *Божественной комедии*.

Эпизод встречи Данте с дикими зверями на склоне холма символизирует универсальную жизненную *ситуацию*, в которой человек оказывается постоянно, и *выход* из которой *приводит* к его определению. Обратим внимание, что язык невольно несёт в себе пространственные ассоциации. Эту пространственную природу символического эпизода можно проинтерпретировать как координаты определения человека в жизни. Ложь, насилие, алчность (сладострастие, гордость, стяжательство) – это то, что человек должен *избежать*, если он хочет быть нравственным человеком, если он хочет стать человеком, если он хочет попасть в точку нравственности.

Ложь, насилие, алчность – это ценностные координаты, по которым определяется человек. Но это координаты особые, не те, которые мы находим у Декарта, где точка (тело) определяет себя в отношении к координатам, находя в них своё отражение. Это координаты отталкивания, а не отнесения, координаты преодоления, а не притяжения. Находясь в пространстве подобных нравственных, ценностных координат, человек в той мере определяет себя как нравственный человек (культурный человек), в какой он отталкивается от них, отрицает их значение и тем спасает своё нравственное лицо, себя как человека. В эпизоде у Данте это выражено буквально – человек спасается от растерзания дикими зверями.

---

[14] См.: Голенищев-Кутузов И.Н. Примечания «А» // Данте А. *Божественная комедия.* М.: Наука, 1968. С. 496.

В представленных эпизодом Данте нравственно-ценностных координатах каждая из координат выражает негативное содержание. Для определения в них важна не степень (мера) развитости того или иного качества, с которым может быть связан человек – столько-то ему принадлежит по шкале лжи, столько-то по шкале алчности и т. п. (как действуют в поле декартовых координат), а важно абсолютное отрицание самой ценности, самого значения этой координаты. Как свежесть, по замечанию Воланда, может иметь только одну степень, которая будет и первой, и последней, так и ценность может быть человеком либо принята, либо отвергнута, ибо добродетелью, как и невинностью, или обладают, или нет. Поэтому Дантовы координаты – это координаты отрицания, которые задают апофатическое пространство. Человек обретает свою определённость (нравственную, культурную, личностную) в поле действия апофатического пространства через отрицание и отказ. Место человека в апофатическом пространстве – в фокусе, где сходятся значения его отрицаний. Этот фокус становится утверждением бытия человека.

Апофатическое пространство Дантовых координат реализует, если воспользоваться выражением Мамардашвили, «онтологический принцип неполноты бытия», который снимает классические предпосылки наличия полного бытия-знания, т. е. предположение такого мира, где всё «в себе» уже есть, а истина выступает соответствием мысли предданному состоянию дела[15], что и предполагают декартовы координаты, где каждая точка уже имеет своё заданное значение. Совсем иное в Дантовых координатах – здесь нет предданной определённости,

> «неопределённое … предполагает область, а не безразмерную точку, то есть нечто, что и не определено до движения (ничего ещё нет!), и растянуто (факт извлечения опыта, в отличие от его содержания, имеет место в пространстве и времени, а не в идеальной точке)»[16].

Декартовы координаты есть до всякого тела (точки) и до всякого движения. Дантовы координаты конституируются движением, действием, которое и придаёт им определённость. Апофатическое пространство требует активности человека, его усилия, метафизически первая и простейшая форма которого – воздержание, эпохе, остановка, ограничение. Именно через воздержание, ограничение человек выходит из природы (вспомним экзогамность рода), и благодаря им он обнаруживает свою границу, обнаруживает, где он отделён от внешнего для него мира, где он существует как *это* бытие, этот ин-дивидуальный (не-делимый) мир. Более того, апофатическое пространство, требующее активности человека, является именно тем пространством, в котором рождается новое, в котором новое не дано, а задано, появляется из небытия. Оно появляется из

---

15 Мамардашвили М.К. *Классический и неклассический идеалы рациональности.* Тбилиси, 1984. С. 79–80.

16 Там же, с. 80.

небытия, но не из ничто, а из «не это, не это, не это...», которое так хорошо известно всякому, кто когда-либо искал нечто новое, кто был в ситуации творчества.

Можно утверждать, что исходной процедурой Дантовых координат будет материальная импликация: «Если не это, не это, то...», – где антецедент будет всегда отрицаемым, а консеквент, в свою очередь, часто становится отрицаемым антецедентом с целью перехода к последующему консеквенту и т. д. Отрицание – способ проявления оценки (*negito ergo valet* – отрицаю, следовательно, значит), а принятие некоего результата вследствие отрицания есть утверждение выделенного (созданного) бытия (*affirmo ergo est* – утверждаю, следовательно, есть). Так и зарождаются новые значения в социальном пространстве.

Таким образом, фундаментальным свойством человека, выделяющим его в *особый* мир, является свойство негации, действие воздержания, остановки. Именно это делает его онтологически суверенной реальностью, реальностью, имеющей своё лицо. Ситуация человека рождается в результате трансценденции, она полна внутренней конфликтности, она устроена (возникает, становится, утверждается, организуется и т. д.) актом отрицания (воздержания). Эта ситуация человека разворачивается в историю и культуру. Здесь, в истории и культуре, онтологическая фундаментальность акта отрицания, рождающего апофатическое пространство, находит своё воплощение и проявление в феномене прехождения (история) и в феноменах запрета и ценности (культура).

Культурное пространство – это пространство Дантовых координат, в котором отрицание становится *modum operandum* культурного феномена. Неслучайно в истории культуры первыми развитыми нормами оказались нормы-запреты (табу, ограничения и т. п.). Запрет в культуре сразу помещает человека в апофатическое пространство Дантовых координат, ибо ориентирует его на воздержание. Но и позитивная норма также ставит человека в то же пространство, поскольку всякая позитивная норма в культуре потому и возникает, что может существовать альтернатива. Апофатический характер культурного пространства с особой наглядностью проявляется в ценностях, которые, как показал ещё Г. Риккерт, выявляют своё отличие от понятий бытия через критерий отрицания. Ценность всегда амбивалентна, и её смысл определяется только в отражении и взаимном отрицании ценностных полюсов. Вспомним, как Эрот в *Пире* Платона ведёт человека к пониманию идеи красоты: от красоты одного тела к красоте всех тел, от телесной красоты к красоте поступков, от красоты поступков к красоте души, от красоты души к красоте познания и, наконец, к разумению идеи красоты. Через «отталкивание», через «не то.., не то.., не то...» к уяснению того, *что* должно быть. Но и это «что должно быть» само существует в фокусе отрицания: прекрасное по природе – это «нечто, во-первых, вечное, то есть ***не*** *знающее ни рождения, ни гибели, ни роста, ни оскудения,* а во-вторых, ***не*** *когда-то прекрасное,*

а в чём-то безобразное, ***не*** *когда-то, где-то, для кого-то и сравнительно с чем-то прекрасное, а в другое время, в другом месте, для другого и сравнительно с другими безобразное».* Прекрасное предстаёт «***не*** *в виде какого-то лица, рук или иной части тела,* ***не*** *в виде какой-то речи или знания,* ***не*** *в чём-то другом, будь то животное, земля, небо или ещё что-нибудь, а само по себе, всегда в самом себе единообразное...* (выделено мной. – *В. К.*)» (Платон. *Пир*, 211*ab*).

По принципу координат отталкивания строит свою апофатическую теологию Псевдо-Дионисий Ареопагит. Отвлекаясь от «деятельности и чувств своих и разума, от всего чувственно воспринимаемого, и от всего умопостигаемого, и от всего сущего, и от всего не-сущего ... только совершенно отказавшись и от себя самого, и от всего сущего, то есть всё отстранив и от всего освободившись, – пишет Ареопагит, – ты сможешь воспарить к сверхъестественному сиянию Божественного Мрака».[17] (NB! – *сияние мрака.*) На это же указывает распространённый в мифах, сказках, легендах, эпосе, а затем и в художественной литературе мотив ухода героя, ухода, который приводит его в конце концов к самому себе. Уходит Авраам из Ура и находит Бога, уходит прекрасный Иосиф, странствует Одиссей, почти все культурные герои, будучи высокого происхождения по рождению, своё детство проводят не в семье, а в изгнании, вдали от дома (Эдип, Тесей, Моисей); уходят в поисках счастья герои русских волшебных сказок, героям пьесы Метерлинка нужно было уйти из дома в поисках синей птицы счастья, чтобы потом обнаружить её в своём доме. После принятия крещения и сошествия Святого Духа уходит на сорок дней в пустыню Христос и там подвергается искушению, каждое из которых почти прямо совпадает со значением угроз у Данте в Первой песне *Ада*: преврати камни в хлеб – мирские желания и радости; поклонись, и дам тебе весь мир – власть; бросься вниз с храма, и пусть ангелы тебя понесут – себялюбие (Мтф., 4,1–11).

Апофатическое пространство Дантовых координат выражает сущность культурного бытия, ибо оно всегда особенно и индивидуально, а особенность и индивидуальность раскрываются в различии, различие же и небытие, как это показал ещё Платон в *Софисте*, совпадают (см. *Софист*, 256*е* – 259*в*). Культура – это бытие индивидуальных событий в пространстве различий, или пространстве апофатических координат.

Движение в пространстве Дантовых координат – необходимое условие определения (определённости) человека, его суверенности и свободы. Как заметил С. Киркегор, «сила, энергия и свобода духа необходимы для того, чтобы осуществить бесконечное движение самоотречения»[18]. Только в воздержании и самоотречении возникает опыт свободы, только в акте отрицания и осознаётся свобода, именно поэтому она прежде всего ассоциируется с освобождением

---

[17] Дионисий Ареопагит. Божественные имена // *Мистическое богословие*. Киев, 1991. С. 5.

[18] Кьеркегор С. *Страх и трепет.* М., 1993. С. 47.

от.., с независимостью, что и заложено в принципе Дантовых координат. Однако человек, определяясь через отрицание, через нетствование, не оказывается небытием, а получает определённость бытия, причём бытия значимого. Эта определённая значимость есть вера.

> «Бесконечное самоотречение – это последняя стадия, непосредственно предшествующая вере ... ибо лишь в бесконечности самоотречения я становлюсь ясным для самого себя в моей вечной значимости, и лишь тогда может идти речь о том, чтобы постичь наличное существование силой веры».[19]

Но если датский философ имел в виду веру религиозную, то, говоря о вере как значимой точке Дантовых координат, фокусирующей в себе все нетствования, я имею в виду веру как состояние, в котором индивид отождествляет себя с самим собой благодаря «абсолютному отношению к абсолюту»[20], и не обязательно к религиозному абсолюту, а к абсолюту как пункту самотождества. Абсолют и есть эта точка самоотождествления. Но, повторю, чтобы она возникла, должна вначале произойти негация. Абсолют возникает как результат, как момент остановки негации, так как должна, в конце концов, появиться точка опоры. Конечно, негация может не останавливаться, но в таком случае она перестаёт быть продуктивной. Но если она становится продуктивной, тогда она заканчивается утверждением самодостаточности *Я*, или культурным абсолютом. Киркегор прав, что в вере единичный индивид сто*и*т выше всеобщего, что самодостаточность *Я* возникает на парадоксе, а следовательно, в *Я*, в точке абсолюта не действует закон противоречия. Но тогда на чём основывается определённость абсолюта? Основанием определённости в этом случае выступает *modus operandi* утверждения индивидуальности: «Если *А*, то уж *А*», – который не является только действием в идеальной сфере, а обязательно включает акт бытийной аффирмации – реальный поступок, демонстрирующий свершившуюся бестелесную трансформацию.

«Свобода от...» открывает только первый план свободы, которая, конечно, не сводится к отрицанию. Свобода должна содержать в себе и направленность, быть «свободой для чего-то». Да и само отрицание должно в конце концов окончиться утверждением. Если Дантовы координаты заданы ценностями апофатическими, то в их пространстве должны проявиться и ценности катафатические, ибо ценности как культурные формы всегда амбивалентны. Таким местом проявления катафатической ценности становится та позиция, которую утверждает человек, тот фокус, где сходятся отрицания, где отрицание осознаётся как отрицание, т. е. осознаётся его основание. В ситуации Первой песни *Ада* эту позицию олицетворяет Вергилий. Вергилий, которого Данте называет отцом,

---

19 Кьеркегор, указ. соч., с. 46.
20 Там же, с. 60.

мастером, учителем, проводником, знающим путь, олицетворяет земной разум; ему ведомы праведные пути и высшие ценности культуры. Следование его направлению, идентификация с его ценностями, опора на его поддержку гарантируют избегание гибели и зла. В системе Дантовых координат Вергилий представляет катафатическую координату.

Присутствие в системе Дантова пространства как апофатических, так и катафатических ценностей демонстрирует также *Первый псалом* Давида:

> Блажен муж,
> Который *не* ходит на совет нечестивых,
> И *не* стоит на пути грешных,
> И *не* сидит в собрании развратителей,
> *Но в Законе Господа воля его,*
> *И о Законе Его размышляет он день и ночь.*

То же видим и в эпизоде искушения Христа в пустыне, когда Иисус на каждое из трёх предложений Сатаны отвечает словами *Писания* (Мтф. 4, 1–14). Как в случае с апофатическими координатами, которые всегда конкретны в конкретных ситуациях действия, так и катафатическая координата может быть именована по-разному, но она всегда репрезентирует существенно важную для человека ценность, в идеале – высшую ценность культуры. Отталкиваясь, отрицая апофатические ценности, человек опирается на ценности катафатические, которые заданы культурой, но которые ещё не стали его собственным бытием. Ибо собственное бытие становится в результате собственных усилий человека, а не в результате принятия ценностей культуры и идентификации с ними. Именно поэтому логически первичными в пространстве становления человека как личности являются апофатические координаты, хотя исторически первична координата катафатическая.

Катафатическая ценность, входя в систему Дантовых координат, приобретает значение, подобное по функции значению апофатического пространства. Это пространство в культуре представлено как запреты, а катафатический вектор связан с идеей греха. Грех – это запрет на отрицание идентификации с катафатическим вектором Дантовых координат. Так реализуется изотропность пространства Дантовых координат: их пространство строится на основе отрицания, но если отрицание апофатического вектора рождает «свободу от...», то отрицание отрицания катафатического вектора (отказ от греха) рождает «свободу для...». Идентификация человека с катафатической ценностью включает в себя отказ, отрицание как воздержание от греха. Именно этот момент служит превращению бытия, «принятого извне», в «своё бытие», т. е. бытие, самим человек утверждённое. Не сама идентификация с позитивными ценностями культуры формирует свободного человека, способного к самостоятельному индивидуальному утверждению, а постоянное осознание возможного отклонения от них и активное

избегание «греха». Поэтому прав Ж.-П. Сартр, когда подчёркивает, что главное не то, что сделали из человека, а то, что он делает из того, что из него сделали.

С утверждением своей позиции в зоне апофатического пространства связан третий *modus operandi*: *«Теперь, когда утвердилось.., то...»*. «На том стою и не могу иначе». Человек утверждает *свою* (себя и мира) реальность, *своё* бытие, за которое он теперь несёт ответственность. Эту фундаментальную, конституирующую человека характеристику выразил Кант в учении о долге, в котором, по Канту, и заключена человеческая свобода.

> «Мораль, поскольку она основана на понятии о человеке как существе свободном, но именно поэтому и связывающим себя безусловными законами посредством своего разума, не нуждается ни в идее о другом существе над ним, чтобы познать свой долг, ни в других мотивах, кроме самого закона, чтобы долг исполнить»[21].

Интерпретировать эту мысль Канта с точки зрения развиваемых здесь положений можно было бы так: определённость человека, его моральное лицо выражается не в том, что он с чем-то или с кем-то себя отождествляет – с Богом или с какими-либо ценностями (действие в социальных координатах П. Сорокина), а в том, что он знает («посредством своего разума») свой долг, который безусловен и реализуется в свободном самоограничении. Безусловность долга означает, что только через него человек может обрести себя, а если он не попадёт в «поле» действия долга, то просто себя не найдёт. Долг всегда есть воздержание от чего-то, он всегда несёт в себе момент преодоления, отталкивания, т. е. закон долга требует действия по принципу Дантовых координат. Но сам долг как таковой «может указать, *как* нужно действовать, но не знает, *для чего* это нужно (курсив мой. – *В. К.*)», поэтому разум должен иметь, по Канту, идею высшего блага, с которой он должен согласовывать свои поступки, т. е. иметь своего Вергилия.[22] В безусловности и формальности нравственного закона – действуй через воздержание – задан способ определения, свойственный пространству Дантовых координат.

Действие человека в культуре и обществе по принципу Дантовых координат приводит в конце концов к тому, что в жизни человека, в его жизненном определении, наступает момент, когда он перестаёт нуждаться в Проводнике, олицетворяющем катафатическую координату, и сам становится её определением. Об этом говорит Вергилий, расставаясь с Данте:

> Отныне уст я более не открою;
> Свободен, прям и здрав твой дух; во всём
> Судья ты сам; я над самим тобою

---

[21] Кант И. *Трактаты и письма.* М.: Наука, 1980. С. 78.
[22] Кант, указ. соч., с. 79–80.

Тебя венчаю митрой и короной.
(*Чистилище*, XXVII, 139–142)

Определение человека по Дантовым координатам – это определение его свободы и содержания этой свободы, это формирование самой способности человека утверждать свою судьбу, быть для себя и господином (венец), и первосвященником (митра), и в то же время быть в согласии с миром, постоянно видя и устанавливая дистанцию между собой и миром. Декартовы координаты нарушили этот принцип, увидев свободу в подчинении необходимости. Олицетворением Декартова принципа в человеческом поведении стал гётевский Фауст. Герой Гёте заявляет своему «Вергилию»:

Широкий мир земной
Ещё достаточен для дела.
Ещё ты поразишься мной
И выдумкой моею смелой!

Он хочет строить плотину, чтобы ликвидировать «бессмыслицу» и бесполезность приливов и отливов океана. И:

...не в славе суть. Мои желанья –
Власть, собственность, преобладание.
Мое стремление – дело, труд.

Здесь те же ценностные координаты, что и у Данте. Но если герой Данте избегал соблазнов власти, стяжания и прелестей, то фаустовский человек с ними отождествляется. Здесь Дантовы координаты сменились на декартовы. Не стала ли смена дантовского пространства жизни человека пространством Декарта–Фауста глобальной причиной мирового кризиса культуры? Фаустовский человек – человек труда, но это и человек потребления и насилия. Это человек цивилизации. А дантовский человек – человек культуры.

Двадцатый век раскрыл все достоинства картезианской цивилизации и одновременно открыл бездны возможных катастроф. Просвещённый и гордый Ум должен был вспомнить о Духе. Олицетворением страдания Духа Живаго в пространстве картезианской цивилизации стал Доктор Живаго, герой ухода, остранения и внутреннего сосредоточения, человек культуры. Он ждёт возрождения адекватного для себя жизненного пространства.

АКЦИОНИСТСКАЯ ПАРАДИГМА В ИССЛЕДОВАНИИ ПРОСТРАНСТВА: ПОДХОД БЕННО ВЕРЛЕНА

Юлия Бедаш[1]

Abstract

The article is dedicated to the consideration of Benno Werlen's action-oriented approach in space studies. Avoiding a metaphysical way in space interpretation (as existing irrespective of social dimension), Werlen treats «spatial turn» as transition to the analysis of space in terms of action, that is as social phenomenon. He comes to the conclusion that different types of action (goal-instrumental, norm-oriented, and interpretive ones) correspond to different ways of geography-making (disposition models), and the changes of – dominating in the society – type of action inevitably entails the changes in the constitution of space. Mediatization of contemporary life cannot but influence our spatial practices and place identity, which makes Werlen announce the formation of new geographical consciousness.

Keywords: action-oriented paradigm in space studies, Benno Werlen, spatial turn, the geocode of media, new geographical consciousness.

Вопреки устойчивой тенденции толковать «пространственный поворот», произошедший в современных социальных и гуманитарных исследованиях, как «возвращение к пространству»[2], швейцарский социальный географ Бенно Верлен предпочитает, напротив, рассматривать этот «поворот» как осознанный отказ от пространства, точнее, от ориентированной на пространство научной парадигмы, рассматривающей его в качестве предмета своего исследования, и переход к практико-центрированной исследовательской перспективе.

> «Тот факт, что социальный мир производится и воспроизводится социальными действиями, означает, что именно эти действия, а не "пространство", и составляют этот мир»[3].

---

1 Юлия Бедаш – старший преподаватель кафедры наук о культуре Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва, Россия), лектор Европейского гуманитарного университета (г. Вильнюс, Литва).

2 Bachnann-Medick D. *Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften.* Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2006. S. 284–328.

3 Верлен Б. Общество, действие и пространство. Альтернативная социальная география // *Социологическое обозрение.* 2001. Т. 1, № 2. С. 33.

С точки зрения Верлена, центрированный на пространстве подход обречён на редукционизм: если пространство рассматривать отдельно от остальных важных элементов социального действия, то такой способ анализа с неизбежностью приведёт либо к полной реификации, либо к метафоризации пространства. В духе Мартина Хайдеггера, Мориса Мерло-Понти и Мишеля Фуко он считает, что пространство можно анализировать лишь со-тематически, то есть как необходимое, неустранимое измерение человеческого действия и практики, не делая при этом его отдельной темой, предметом исследования.

> «Вместо того чтобы делать на ортодоксальный географический манер пространство предметом исследования, в рамках практико-центрированной перспективы необходимо прояснить, какое значение имеют пространственные содержания действия для конституции социально-культурных действительностей».[4]

Свой отказ от «пространственного фетишизма» Верлен объясняет именно тем, что чрезмерный акцент на пространстве приведёт лишь к появлению ещё одной редукционистской позиции: человеческую жизнь невозможно свести к пространственным категориям. Этот тезис он усиливает своими размышлениями о социально-политических импликациях подобных теорий:

> «У меня сложилось ясное впечатление, что любое научное объяснение, основанное на пространственном фетишизме или на преувеличении пространственного фактора в социальном мире, ведёт к репрессивным дискурсам и к репрессивной политике»[5].

Главная проблема современных концепций пространства (к ним Верлен относит, прежде всего, теории Анри Лефевра и Эдварда Соджи) в том, что они, пытаясь реабилитировать пространственную проблематику в социальных науках, зачастую анализируют некое «пространство в себе», невольно делая его своего рода причиной, детерминирующей все социальные процессы.[6] Чтобы избежать этого имплицитного детерминизма в анализе пространственного измерения социальной действительности, необходима, по Верлену, новая концепция (*«альтернативная социальная география»*), которая смогла бы послужить надежной интерпретативной матрицей для анализа «момента пересечения субъективности, общества и пространства»[7]. Для этой ориентированной на действие/практику исследовательской перспективы ключевым является не вопрос о том, что такое пространство, а вопрос: «Какие пространственные констелляции и отношения характерны для повседневных практик в тех или иных обществах?»

---

4 Werlen B. Körper, Raum und mediale Repräsentationen // J. Döring, T. Thielmann (Hgs.), *Spatial Turn: Raumparadigma in den Kultur und Sozialwissenschaften*. Bielefeld: Transcript Verlag, 2008. S. 366.

5 Верлен, указ. соч., с. 27.

6 Werlen, op. cit., S. 370.

7 Верлен, указ. соч., с. 26.

Ориентированный на действие социальный анализ должен, согласно Верлену, поставить в центр своего внимания действия людей и рассматривать пространственное как измерение действия, а не наоборот. Отстаиваемая Верленом парадигма действия имеет как минимум пять преимуществ, а именно: (1) тот факт, что объяснение социального процесса в теории действия формально делает возможным её использование в анализе различных социальных феноменов, (2) эта парадигма противится механицистским трактовкам социальной жизни, (3) в ней делается акцент на творческом и интерсубъективном аспектах действия, (4) учитывается телесность действующего, (5) а также исключается причинная детерминация, свойственная естественно-научным подходам.[8]

Верлен критикует отстаиваемую Анри Лефевром и его последователями марксистскую модель экспликации социальных феноменов вообще и социального пространства в частности с опорой на доминирующие в обществе производственные отношения: социальные системы отличаются друг от друга не только по способу производства. Проблема левых теоретиков (и Лефевра в частности) заключается в том, что они, с точки зрения Верлена, редуцируют действие к труду и производству, что существенно обедняет рисуемый ими образ действительности (соответственно, пространства). Верлен находит весьма проблематичным тот способ, каким Лефевр описывает производственные отношения. Утверждая, что эти отношения «имеют социальное существование лишь постольку, поскольку они существуют в пространстве, проецируются, вписываются в него и в то же время его производят»[9], Лефевр, согласно Верлену, тем самым совершает *«двойную реификацию»*: реификацию пространства (описывая его как субстанциализированное пространство-контейнер) и реификацию социальных отношений. Подобный ход рассуждений приводит, с точки зрения Верлена, к достаточно узкому взгляду на социальный мир, который, по сути, сводится к его материальной составляющей, так как для Лефевра

> «социальное существует только в материальном и может быть воспроизведено только материальным»[10].

Этот имплицитный материализм оборачивается у Лефевра имплицитным эссенциализмом: «определяя “пространство” как объект исследования, он [Лефевр] становится также и эссенциалистом, поскольку реифицирует пространство, наделяя его содержанием, обладающим детерминирующей силой»[11].

Теории, в которых человеческая деятельность сводится к её пространственному выражению, рискуют, замечает Верлен, выстроить причинно-следственную связь между телом и смыслом действия, редуцировав все социокультурные аспекты действия

---

8 Верлен, указ. соч., с. 27.

9 Lefebvre H. *The Production of Space.* Oxford: Blackwell, 1991. P. 151–152.

10 Верлен, указ. соч., с. 34.

11 Там же.

к материальной причине. Такой ход рассуждений опасен прежде всего потому, что он близок холистским (расистским, сексистским и т. д.) интерпретациям социального. С точки зрения Верлена, необходимо объяснить не всё социальное в пространственных категориях, а, наоборот, пространственное – в категориях действия.

Разрабатывая свой акционистский подход, Бенно Верлен тем не менее рассматривает его как альтернативу не столько марксистскому (Анри Лефевр, Дэвид Харви, Эдвард Соджа и т. д.), но прежде всего бихевиористскому подходу, долгое время доминировавшему в социальной географии (прежде всего в форме геодетерминизма). Бихевиористы анализируют человеческое действие как поведение, то есть как ответную реакцию тела на социальную и физическую среду, которая играет роль стимула. Пространство здесь, как можно заметить, выступает именно в роли стимула, причины:

> «Тела реагируют детерминистским способом и детерминированы непреднамеренно»[12].

Однако возникает вопрос: может ли помочь такой подход в анализе пространственного измерения социальной жизни вообще и пространства в частности? Конечно, нет. Реакция организма на раздражители (поведение) не является социальным действием. Бихевиоризму, объясняющему человеческую активность стимулами, Верлен противопоставляет теорию действия, в которой акцент ставится на интенциональном и рефлексивном характере человеческой деятельности.

> «Сосредоточиваясь на ментальных процессах индивидов, когнитивный бихевиоризм не способен перенести своё исследование на общество. Причиной тому – допущение о том, что смысловой контекст социально значимой деятельности сводим к индивидуальному стимулируемому действию. Тем самым социальный контекст отсекается. Проблемные ситуации представляются, в лучшем случае, в свете индивидуальных когнитивных диссонансов. Смысловой контекст социального мира можно уловить, если мы будем рассматривать деятельность членов общества как интенциональную, а не просто как “реакции” на стимулы. Теория действия предоставляет для этого понятийный аппарат; бихевиористская теория – нет».[13]

В отличие от поведения, в действии можно, по Верлену, аналитически вычленить четыре элемента, указывающих на его интенциональный и социальный характер: (1) набросок действия, (2) схватывание ситуации, (3) реализацию действия, (4) результат действия.[14] Отказавшись объяснять – на бихевиористский манер – социальное психологическим, Верлен ставит в центр своего социально-географического исследования действия людей как сознательно осу-

---

12 Верлен, указ. соч., с. 39.
13 Там же, с. 41.
14 Werlen B. *Sozialgeographie: Eine Einführung.* Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag, 2004. S. 319.

ществляемые и ориентированные на некую цель и рассматривает пространственное как измерение действия, а не наоборот. Другими словами, свою задачу Верлен видит не столько в создании некой ориентированной на действие науки о пространстве, сколько в создании ориентированной на пространство науки о действии.[15]

Подчёркивая первичность действия для исследования пространственного измерения социальной жизни, Верлен отстаивает позиции *методологического индивидуализма*.[16] Критически синтезируя подходы Вебера, Поппера, Щютца, Парето и Парсонса, Верлен приходит к убеждению, что для исследования пространственных аспектов действия необходимо, кроме социально-культурных контекстов, также принимать во внимание субъективные перспективы действующих. Методологический индивидуализм не отрицает реальности коллективностей и институтов, он лишь подчёркивает, что все социальные феномены, в частности социальные институты, являются результатом действий, решений, установок и т. д. акторов как отдельных личностей. Только индивиды, согласно Верлену, могут быть акторами. Он оспаривает тенденцию приписывать неиндивидуальным субъектам, как-то: «экономика», «пролетариат», «церковь», «промышленность» и т. д. – способность полагать цели и совершать действия. Верлен, немного преобразовав известное выражение Маркса, утверждает, что только люди творят свою собственную историю и географию, однако делают это они не произвольно, а в данных им обстоятельствах.[17]

Пространство Верлена – это «не эмпирическое, но формальное и классификаторское понятие. Это система координат для физических составляющих действия и обозначение для проблем и возможностей, относящихся к исполнению действия в физическом мире»[18]. Пространство не может быть эмпирическим понятием, поскольку в мире нет такой вещи, которую мы могли бы назвать «пространством». Однако это не делает его избыточным понятием. Пространство – это система координат, в которой учитываются материальная составляющая действия и наделённый телом субъект. И только в ходе действия (с определёнными намерениями и в определённой ситуации) эта материальность/телесность обретает смысл, а не наоборот.

Центральной задачей для Верлена является, таким образом, анализ способов действия, которые, в свою очередь, приводят к формированию определённых «моделей размещения» (*Anordnungsmustern*)/пространственных практик, играющих впоследствии роль условий возможности или препятствий для будущих действий индивидов. Ключевым для него, таким образом, оказывается следующий вопрос: какие индивидуальные и социальные последствия

15 Werlen, *Sozialgeographie: Eine Einführung*, op. cit., S. 310.

16 Werlen B. *Sozialgeographie alltäglicher Regionalisierungen.* Bd. l. Zur Ontologie von Gesellschaft und Raum. Stuttgart: Steiner, 1995. S. 21.

17 Ibid., S. 37.

18 Верлен, указ. соч., с. 33.

имеют характерные для того или иного общества «модели размещения» в локальной и глобальной перспективах? Именно с опорой на такую исследовательскую перспективу мы можем, с точки зрения Верлена, найти доступ к глобализированным условиям жизни и характерным для них социальным отношениям.[19] Но прежде чем перейти к рассмотрению этого вопроса, изложим вкратце ту теорию социального действия, которая служит Бенно Верлену остовом для анализа пространства.

Чтобы отстаиваемый Верленом методологический индивидуализм не был ложно истолкован в качестве субъективизма, исследователь особое внимание акцентирует на интерсубъективном измерении действия. Исходным пунктом для действия является, таким образом, не внешнее раздражение, но некий проект, намерение, соответственно, интенция: материальные и социальные аспекты ситуации интерпретируются в соответствии со специфическими целями. Методологический индивидуализм и тезис о субъективном «наделении смыслом» (*Sinngebung*), который роднит позицию Верлена с социологией М. Вебера и феноменологией Э. Гуссерля и М. Хайдеггера, предполагают, что индивид не действует как ему вздумается, а так или иначе ориентируется на интерсубъективную взаимосвязь значимости. Последняя представляет собой социокультурную систему ориентации (*Orientierungraster*) и охватывает действующие в обществе ценности, нормы и постулаты, которые всякий раз находят своё выражение в каждом отдельном действии. Эта система координат играет роль «резервного фонда», предоставляющего или устраняющего некоторые возможности для действия. Несмотря на это, Верлен (в духе Макса Вебера) называет механизм «наделения смыслом» субъективным, поскольку каждый действующий по-своему интерпретирует предлагаемый обстоятельствами набор возможностей – опций для действия.[20]

Тезис о том, что только индивиды являются акторами, не означает, что действия являются исключительно индивидуальными. Действия всегда выражают определённый социально-культурный контекст. В попытке выявить этот социально-культурный шлейф действия важно, по мнению Верлена, принимать во внимание перспективы сразу нескольких теорий действия, поскольку каждая описывает определённую область действительности и соответствующую этой области «модель размещения» (пространственный порядок), тематизируя специфическое измерение повседневной практики. Другими словами, всё многообразие социально-пространственных практик невозможно описать с опорой на какую-то одну теорию действия. Последнее привело бы к формированию очередной редукционистской концепции. Так, Верлен опирается на: (1) *теорию целерационального действия*, представленную в концепциях Вильфредо Парето и Макса Вебера, (2) *ориентированную на нормы теорию действия*, представленную структурно-

[19] Werlen, *Sozialgeographie: Eine Einführung*, op. cit., S. 311–312.
[20] Ibid., S. 317–318.

функциональным подходом Талкота Парсонса и Роберта Мертона и (3) *интерпретативную (ориентированную на коммуникацию и взаимопонимание) теорию действия* Альфреда Щютца.

Теория целерационального действия позволяет описать в первую очередь практики из экономической жизни (понимаемой в самом широком смысле), которые ориентированы на здравый смысл и рациональность. Эта теория позволяет объяснить технические аспекты проблем и обнаружить их решения путём указания на поиск подходящего средства для достижения той или иной цели.

Для ориентированной на нормы теории действия особый интерес представляют те нормы и ценности, на которые действующий субъект должен ориентироваться в том или ином обществе, дабы обрести необходимую социально-культурную компетенцию. Эта теория действия рассматривает проблемы, связанные с формированием социального порядка, социально-политических норм и культурных ценностей.

В ориентированной на взаимопонимание (коммуникативной, интерпретативной) теории действия субъект рассматривается в свете его способности к смысловому конституированию различных областей действительности. Здесь анализ действия осуществляется с учётом двух важных моментов: а) существенную роль в процессе усвоения знания играет телесный опыт, б) процесс наделения смыслом вообще и целеполагания в частности всегда связан с уникальным – биографическим – опытом субъекта. Интерпретативная теория действия обнаруживает особую «аналитическую чувствительность» к проблемам, связанным с различными аспектами процесса конституирования смысловых регионов.[21]

Перечисленные концепции действия соответствуют, с точки зрения Верлена, различным контекстам повседневной практики. Соответственно, необходимо различать между целерациональным, ориентированным на нормы, и коммуникативным (ориентированным на взаимопонимание) контекстами действия. Каждая из перечисленных сфер повседневной действительности имеет свою специфическую пространственную архитектонику. Так, в отношениях между обществом и пространством Верлен фиксирует следующую особенность: *изменения в характере действия неизбежно ведут к изменениям в конституции пространства*.[22]

Трём перечисленным типам действия соответствуют различные формы пространственных практик и области эмпирического исследования. Так, целерациональному действию соответствует *метрический* (формализованный) подход к пространству. Именно формализация действительности вообще и пространства в частности сделала возможной целерациональную калькуляцию. Подобные концепции пространства Верлен называет *картографическими*, поскольку формализация и метризация послужили необходимыми предпосылками для модерных практик картографиро-

21 Werlen, *Sozialgeographie: Eine Einführung*, op. cit., S. 325–326.
22 Ibid., S. 328.

вания земли. Эмпирическим полем исследования для этой теории действия являются повседневные «географии производства и потребления» и соответствующие им «модели размещения» (рынки, фабрики, заводы, торговые центры и т. д.).

Ориентированная на нормы теория действия тематизирует, соответственно, нормативный характер пространственных практик. Нормативно-прескриптивные правила, выражающие определённые ожидания от действующего в той или иной ситуации, приводятся в действие через *территоризацию (регионализацию, сегрегацию)* и соответствующие пространственные порядки. На подобные регионализации указывают всем нам известные таблички: «служебный лифт», «посторонним вход запрещён», «вход только по пропускам» и т. д. Так, благодаря этим практикам установления границ осуществляется контроль над субъектом и его телом. Отношения между властью и пространством проявляются здесь прежде всего как отношения между властью и телом. Несмотря на то что самой известной формой такого соединения норм, тел и пространства является национальное государство, территоризация характерна также и для других социально-пространственных отношений. Ориентированная на нормы теория действия позволяет исследовать не только национально-государственную территоризацию, но также этнические регионализации, сегрегации по полу, возрасту, статусу и т. д. Одним словом, эмпирическую область исследований для этой теории действия образуют «нормативно-политические географии повседневности, которые представляют собой практики установления и усвоения пространственных норм и политического контроля. Именно эту – центрированную на теле и в то же время инструменталистскую – форму социально-пространственных отношений критически в своё время анализировал Мишель Фуко[23], работу которого Верлен, надо заметить, высоко ценит, о чём, в частности, свидетельтствует следующая цитата:

> «Я утверждаю, что мы должны взять положение Фуко, согласно которому “власть существует только тогда, когда она приведена в действие”, и “власть” осуществляется только одним над другим или посредством другого. Тот факт, что (для осуществления “власти”) тело, человеческая телесность и другие материальные средства имеют ключевое значение, не должен приводить к заключению, что “пространство” как таковое есть нечто соотнесённое с властью, разве что “пространство” обозначает совокупно все материальные условия, воздействующие на телесность действующего. Как я уже отмечал, эти условия должны быть в центре любой теории действия»[24].

---

23 См. Foucault M. The Incorporation of the Hospital into Modern Technology // J. Crampton, S. Elden (eds.) *Space, Knowledge and Power: Foucault and Geography.* Hamshire, Burlington: Ashgate, 2007; Foucault M. Des espaces autres [1967/1984] // *Architecture, mouvement, continuité.* 1984 (octobre). № 5. P. 46–49.

24 Верлен, указ. соч., с. 36.

Соглашаясь с Фуко в том, что власть часто даёт о себе знать в форме территоризации (регионализации, сегрегации), то есть она связана с предписанием тех или иных пространственных норм, Верлен тем не менее не склонен, в отличие от Фуко, описывать социально-пространственные отношения исключительно в терминах власти. Именно поэтому в своей акционистской теории пространства он учитывает сразу несколько концепций действия. Не все социально-пространственные порядки и модели размещения можно описать в терминах власти, подчинения (концепция нормоориентированного действия) или расчёта (концепция целерационального действия). Эти концепции, например, не позволяют объяснить феномен экзистенциальной привязанности человека к определённым местам, будь то любимое кафе, парк, комната, родной город и т. д.

Наряду с производственно-потребительскими и нормативными аспектами важную роль играют также эмоциональные и коммуникативные аспекты пространственных данностей. Именно интерпретативная, ориентированная на коммуникацию и взаимопонимание, теория действия позволяет, с точки зрения Верлена, тематизировать пространственные условия коммуникации. Здесь, как и в ориентированном на нормы подходе, также делается акцент на телесности действующего, однако последняя анализируется уже не в терминах власти (контроля, подчинения, насилия и т. д.), а в аспекте креативности, то есть с точки зрения того, какую роль играет живое тело в процессе формирования социальной компетентности (биографического запаса знания) и конституирования смыслового измерения пространственного контекста действия. Другими словами, речь идёт о телесных аспектах коммуникации и интерсубъективно значимых, пространственно кодированных «регионов смысла» как символизирующих эмоциональную привязанность человека к определённым местам.[25]

Символическое кодирование мест играет ключевую роль в процессе формирования социально-культурных действительностей. Их анализ позволяет, в частности, прояснить реально-воображаемый характер таких пространственных категорий, как «родина», «святые места», «дом» и т. д. Эмпирическим полем исследований для этой теории действия являются, согласно Верлену, «информативно-сигнификативные географии» повседневности, то есть пространственные практики, связанные с формированием антропологически значимых мест с особой атмосферой и аурой. При этом речь идёт о значимости, которую невозможно до конца превратить в товар или сделать инструментом власти. Поэтому толкование этой экзистенциальной привязанности человека к тем или иным местам оказывается наиболее продуктивным с опорой на феноменологический подход, в котором опыт пространства рассматривается в его смыслотворческом характере, играющий конститутивную роль

25 Werlen, *Sozialgeographie: Eine Einführung*, op. cit., S. 334.

в процессе формирования биографического запаса знания и непосредственно влияющий на жизненные проекты людей.

Разрабатываемый Верленом акционистский подход для анализа различного рода социально-пространственных отношений продиктован также необходимостью объяснить рост сетей взаимозависимости и глобально-локальный характер современных социальных практик. Расширение области непосредственного опыта благодаря средствам массовой информации и коммуникации не могло не повлиять на условия жизни в конкретно взятом месте. Сегодня на локальные практики всё большее влияние оказывает глобальный контекст. Трансляция многочисленных сообщений, картинок, фактов и мифов посредством СМИ и туризма существенным образом влияет на жизненные проекты людей. Результатом этой культурной глобализации оказывается миграция: желание сменить место жизни связано с тем, что представления о нормах (нормальной жизни) сегодня зачастую формируются по ту сторону локальных контекстов. Чтобы понять, замечают Ульрих Бек и Элизабет Бек-Гернсхайм, как формируются представления о «нормальном» у молодого поколения из «второго» и «третьего» миров, нужно проанализировать картинки и сообщения, которые им поставляет мир «первый».[26]

Социально-пространственные отношения повседневной жизни сегодня по-новому конституируются, что придаёт особое значение анализу социально-культурного измерения пространственных практик. Речь идёт прежде всего о *медиализации* этих отношений: опыт, информация, привязанности и т. д. всё чаще приобретаются не в ситуации телесного соприсутствия, а через медиа. Новые средства массовой информации и коммуникации радикально преобразовывают наши пространственные условия жизни.[27] Так, на наши повседневные практики всё чаще оказывают влияние так называемые «медиальные геокоды», которые пространственно кодируют жизненные взаимосвязи, участвуют в формировании локальных траекторий и привязанностей (примерами таких «медиальных геокодов» могут служить, напр., «ось зла», «красный пояс России», «курорт мирового уровня», «город порока» и т. д.). Разнообразие средств и каналов информации разрушает прежнее единообразие моделей размещения и способов их присвоения, поскольку сегодня биографический запас знания и характерные для него пространственные порядки в меньшей степени зависят от локального опыта. Всё это, заключает Верлен, вызывает потребность в *новом географическом сознании*[28], для которого отправным пунктом в восприятии социального мира будет не пространственная фрагментация, а глобальная взаимосвязь различных стилей жизни.

---

[26] Beck U., Beck-Gernsheim E. Generation Global // U. Beck (Hg.) *Generation Global. Ein Crashkurs.* Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2007. S. 246.

[27] Werlen, *Sozialgeographie: Eine Einführung*, op. cit., S. 11.

[28] См.: Werlen, *Körper, Raum und mediale Repräsentationen*, op. cit., S. 365–392.

ПРОСТРАНСТВЕННОСТЬ ОБРАЗНОСТИ

Илья Инишев[1]

Abstract

Images and space are involved into complicated and intricate relationships with one another. On the one hand, homogeneous physical space embraces artificial and heterogeneous images. On the other hand, images – at least that we call «strong» images – embody specific space of their own, i.e. «iconic» space. Thus images are a kind of double objects that exist simultaneously in space and as a mode of space. This distinctive feature of images (or iconic objects) plays an important role in contemporary, image-centered culture. Images become the key factor of both our public and private life. From this viewpoint, to study contemporary, visual culture means to pay more attention to the specificity of iconic space. The letter is closely connected with what we call the «iconic plane». The detailed analysis of the iconic plane structure shows how in an image the materiality, spatiality and meaning are interconnected. This interconnection makes a great difference between physical surface and iconic plane. Iconic plane is not a part of physical space but rather an event in which the primary spatiality comes to light. As a result, images proliferating in contemporary culture are a kind of instances which being both in social and physical spaces permanently and inexplicitly change their parameters and configurations.

Keywords: Proliferation of images, iconic plane *vs.* physical surface, strong images, simultaneity, iconic inversivity, iconization of everyday life.

Введение

Отношения образа с пространством сложны и запутаны. С одной стороны, «внешнее» пространство окружает и поглощает образы. Несмотря на то что пространство современных городов перенасыщено образами и визуальными содержаниями, они воспринимаются лишь как беспокоящие и привносящие дискретность во внеобразное окружение, наделённое к тому же онтологическим приоритетом «реального». Если мы закроем глаза, мы перестанем воспринимать образы, однако при этом не утратим чувства пространства, способности ориентироваться. Внеобразное пространство

[1] Илья Инишев – кандидат философских наук, доцент кафедры наук о культуре НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва, Российская Федерация).

пронизывает собой все слои и все формы опыта. Согласно Канту, мы можем представить себе опыт без каких-либо предметных содержаний, но не можем избавиться от чувства пространства.

С другой стороны, образы отчаянно сопротивляются своей ассимиляции со стороны внеобразных структур и контекстов. По крайней мере, некоторые из них – те, которые можно было бы условно назвать «сильными». В отличие от «слабых» изображений, они непрозрачны. Взгляд не скользит безразлично от одного их элемента к другому и тем более не проходит сквозь них, устремляясь к внеобразному «означаемому». Они требуют от зрителя времени и соблюдения дистанции, которые прерывают обычное течение нашего опыта, постоянно переходящего от одного восприятия к другому, не задерживаясь подолгу ни на одном из них. Ведь то, что на самом деле занимает нас в повседневности, – это выходящая за пределы конкретного восприятия цель.

Восприятие «сильного образа» – не важно, идёт ли речь о живописи, кинематографе или цифровой фотографии, – осуществляется ради него самого и ради того, что в этом специфическом опыте происходит, что в нём показывает себя. Специфика этого опыта состоит в его непереходном характере. Он не встраивается в качестве переходного звена в цепь других опытов и в этом отношении может рассматриваться как автономный: как «предписывающий закон себе самому». Как обособленный, замкнутый на себя и в себе, он не может не обладать своей собственной, особенной пространственностью. Её особенность даёт о себе знать уже в том, что эта пространственность способна трансформироваться в вещность; способна сокращаться и растягиваться, исчезать и вновь появляться. Другими словами, в отличие от однородной и статичной «реальной» пространственности, образная пространственность характеризуется динамикой и гетерогенностью. Обобщая, в дальнейшем мы будем называть этот опыт и соответствующую ему пространственность «иконическими».

В нижеследующем мы попытаемся дать ответ на несколько вопросов, которые, на наш взгляд, являются ключевыми в теории образа. Как образ соотносится с иконическим, или внутренним, пространством и как с действительным, или внешним? Как эти пространства относятся друг к другу? Наконец, что такое образ?

Мы начнём с констатации очевидного – с ряда наблюдений, касающихся количественных и качественных изменений, произошедших в сфере производства и потребления образных содержаний (*Образы в пространстве*). Затем перейдём к обсуждению вопроса о специфически образном, или иконическом, пространстве (*Пространство в образе*) и закончим схематичным рассмотрением взаимосвязи обоих пространств: образного и внеобразного (*Образ как пространственный медиум*).

Образы в пространстве

Пролиферация образного

Нынешняя эпоха отличается от предшествующих помимо прочего тем, что о ней едва ли можно сказать, что она находит своё отражение в тех или иных – художественных или повседневных – образах. Несомненно, существует немало изображений разного рода, удачно выражающих символику современности. Однако её отличительную черту, как нам представляется, составляет нечто иное, а именно наводнённость, наполненность пространства повседневного опыта различными образами. Перебивая друг друга, вступая в противостояния, заключая альянсы, они каждый день, если не каждую минуту вторгаются в наше визуальное поле, бросая вызов нашим перцептивным возможностям.

Социальная и коммерческая реклама, плотная сеть указателей и объявлений, дорожная разметка, световые сигналы и многое другое занимают собой едва ли не всю доступную нам область видимого. Более того, они пронизывают и насыщают собой внеобразное пространство, постепенно размывая некогда чёткие границы между реальным и воображаемым, исподволь трансформируя саму идею пространственности, сложившуюся за последние четыре-пять столетий в европейской науке и философии. С тех пор эта идея стала неотъемлемой частью повседневного самосознания современного человека. Однако сегодня, закрыв глаза и не видя образов, мы всё ещё остаёмся в сфере действия иконического. Вышеупомянутое чувство однородного пространства, сопровождающее нас повсюду, само стало частью того репертуара образных содержаний, который обусловливает наш теперешний опыт. Современная эпоха (начавшаяся в этом отношении в послевоенный период) характеризуется тем, что вполне уместно назвать пролиферацией образного.

Визуальное/иконическое

Некоторые теоретики говорят в этой связи о «визуальном повороте», о приоритете визуального восприятия, характерном для современной культуры. При всей верности такого диагноза следует, однако, заметить, что смена установок, маркирующая визуальный поворот – переход от языковой коммуникации к визуальной, – мотивирована бесконтрольным и волнообразным распространением образов. Именно характерная для иконических объектов взаимосвязь материального и смыслового, текстуры и структуры способствует тому, что в случае масштабного распространения иконических содержаний в неиконическом пространстве происходит постепенная, но вместе с тем кардинальная перемена в способах производства и трансляции смысла, а в конечном итоге – и в природе самого неиконического пространства, которое до известной степени «иконизируется».

Для понятийной фиксации этих перемен предикат «иконический», как нам представляется, подходит значительно лучше, нежели аморфное прилагательное «визуальный». Опыт, о котором идёт речь, т. е. иконический опыт, обладает особой структурой. Визуальность здесь хотя и важная, но всё же не специфическая (даже подчинённая) черта. Образ – это не только иконический знак, пассивно выполняющий навязанную ему функцию специфического означающего. Образ – это и генеративная среда, не только передающая, но и порождающая смысл характерным для неё способом, что служит дополнительным подтверждением неслучайности и важности темы пространственного измерения образности.

Сильные/слабые образы

Конечно, далеко не все образы способны служить такого рода генеративной средой. Напротив, большинство из них – и прежде всего так называемые «слабые образы» – имеют иное предназначение и, соответственно, структуру. Различение «слабых» и «сильных» образов следует рассматривать как идеально-типическое, а не как «фактическое». Основная часть образных содержаний, с которыми мы сталкиваемся в повседневности, представляет собой гибридные образования; для них характерна полупрозрачность. В отличие от «сильных» образов, они не задерживают на себе взгляд, вынуждая пребывать при них. Они лишь на мгновение прерывают привычное течение опыта, пропускают его сквозь себя, насыщая при этом новыми взаимосвязями и содержаниями. В отличие от «сильных» образов основной эффект «слабых» в отношении действительности можно охарактеризовать не как «генеративный», а как «трансформативный». Они не столько генерируют новые смыслы, сколько трансформируют старые – те, которые сформировались во внеиконических контекстах. Но как «сильные», так и «слабые» образы не репродуцируют, а производят реальность. Однако делают это по-разному и в разных масштабах. Различия в продуктивных способностях между различными типами изображений тесно связаны с их пространственной структурой. Как раз характерная для иконических объектов структурная связь между содержательным (предметным) и пространственным делает их специфическими, эффективными и неизбежными посредниками между миром и человеком. В дальнейшем мы вкратце поясним природу этой связи. При этом мы будем ориентироваться на «сильные» образы, под которыми подразумеваются, прежде всего, двумерные иконические объекты из сферы искусства. Следует, тем не менее, подчеркнуть, что их принадлежность к сфере искусства – это не одна из предпосылок, а, скорее, одно из следствий их статуса как «сильных» иконических объектов.[2]

---

[2] Идею различения сильных и слабых образов мы заимствуем у Готфрида Бёма, который в свою очередь предложил эту дистинкцию, ориентируясь на концепцию образности Ханса-Георга Гадамера (см.: Boehm G. *Wie Bilder Sinn erzeugen. Die Macht des Zeigens*. Berlin, 2007.

2. Пространство в образе

Образ/отображение

Тесная связь образности с пространственностью даёт о себе знать уже на этапе экспозиции проблематики иконического. Столь необходимую здесь верную оптику мы обретаем только тогда, когда отказываемся обсуждать специфику образного в терминах отображения и копирования. В противном случае мы опираемся скорее на определённые и к тому же давно устаревшие теории, нежели на собственный опыт, который – как будет показано ниже – имеет ключевое значение для «предметной» характеристики образного.

Рассматривать образ как «объект-отображение», связанный отношением сходства с другими объектами, значит находиться вне контекста самого образного восприятия. Сопоставление любых объектов представляет собой в большей степени понятийно-аналитический, нежели перформативно-перцептивный процесс. Мы сопоставляем между собой отдельные свойства объектов, абстрагированные от них и скорее мыслимые, чем воспринимаемые. Даже восприятие сопоставляемых свойств представляет собой аналитическую процедуру, т. е. основывается на селекции, направляемой понятийным мышлением. При этом сопоставляемые объекты «попросту» идентифицируются, то есть подводятся под соответствующее понятие. И если «неиконические» объекты не утрачивают при этом ничего из своего «существенного» содержания, то в случае образов потери при «идентификации» будут фатальны. Для образа вовлечённость в процесс восприятия – это не только присущая ему возможность (как и для любого другого материального объекта), но и то, что всякий раз составляет его действительность. В отличие от неиконических объектов, например предметов домашнего обихода, «субстанцию» которых составляют стабильные (повторяющиеся и повторяемые) прагматические взаимосвязи, образы заключают несущие их связи в себе. Поэтому их восприятие представляет собой не идентификацию (*встраивание* в <заданные> контексты), а, по выражению Вилема Флюссера, «сканирование» (*выстраивание* контекстов).

В итоге правильная, на наш взгляд, оптика при теоретическом рассмотрении образов формируется в результате «горизонтализации» иконического отношения, под каковым мы понимаем отношение между образом и тем, что в нём репрезентируется, то есть его «содержанием». И если «вертикальный» взгляд на иконическое

S. 245–248). Слабому образу у Гадамера соответствует «отображение» (*Abbild*), сильному – «образ» (*Bild*). Предлагая революционную концепцию образа, Гадамер рассматривает его специфику, по сути, в традиционной перспективе – в перспективе соотношения изображение/изображённое, игнорируя материальную структуру самой иконической плоскости (иконического пространства). Мы же – вслед за Эко и Гудменом – рассматриваем отношение образного пространства к действительному как эффект самой иконической плоскости.

отношение выходит за пределы иконической плоскости, рассматривая связь между ней самой и тем, что на ней репрезентируется, как разновидность отношения между означающим и означаемым, то «горизонтальная» перспектива предполагает пребывание или даже прогрессирующее погружение в саму иконическую плоскость.

При этом следует отметить, что материальная структура иконической плоскости существенно отличается от материальной структуры физической поверхности. Кроме того, сосредоточение на иконической (изобразительной) плоскости приведёт нас к ответу на вопрос о характере отношений между образом и пространством. Но начнём мы с основания различения физической поверхности и иконической плоскости.

Плоскость/поверхность

С одной стороны, это различение основывается на наблюдении; другими словами, оно – эмпирическое. С другой стороны, различение иконической плоскости и физической поверхности имеет нормативный характер. Оно задаёт систему координат, в рамках которой может быть проведено различие между специфически иконической и физической материальностью.

Физическая поверхность, как нам представляется, характеризуется принципиальной множественностью. Любая поверхность ограничивается другой поверхностью. Сосредоточение на какой-то одной физической поверхности всегда возможно только на основании предыдущего восприятия других – смежных – поверхностей (которые присутствуют в восприятии отдельной поверхности в качестве необходимого предела). Опыт физических поверхностей дискретен, что, очевидно, составляет основание континуальности опыта физических предметов. Иконическая плоскость – что следует из самого термина – принципиально единична, сингулярна. Она не имеет физических границ (если не путать её с физической поверхностью, составляющей коррелят не специфически иконической, а перцептивной установки в контексте повседневного опыта). Будучи феноменальной (то есть зримой, экстернальной), она тем не менее не принадлежит взаимосвязям физического мира. Иконическая плоскость, по выражению Ж.-Л. Нанси, представляет собой «дистинктное», или, по выражению Х.-Г. Гадамера, «абсолютное». Физическая поверхность имеет своего носителя. Слово «поверхность» всегда требует дополнения в родительном падеже. Она всегда «чья-то». Кроме того, поверхность предполагает скрывающуюся под ней глубину, без которой она немыслима. Плоскость же абсолютна, т. е. «отдельна» как «грамматически», так и «фактически».

Ввиду своих объективных характеристик иконическая плоскость вполне может быть рассмотрена как представительство «идеального» в «реальном», как своего рода «внутримировая трансценденция». Будучи частью мира, иконическая плоскость выходит

за его пределы. Предметность, пространственность и «абсолютность» сильного образа – взаимосвязанные черты. Их взаимосвязь способна пояснить, на чём основывается ряд эффектов, производимых изображениями: их способность внушать нам определённые смыслы, минуя инстанцию разума; производимое некоторыми из них впечатление, будто они обладают субъективностью; их способность коммуницировать с «внешней» действительностью, по видимости её игнорируя.

Пояснить источник и природу этих эффектов могла бы, на наш взгляд, такая важная черта иконической плоскости (неважно, идёт ли речь о «сильных» или «слабых» образах), как симультанность. Она же способна внести дополнительную ясность в вопрос, в чём же состоит принципиальное различие между иконической плоскостью и физической поверхностью?

Симультанность

Значение фактора симультанности, или одновременности, связано с тем, что восприятие иконической плоскости подчиняется особым условиям. Все элементы иконической плоскости должны быть восприняты одновременно. Это – базовая предпосылка для возникновения иконического опыта в собственном смысле: для восприятия изображённого. Вследствие симультанности восприятия иконических элементов (элементов изображения) происходит трансформация пространственных отношений: метрические (каузальные) отношения между ними трансформируются в грамматические (смысловые). Грамматические, или смысловые, отношения – в отличие от метрических – не организуют заданные элементы, а только и делают их зримыми в составе образа. На иконической плоскости материальное и смысловое составляют несамостоятельные аспекты зримого, чистой явленности, различимые только аналитически. Зримое – это не только «изображённое», а вся иконическая плоскость, всё иконическое пространство.

Образ – не явление в пространстве, а пространство явления. Его пространственная природа даёт о себе знать в реляционном характере иконической плоскости, которая состоит не столько из физических элементов, сколько из отношений. Однако эти отношения – не отношения между зримым, а отношения зримости. Благодаря им и сквозь них становится зримым всё, что принадлежит образному восприятию, в том числе и сам образ, сама иконическая плоскость.

Чистая зримость

Иконическая плоскость показывает себя, показывая что-то другое, а именно то, что представлено в образе. Она показывает себя в изображённом и вместе с ним. Между изображением (иконической плоскостью) и изображённым (образом в строгом смысле)

существует своего рода диалогическое отношение. При осуществлении восприятия образа материальные элементы иконической плоскости входят в состав образного содержания, которое в свою очередь воплощено в материальных элементах образа. Образ – это промежуточное, медиальное «образование», колеблющееся между чисто смысловым и чисто материальным, между индивидуальным и универсальным, присутствием и отсутствием, пространством и вещью. Смотреть на образ – это значит всегда смотреть сквозь изобразительную плоскость. Но, с другой стороны, сосредоточиваться на «изображённом» – это значит всё больше погружаться в саму иконическую плоскость, впутываясь в составляющие её отношения. Зримая предметность и зрительное пространство здесь совпадают до полного неразличения. Область, расположенная по эту сторону различения пространства и объекта, – это область чистой зримости, или чистой явленности, составляющей предпосылку для всех последующих дифференциаций.

Как область чистой зримости, как первичный медиум явленности сфера образного[3] заключает в себе нечто, что не вписывается в традиционную – дихотомическую – систему понятий: реальное/воображаемое, субъективное/объективное, внешнее/внутреннее. Тем самым образ и действительность не разделены пропастью. Напротив, опыт действительности и образный опыт взаимосвязаны и взаимообратимы. Эту взаимную обратимость, наблюдаемую в повседневной жизни и составляющую сегодня её неотъемлемую часть, мы предлагаем именовать «иконической инверсивностью». Тем самым мы переходим к третьей, заключительной, части наших рефлексий.

3. Образ как пространственный медиум

Инверсивность

Иконическая инверсия, или переход от специфически иконического к подчёркнуто неиконическому и обратно, осуществляется в двух смыслах: как переход от иконического опыта к действительному и как движение внутри опыта образного, как его последовательное развитие. В первом случае сформированные и усвоенные в иконическом опыте грамматические взаимосвязи, составляющие основание метрических отношений, переносятся в «действительность», образуя предпосылку и фон для разнообразного прагматически мотивированного и ориентированного поведения в ней. Во втором случае они составляют пространство интенсивного пребывания, во время которого эти связи эффективно ассимилируются субъектом. Именно эта форма специфически иконического опыта (пребывания) делает возможным и необходимым первый тип инверсии. Тем самым переход от иконического к действительному и обратно возможен благодаря тому, что в рамках самого иконического восприятия нам доступны некоторые из существенных

[3] Отметим ещё раз, что речь здесь идёт только о «сильных» образах.

взаимосвязей действительности, а именно «грамматические» отношения, составляющие «онтологическую» предпосылку метрических пространственных отношений. Если в «действительности» эти «грамматические» связи присутствуют в модусе фонового, т. е. *имплицитного, условия пространственного опыта*, то в иконическом восприятии они образуют *эксплицитное пространство опыта.*

Интенсификация

В этом отношении и в этих пределах восприятие сильных образов (уместно напомнить, что речь в этом случае идёт по преимуществу о художественных образах) следует квалифицировать не как приостановку опыта действительности, а, напротив, как его интенсификацию. Интенсификация заключается, *во-первых*, в непереходном характере иконического восприятия. Оно осуществляется – как было отмечено выше – ради себя самого и в себе самом. Оно само составляет пространство своего осуществления. В этом случае уникальным образом интенсифицируется присутствие субъекта опыта. Его присутствие не только дискурсивно констатируется, но и интенсивно (тематически) переживается им самим. *Во-вторых*, интенсифицируется присутствие мира. Интенсификация в этом случае состоит в переводе метрических отношений между явленным в грамматические отношения явленности и обретении этими последними максимальной степени плотности. В этом и состоит момент трансцендирования образом своей партикулярности в направлении универсального, то есть мира. Это как раз то, что Хайдеггер сформулировал в своих докладах об «истоке произведения искусства» как «утверждение истиной самой себя в творении». Х.-Г. Гадамер в этой связи говорил, как известно, о «приросте бытия» в образе, который он пояснял как «прирост значения».[4] Мир присутствует в большей степени, когда становятся зримы первичные структуры мира (грамматические отношения), которые к тому же образуют на время пространство актуального переживания. Это обнаружение первичных (грамматических, или смысловых) структур, или связей мира, происходит при восприятии некоторых образов. При этом восприятие не встраивается в цепь других зрительных актов, а обретает характер пребывания в особом пространстве.

Но особое не значит выходящее за рамки повседневного опыта. Спектр форм образности и, соответственно, типов специфически иконических пространственных опытов крайне широк. Но даже крайние, отличающиеся максимальной степенью плотности иконического пространства (и в этом смысле непроницаемые) образы составляют часть повседневности, хотя лишь ту, что заключена в своего рода культурные резервации: музейные хранилища, выставочные и сценические пространства.

---

[4] Gadamer H.-G. *Gesammelte Werke.* Bd.1. Tübingen: Mohr Siebeck, 1999. S. 159.

Нормативность

Ввиду обилия форм образного, а также процессуальной, событийной природы образов понятие образа имеет не столько дескриптивный, сколько нормативный характер. В меньшей степени образ – это род объектов, и в большей – разновидность опыта. Едва ли не любой опыт при определённых условиях может обрести и обретает иконические черты. Образное – это универсальное измерение (или внутренняя тенденция) социальной действительности, тесно связанное с её специфической пространственностью. Образное, как нам представляется – понятие градуальное. Понятое в предложенном нами смысле, оно должно было бы допускать сравнительную степень. Это связано с тем, что образ – это в первую очередь процесс и событие и только во вторую – факт и объект. Из этого также следует, что «сильные» двумерные образы, в ориентации на которые выше схематично излагалась проблематика иконического пространства, представляют собой не столько класс реальных объектов (например, произведения искусства), сколько нормативный горизонт опыта и рефлексий, в том числе классификации типов образного и процессов иконизации.

Иконизация и опространствливание

В заключение вернёмся к некоторым мотивам и темам, представленным во введении и первой части.

Внутренняя связь образности и пространственности имеет множество аспектов и следствий. Среди них: генерирование и презентация первичных (смысловых, грамматических) пространственных связей, трансформативное воздействие на субъективность, учреждение и распространение внеязыковых форм трансляции смыслов. В конечном итоге речь здесь идёт о структурной связи материального, смыслового и пространственного. Эта связь и позволяет образу выступать в роли не только объекта, но и субъекта социального действия. Очевидно, что оставалось лишь дождаться подходящих условий, чтобы эта специфика образного стала важным фактором социальной жизни.

Современная социальная жизнь всё более иконизируется, что находит наиболее яркое выражение в образных принципах организации современного городского пространства. При этом образы оказались не только бенефициарами, но и катализаторами произошедших трансформаций. Электронные каналы коммуникации и информации, цифровые технологии и прогрессирующая эстетизация повседневности не только способствуют распространению образных содержаний и визуальных форм коммуникации, но и сами подпитываются внутренне присущими образам формами учреждения пространства.

PSYCHOTHERAPY OF THE LIVED SPACE: A PHENOMENOLOGICAL AND ECOLOGICAL CONCEPT[1]

Thomas Fuchs[2]

Abstract

Based on phenomenological and ecological psychology, the paper develops the concept of lived space as the totality of an individual's spatial and social relationships including the «horizon of possibilities». The lived space may also be regarded as the individual's ecological niche that is continuously shaped by his\her exchange with the environment. Mental illness may then be conceived as a limitation or deformation of the patient's lived space inhibiting his/her responsivity and exchange with the environment. Unconscious dysfunctional patterns of feeling and behaving act as «blind spots» or «curvatures» in lived space that lead to typical distortions, thereby further restricting the patient's potentialities and development. Accordingly, the task of psychotherapy is to explore and understand the patient's lived space in order to re-open his/her horizon of possibilities. The main agent for this purpose is the interactive field of psychotherapy that may be regarded as a «fusion of horizons» of the patient's and the therapist's world.

Keywords: Lived space, phenomenology, ecology, responsivity, horizon of possibilities.

Introduction

At first sight, phenomenology seems to be rather a contemplative philosophical method, unhelpful to a psychotherapist who is eager to promote the patient's change. For this purpose he/she will usually rely on well-known psychodynamic or behavioural explanations and techniques. Phenomenology offers neither causal explanations nor therapeutic techniques; so it seems that therapists might as well do without it. In this paper I will try to show the opposite. In my view, a phenomenological stance is not only indispensable if we want to gain a genuine, unprejudiced understanding of the patient's experience. Moreover, phenomenology offers a view that localises his/her disorder neither in the hidden convolutions of the brain nor in the hidden corners of his/her psyche, but in the

1 This article is an enlarged version of a conference paper that was presented by the author within the Sixth Central and Eastern European Conference on Phenomenology «In statu nascendi: Phenomenology, Pedagogy, Psychotherapy», 28 October – 1 November 2009, Vilnius (Lithuania).

2 Thomas Fuchs – MD, Ph. D, Professor of Psychiatry and Psychotherapy Psychiatric Department, University Clinic of Heidelberg (Germany).

actual world of his/her life with others, the *lifeworld* (*Lebenswelt*) – and this is, after all, the only world in which psychotherapy is effective.

Instead of searching for explanations behind the phenomena, phenomenology may help the therapist to perceive better and understand 'what it is like' to be the patient and to live in his/her world. For phenomenology is not an approach that is mainly based on introspection and inner states, as an old prejudice suggests.[3] On the contrary, it overcomes the dichotomy of the internal and the external by emphasising embodiment and being-in-the-world as the fundamental modes of existence. Subjective experiences are not to be found 'in the psyche' or 'in the brain' but extend over the body, space and world of a person. As a consequence, psychotherapists inspired by phenomenology will move away from trying to change the inner states of the patient and focus instead on his/her *'lived space'*, i. e. his prereflective or implicit way of living with others. And they will in particular use the therapeutic relationship as a field for extending the patient's lived space and for changing his/her implicit relationship patterns.

In the following sections, I will first outline the phenomenological concept of a person's world and lived space. Then, I will move to psychopathology and characterise mental disorders as various kinds of constrictions or deformations of the patient's lived space. It is of a special importance to gain a different approach to the problem of the unconscious which I regard not as an inner compartment of the psyche in the traditional psychoanalytic sense, but as a certain way of living without full awareness – a blind spot in lived space, so to speak. In the final part, I will describe the interactive field of psychotherapy as a partial fusion of the horizons of the patient's and the therapist's worlds. This fusion expands the patient's lived space and, by this, may help him/her to reshape his/her relationships with others as well.

1. The Person's World and Lived Space

My starting point will be a short outline of the phenomenological method as developed by Husserl (1950/1931). – The fundamental presupposition guiding the phenomenologist is that more is implied in every experience than merely an objective fact, namely the special *way of being* of what is experienced, and *the structure of our experience itself* which may be uncovered by phenomenology. The central technique used for this purpose, also termed *epoché* (abstinence) by Husserl, implies a «bracketing» of our commonplace assumptions about reality. Above all it is essential to restrain from believing that only those things which exist independent of the mind or the subject are real – the «world outside» or the «objective world». We are requested to put in abeyance what we believe we «should» think or find, especially any explanation that derives the phenomena from underlying causes (mechanisms, substrates) not to be found in themselves. Instead, the phenomenologist

3 Such a view has been explicitly denied by Husserl (1952, p. 38). On this, see also Zahavi (2005, p. 12 ff).

analyses the way in which the subject conceives the world and how the relationship between the subject and the world has to be described. This process of the so-called 'transcendental reduction' leads to a disclosure of the originary underpinnings of our experience. It traces the constitution of the self and the world back to the basic structures of corporality, spatiality, temporality, and intersubjectivity.

If the psychiatrist undertakes this process, he/she arrives at the prereflective dimension of experience which is affected in mental disorders: It comprises everything that is normally not consciously thought about or aimed at, but implicitly lived, inherent in our habitual ways of dealing with the world and with others. Central aspects are the lived body, lived space, lived time and lived ways of relating to others. Phenomenology thus helps to explore altered worlds of experience that cannot be elucidated by accumulating data from the 3rd person perspective, e. g. data on brain functions. How does the patient perceive the world? What is it like to be depressive? How do lived time and lived space change for the manic person? What is the world like for a schizophrenic, an obsessive, a suicidal patient?

«World», of course, does not mean something outside as opposed to inside, the external world as against the internal or mental world. It is rather the totality of life in the sense of an all-embracing framework of meaning in which person's experience, thinking and acting are embedded. In the same sense we also speak of the world of an infant, the world of a farmer, the world of a man in the modern age, etc. Though, even if different worlds overlap and intersect in every individual, it is still a peculiar and unique world in which the individual thinks, feels and acts. In order to understand him/her, one has to enter his/her world and envision his/her *horizon,* in which all that he/she does has its meaning – even if this meaning deviates from the normal as in mental illness.

In the following I will focus on the phenomenological concept of the *lived space,* even though other categories like temporality and intersubjectivity are certainly of equal importance for psychopathology and psychotherapy. The concept of lived space traces back to Kurt Lewin's «topological» or «field psychology» (Lewin 1936) and was later revived by ecological psychology and psychotherapy (Barker 1968; Gibson 1986; Graumann 1978; Willi 1999). Lived space may be regarded as the totality of the space that a person prereflectively 'lives' and experiences, with its situations, conditions, movements, effects and its horizon of possibilities – that means, the environment and sphere of action of a bodily subject. This space is not homogeneous, but centred on the person and his body, characterised by qualities such as vicinity or distance, wideness or narrowness, connection or separation, attainability or unattainability, and structured by physical or symbolic boundaries that put up a rigid or elastic resistance to movement. This results in more or less distinct domains such as one's own territory, property, home, sphere of influence, zones of prohibition or taboo, etc. Moreover, the lived space is permeated by «field forces» or vectors such as attraction and repulsion, elasticity and resistance, etc. Competing attractive or aversive forces

lead to typical conflicts which may be regarded as opposing directions of possibility that the person faces. Thus, the lived space offers different 'valences', 'relevances' or 'affordances' – to use Gibson's term – in accordance to the motives and potentialities of a person. By analogy with physical fields, there are effects of 'gravitation' and 'radiation', caused for example by the influence of a significant other or by a dominant social group, and there are 'curvatures of space' that impede straight or spontaneous movements, for example around zones of taboo for the obsessive person or around areas of avoidance for the phobic person.

By this, it has already become obvious that the concept of lived space should not be conceived as static, but as dynamically connected with movement and development, i.e. with the course and temporality of life. Moreover, it is manifest that the lived space as the spatiality of the *Lebenswelt* is particularly shaped by social relations and meanings. In order to clarify this dimension and also to avoid the risk of subjectivism – as if the subject, in his/her lived space, only encountered his/her own representations and projections – we may borrow a term from biological ecology and characterise the lived space of persons in their environment as their «ecological niche» (cf. Willi 1999). By analogy with the biological niche or habitat, it signifies the section of the physical and social environment that corresponds to the dispositions of perceiving and acting, to the motivations and intentions of a person. The personal niche, thus, comprises all living or non-living objects a person is in active exchange with and has influence on – family, neighbours, colleagues, home, work place, products of work, etc. (fig. 1). The ongoing feedback circle of a person's actions and the responses of the environment may be termed as the person's «responded activity» (cf. Willi 1999). It is assumed that the person basically seeks and shapes an environment that responds to his/her actions and offers the valences for his potentialities. The capacity of a person to respond adequately to the stimuli and requirements of his/her environment, especially to the demands of others may be called his/her 'responsivity'.

The most intense and stimulating responses arise in a family or partner relationships. Generally, the individual tries to establish a mutual responsivity or «co-respondancy» with his/her partners (Willi 1999). By this choice of a certain environment or niche, persons also become the indirect producers of their own developments (Lerner 1981). Human beings influence their courses of life und direct their developments by shaping and affecting their environments that in turn re-affect them. The course of life develops as a circular process, guided by one's own activity and the responses from the environment.

To summarise, the concept of the lived space and the personal niche expresses the idea that the subject and the world do not exist separately but constitute each other. It implies an 'existential topology', i. e. a personal matrix of meanings and relationships creating the existential time-space with its curvatures, gradients, barriers, etc. According to this concept, subjectivity is spread into space and 'ek-sistence': The question *«Who am I?»* is inseparable from the question *«What is the world like*

in which I live?» This world is of an essentially social nature: Responsivity and correspondency shape the interpersonal structure of the lived space. Of course, the space inhabited by an individual in this sense is invisible for others. We do not see the vicinity or distance that things or other persons have for them, or the free spaces or perspectives that attract or the barriers that frighten them, or the psychological forces that determine their ways like magnetic field-lines. Nevertheless, in order to understand another person, we have to get to know his/her familiar surroundings, his/her sphere of influence and his/her various relations to his/he environment. In this way, the major goal of phenomenological psychotherapy is *«to enter and to share the world of the other»* (Margulies 1984).

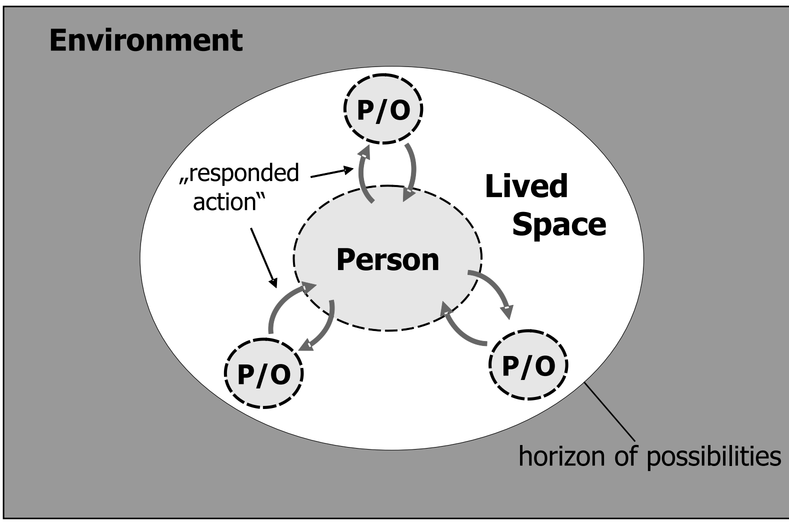


Figure 1: Person, lived space and environment
(P/O = Persons or Objects in the Lived Space)

2. Psychopathology as Constriction of Lived Space

On this basis, psychopathology may be regarded as a *narrowing or deformation of an individual's lived space*, as a constriction of his/her horizon of possibilities, including those of perception, action, imagination, emotional and interpersonal experience. Psychiatric disorders of various kinds are often the result of a disruption in the circle of responded activity, be it by a separation from significant others, a loss of one's occupational tasks, or, in general, by a mismatch of one's potentialities and the valences of the environment. Once manifested, these disorders in turn inhibit the responded activity of the patient, increase his/her egocentrism and reduce his/her responsivity towards others. The ecological niche becomes constricted, fragmented or otherwise unfitting.

Thus, to give an example, Melancholic Type personalities, i.e. persons prone to develop severe depression, have been shown to be rather

restricted in their lived space. They are over-identified with the spatial boundaries of their homes, their social roles, their responsibilities at work and their private relationships (Tellenbach 1980; Kraus 1987; Kronmueller et al. 2002). They live under a constant pressure of normalisation, as it were. A major deviation from these rigid demands and constraints may result in depressive illness. Thus, their horizon of possibilities is limited even before their first illness. In depression itself, the restriction of the lived body (inhibition, anxiety, loss of drive) and the loss of emotional resonance lead to a severe disturbance of the patient's responsivity and exchange with the environment (Fuchs 2001, 2005).

Let's take another, a rather contrary example: Patients with Borderline Personality Disorder are severely restricted in their capacity to establish stable and reliable attachments and role identities. They are not able to build up a continuous ecological niche of responded activity. Instead, their lived space is crisscrossed by intensive emotional impulses, i.e. by attractive and even more repulsive vectors by which they are constantly torn to and fro (Fuchs 2006). This leads to an instability and fragmentation of lived space, with numerous disrupted relationships, projects and careers. Borderline patients are, so to speak, tossed about in their lived space, unable to find a supporting ground and a reliable centre of their existence. – In a similar way, other psychopathological conditions may be regarded as disturbances of lived space (Fuchs 2000).

Phenomenology of the Unconscious

Based on the concept of the lived space, we may also gain a phenomenological understanding of the unconscious which is of special importance for psychotherapy. The difficulties inherent in the traditional psychodynamic 'cellar' theory of the unconscious are well-known – describing it as a level 'below the ground' where all kinds of sinister entities are stored. Such a concept is finally based on a Cartesian model of the mind as a kind of inner container holding distinct ideas, memories and representations of external reality which have been introjected, internalised as 'object representations' or 'images', i. e. as reified, immutable entities which populate the brighter or darker realms of the psyche. These realms are reified as well, receiving names such as consciousness, the unconscious, the super-ego, and so on.

All this has been vehemently criticised by phenomenologist (e. g. Binswanger 1963; May 1964; Ricoeur 1969; Hersch 2003). However, as a primary science of consciousness, phenomenology has had problems in developing an alternative theory of the unconscious until today. In any case, it cannot be conceived as a place or room that contains atomistic, thing-like mental entities. Not things, fixed objects or memories are unconscious, but rather potentialities, dispositions or tendencies in the person's life. Thus, a phenomenological approach will look for the unconscious in the implicit ways in which the patient behaves and lives, and in the ways he/she does *not*. Here phenomenology converges with recent memory research that emphasises *implicit or procedural learning*

as underlying our habitual ways of behaving, acting, but also *avoiding* possible actions, without explicit, or only with marginal awareness (Schacter 1999; Fuchs 2004).

With a similar intent, Merleau-Ponty has already analysed the unconscious aftereffect of the psychological trauma. According to him, the repressed resembles the phantom limb in amputated patients, in that it constitutes an «empty space» of subjectivity (Merleau-Ponty 1962, p. 86). It may be regarded as the negative of a past experience that the subject could not cope with – the negative that overlays each novel situation without notice, thus fixing the traumatised individual on his/her still present past:

> «Of course this fixation does not merge into memory; it even excludes memory in so far as the latter spreads out in front of us, like a picture, a former experience, whereas this past which remains our true present does not leave us but remains constantly hidden behind our gaze instead of being displayed before it. The traumatic experience does not survive as a representation in the mode of objective consciousness and as a 'dated' moment; *it is of its essence to survive only as a manner of being and with a certain degree of generality»* (l. c., p 83; italics by the author – *T. F.*).

The implicit or bodily memory includes all that is covered «behind our gaze» and only lives on in a general manner or a «style» of existence without revealing itself as an explicit memory; and this applies also to certain traumatic experiences. Thus, unconscious fixations resemble distortions or restrictions in a person's space of possibilities, caused by the past that continues to be implicitly present and refuses to give way to the progress of life. Its traces, however, are not hidden in some inner world of the psyche but manifest themselves in the 'blind spots', gaps or curvatures of lived space: in the patterns of behaviour that entrap a person time and again, in the actions he/she refuses to take, in the life he/she does not dare to live, etc.[4] Like in the figure-ground relation of gestalt psychology, such traces become noticeable rather as a 'negative', i. e. as the inhibitions or omissions that are typical for a person. On the other hand, they may still be actualized symbolically or bodily, in the way of somatic symptoms. Instead of a determinist view of the unconscious, however, the phenomenological view will emphasize its potential, future-directed character. Unconscious in the psychodynamic sense are «the potentialities for action and awareness which the person cannot or will not want to actualize» (May 1964, p. 182):

> «This unconscious is to be sought not at the bottom of ourselves, behind the back of our 'consciousness', but in front of us, as articulations in

[4] Sartre has shown, using the term of «bad faith» (*mauvaise foi*), that there is an essential component of *self-deception* inherent in this distortion (Sartre 1943, p. 86). The subject adopts an insincere and ambiguous stance towards itself, slipping into a «wilful nonattention». One does not know something *and* does not want to know it. One does not see something and does not want to look at it, which means one looks beside it both with and without intention. On this, cf. Holzhey-Kunz (2002, p. 173 ff.) and Bühler (2003).

our field. It is 'unconscious' by not being *object* but by being that through which objects are possible, it is the constellation from which our future may be read».[5]

Following this line, I will give a short phenomenological restatement of two central psychodynamic concepts, that of *defence or resistance* and of *repetition compulsion*.

Defence and Repetition Compulsion

(1) The effect of emotional trauma on the individual may be regarded as a specific deformation of his/her lived space, which becomes manifest in an avoiding stance towards certain frightening regions or *'repulsive spaces'* (fig. 2). The best analogy is the 'relieving posture' adopted automatically when a limb has been hurt: Instinctively one avoids exposing it to threatening objects and holds it back («a burnt child dreads the fire»).

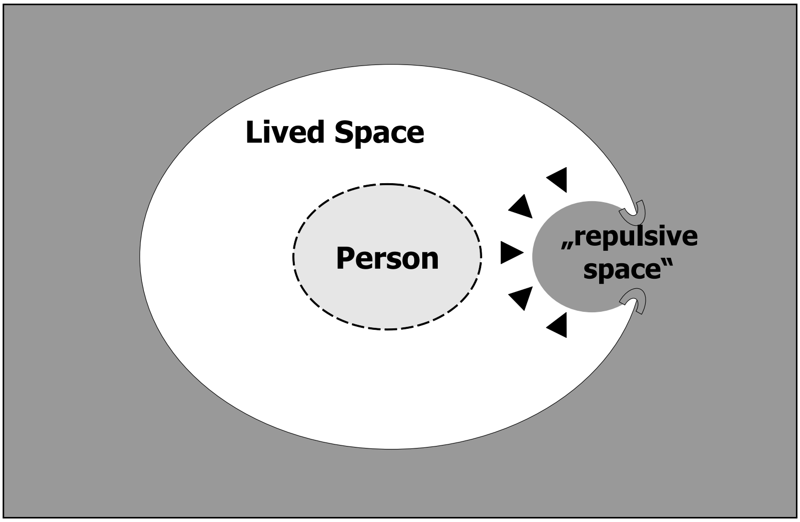


Figure 2: Unconscious «repulsive spaces»

The fact that this happens unconsciously is not due to a repression of the injury, but simply to a bodily learning process that occurs without explicit awareness. Similarly, the psychological trauma causes zones of avoidance and, thus inhibits the free development of one's potentialities. The lived space is negatively curved around these areas, and they have come to be gaps or 'blind spots'. Here the intentionality of the unconscious becomes obvious: An imminent contact with a danger zone is anticipated and prevented without conscious awareness, because it is

[5] «Cet inconscient à chercher, non pas au fond de nous, derrière le dos de notre 'conscience', mais devant nous, comme articulations de notre champ. Il est 'inconscient' par ce qu'il n'est pas *objet*, mais il est ce par quoi des objets sont possibles, c'est la constellation où se lit notre avenir» (Merleau-Ponty 1964, p. 234).

more economic not to reactivate the stress and anxiety of the traumatic experience again and again. The resistance or defence of psychodynamic theory is often nothing else but this relieving or avoidance posture manifested in the context of psychotherapy.

(2) The opposite pattern may be found in the psychodynamic concept of the 'repetition compulsion': Here, the individual is entrapped time and again in the same dysfunctional patterns of behaviour and relationships, even though he/she may try to avoid this by all means. The lived space is positively curved around such areas, and they have become 'attracting spaces' (fig. 3). If, for example, a woman's early life experiences have been dominated by abusive and violent relationships, her scope of possible relationships will be quite limited. The modes of abuse will vary, but this theme will influence her way to constellate her relationships to the exclusion of others. Her implicit ways of behaviour will act as self-fulfilling her expectancies, and she will continuously encounter the same kind of situations Thus, the unconscious is not a hidden realm of her psyche but enmeshed in her way of living, even in her bodily behaviour.

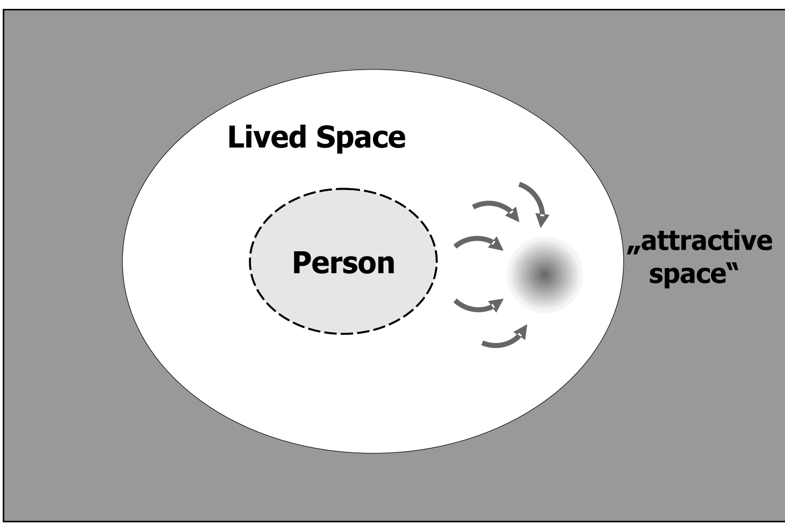


Figure 3: Unconscious «attractive spaces»

In a similar way, we could approach other psychodynamic concepts, but these examples shall be sufficient. From a phenomenological point of view, as we have seen, the unconscious is not an intrapsychic reality, located in some depth 'below consciousness', but it surrounds and permeates conscious life in a way similar to a picture puzzle in which the blinded out figure permeates the foreground. It is the unconscious that is hidden not in the *vertical* dimension of the psyche but rather in the *horizontal* dimension of the lived space and in the 'intercorporality' of our social contact with others.[6] – This leads us further to the phenomenology of the therapeutic interaction.

6 «...the latency of psychoanalysis is an unconscious that is beneath conscious life and *within* the individual, an *intrapsychic* reality that

3. The Interactive Field as the Agent of Change

As we have seen, phenomenology regards «mental illness» not as something mental or inside, but as an alteration of the patient's being-in-the-world, in particular as a restriction of his/her horizon of possibilities. The aim of treatment, therefore, would be to expand the patient's horizon and to increase his/her degrees of freedom. From a phenomenological perspective, the main agent for this purpose is the interactive field opened up by the encounter between a patient and a therapist.

According to older models of psychotherapeutic action, change is produced *in the patient alone*, through a restructuring of his/her internal world, as a result of cognitive or interpretive interventions by the therapist, which leads to insight and, accordingly, to more appropriate responses of the patient to his/her current life situations. But psychotherapy is an interpersonal process based on circular interactions that cannot be grasped from an individual perspective. It implies a mutual creation of meaning which is not a 'state in the head' but arises from the 'between' or the system of a patient and a therapist. On the basis of the concept of the lived space and using a crucial term of Gadamer's hermeneutic philosophy, we may regard the interactive process as a «fusion of horizons» of the patient and the therapist (Gadamer 1995; cf. fig. 4). Their pre-existing phenomenal worlds interact, even merge in part, resulting in a new, emergent and dyadic world that is harboured by the 'therapeutic niche' and creates a new horizon of possibilities. At the same time, the blind spots or gaps in the patient's lived space may become visible by the illumination of the interactive field. This new and wider space may relieve or even overcome the constriction of his horizon. Intercorporality as the sphere of non-verbal, bodily as well as atmospheric interaction plays an important role here. Though remaining in the background, it is an essential carrier of the therapeutic relationship.

However, this interactive, dyadic quality of the therapeutic relationship is not grasped in the traditional concept of transference and counter-transference. This concept was still seriously flawed by the subject-object-split. Feelings were conceived as happening inside the patient in a quite atomistic and mechanistic way (Hersch 2003, p. 228). They seemed to be isolated entities, endowed with certain amounts of energy, capable of being stored, moved hither and thither, disconnected from their object and projected on another person. Thus, transference was conceived as an anachronism:

> «Impulses, feelings and defences pertaining to a person in the past have been shifted onto a person in the present» (Greenson 1967, p. 152).

---

leads to a psychology of depth in the *vertical* dimension. ...The latency of phenomenology is an unconscious which *surrounds* conscious life, an unconsciousness in the world, *between us*, an *ontological* theme that leads to a psychology of depth in the *lateral* dimension» (Romanyshyn 1977). – On the unconscious in existential analysis, see also Bühler (2004); on «intercorporality» see Merleau-Ponty (1967, p. 213).

What the patient sees in the therapist was regarded only as a distorted image derived from the past. Moreover, transference and counter-transference did not meet to form something new. Though projected onto the respective other, they did not actually attain him/her, but remained inside the person experiencing them. This reification and materialisation of feelings surely does not fit to the interactive and emergent nature of the phenomena. A therapist who in this way regards himself/herself only as a projection screen would be in danger of missing the dimension of genuine encounter where he/she is meant as a real, embodied person.

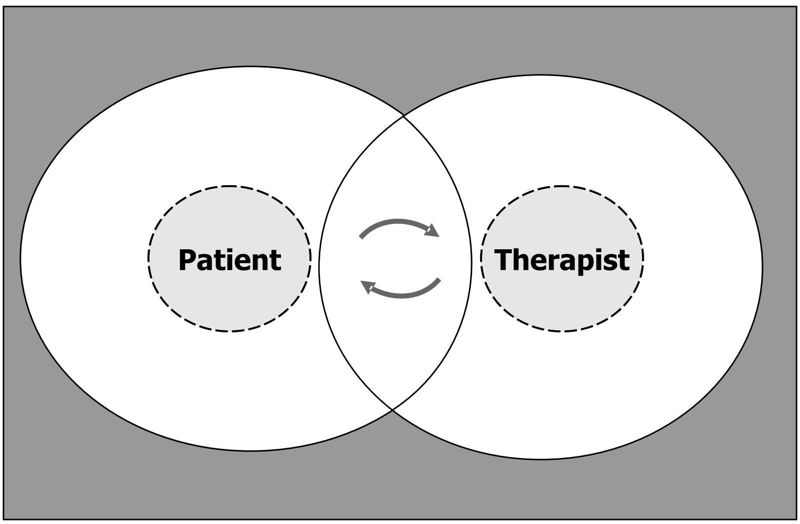


Figure 4: «Fusion of horizons» in psychotherapy

A glance at development psychology may be helpful here. Mother-infant research has shown that it is not isolated images or 'objects' that are stored in memory, but rather interactive experiences, schemes of dyadic interaction that are stored in the sensory, motor as well as emotional mode (Beebe et al. 1997; Stern 1998a). From early childhood on, these schemes become a part of the procedural or implicit memory and create what Lyons-Ruth (1998) has called «implicit relational knowing». It comprises stored patterns of bodily and emotional interaction that are prereflectively activated by subtle situational cues (e. g. facial expressions, gestures, undertones, atmospheres). This knowledge is a temporally organised, 'musical' memory for the rhythms, dynamics and undertones that are present in the interaction with others. Thus, procedural *'schemes-of-being-with'* (Stern 1998) or *implicit relational styles* are acquired, which organises the child's interpersonal behaviour and will later be transferred to other environments. They shape the basic structures of a person's relational space and, thus are of a special importance for the therapeutic process.

So, we may conclude from these results that it is not the explicit past that is in the focus of the therapeutic process but rather the im-

plicit past which unconsciously organises and structures the patient's *'procedural field'* of relating to others. To be sure, it is a phenomenological unconscious that we are dealing with, i. e., a prereflective, non-thematic, basic structure of experience, still different from Freud's dynamic unconscious of repression. However, implicit relational patterns have become increasingly important for psychoanalytic theory as well, stimulating new models of therapeutic change on the basis of a *«moment-to-moment process»* (Stern 2004). It is the present interactive field of psychotherapy through which relational patterns are made visible like iron filings in a magnetic field. Alteration of implicit patterns presupposes their activation as 'enactments' in the therapeutic process. Only then can they be replaced by corrective experiences, above all in special moments of empathic correspondence between a patient and a therapist (*«moments of meeting»*, PCSG 1998).

Here, the phenomenological stance may be particularly helpful. For the corrective emotional experience of psychotherapy is a function of the extent to which the therapist can 'put his/her world and theory in brackets' in encountering the patient. Husserl's *'epoche'*, i.e. the suspension of judgement and the abstention from preconceived ideas, may help to clear the space which is required for an authentic encounter between a patient and a therapist, without the interference of complex metapsychologies of various therapeutic schools (Margulies 1984; Varghese 1988). Phenomenologically oriented therapists will refrain from attaching any presumed idea to the patient's experience. They will rather try to understand as much as possible of 'what it is like to be him/her', to walk in his/her experiential footprints, to re-create his/her world view in their own experiences and to convey this experience to the patient in verbal and non-verbal ways. This mutual mirroring may help him/her to deepen self-experience and self-understanding as a starting point for any therapeutic change.

Certainly, empathic understanding of the patient is not all that is needed here. To avoid the pitfalls of the patient's relational patterns, the therapist should be well aware of the interpersonal process that is going on and that he/she is also a part of it. Otherwise he/she will risk stumbling right into the patient's 'attracting spaces' or, on the other hand, unwillingly take part in his or her avoidances (Merten & Krause 2003; cf. fig. 5). If a patient e. g. tends to leave decisions to others in order to avoid responsibility, it would certainly be wrong to get entrapped in this attracting space and tell him/her what to do. Or if a patient avoids a shameful experience or a shameful view of himself/herself, it would not be very helpful to unwittingly share his/her anxiety and carefully move around this delicate zone. The therapist should rather develop an intuitive sense of the 'curved zones' in the relational field, in order to make them visible and to neutralise them as far as possible by corrective experiences in the secure space of therapy. By this, the patient's lived space may be cleared and expanded in general.

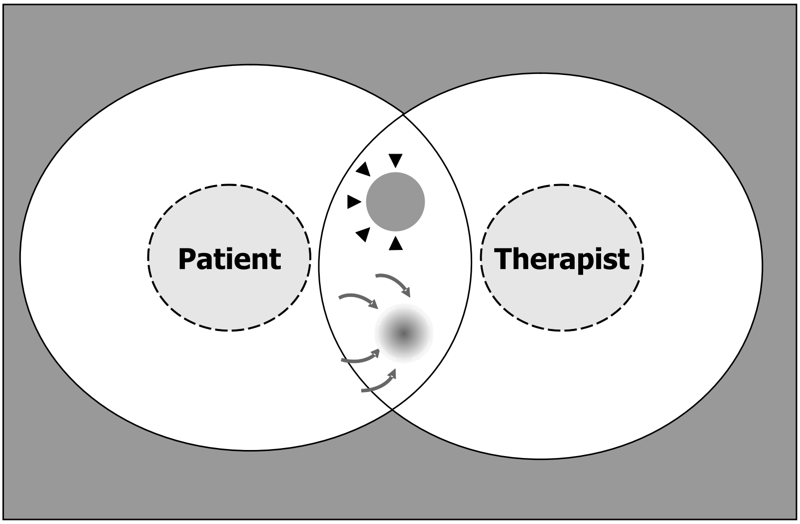


Figure 5: «Repulsive» and «attractive spaces» in the therapeutic relationship

Conclusion

The considerations on the psychotherapy of the lived space outlined above can be summarised in four main points:

1) Phenomenology is the science of subjectivity, but every subject is a world. Subjective experiences are not to be found inside the psyche or the brain, but extend over the person's lived body and space. The lived space may also be regarded as the person's ecological niche that is continuously shaped by his/her exchange with the environment, that is, by his/her responsivity and responded activity. This exchange is also crucial for his/her personal development.

2) Mental illness is not a state in the head either. It may rather be conceived as a limitation or deformation of the patient's lived space, as an inhibition of his/her responsivity and exchange with the environment. Unconscious dysfunctional patterns of feeling and behaving act as 'blind spots' or 'curvatures' in lived space that lead to typical distortions, thereby inhibiting the patient's potentialities and development.

3) The task of psychotherapy is first to explore and understand the patient's lived space in order to re-open his/her horizon of possibilities. The main agent for this purpose is the interactive field which may be regarded as a 'fusion of horizons' of the patient's and the therapist's world. It provides a new, dyadic experiential space that is capable of illuminating the blind spots or curvatures in the patient's lived space. Hence, from a phenomenological point of view the process of psychotherapy is rather experiential than cognitive, insight-oriented or 'archaeological'. The patient's habitual or implicit ways of relating to others are re-enacted in the 'here and now' of the therapeutic relationship.

4) Phenomenology may serve as a framework for conceptualising these processes in terms of embodiment, spatiality, temporality and intersubjectivity. It offers a language for the varieties of subjective experiences which is not imported from any theoretical paradigm but is mainly derived from hermeneutics. Thus, there is no «phenomenological psychotherapy» which could be regarded as yet another therapeutic school. Phenomenology rather offers the foundations for an experiential and unprejudiced attitude which any therapist should seek to gain.

References

Barker R.G. (1968) *Ecological psychology. Concepts and methods for studying the environment of human behaviour*, Stanford Univ. Press

Beebe B., Lachman F., Jaffe J. (1997) Mother-infant interaction structures and presymbolic self- and object representations, *Journal of Relational Perspectives*, 7, pp. 133–182.

Binswanger L. (1963) Freud's conception of man in the light of anthropology. In: L. Binswanger *Being-in-the-world.* Selected papers of Ludwig Binswanger translated and with a critical introduction to his existential psychoanalysis by Jacob Needleman, New York: Basic Books, pp. 149–181.

Bühler K.-E. (2004) Existential analysis and psychoanalysis: Specific differences and personal relationship between Ludwig Binswanger and Sigmund Freud, *American Journal of Psychotherapy*, 58, pp. 34–50.

Fuchs T. (2000) *Psychopathologie von Leib und Raum [Phenomenology of lived body and space]*, Darmstadt: Steinkopff.

Fuchs T. (2001) Melancholia as a desynchronization. Towards a psychopathology of interpersonal time, *Psychopathology*, 34, pp. 179–186.

Fuchs T. (2004) Neurobiology and psychotherapy: an emerging dialogue, *Current Opinions in Psychiatry*, 17, pp. 479–485.

Fuchs T. (2005) Corporealized and disembodied minds. A phenomenological view of the body in melancholia and schizophrenia, *Philosophy, Psychiatry & Psychology*, 12, pp. 95–107.

Fuchs T. (2006) Fragmented selves: temporality and identity in Borderline Personality Disorder, *Psychopathology* (in press).

Gadamer H.G. (1995 [1960]) *Truth and method.* 2nd revised ed. (trans. J. Weinsheimer, D.G. Marshall), New York: Continuum.

Gibson J.J. (1986) *The ecological approach to visual perception*, Lawrence Erlbaum Associates.

Graumann C.F. (1978) (ed.) *Oekologische Perspektiven in der Psychologie (Ecological perspectives in psychology)*, Bern: Huber.

Greenson R. (1967) *The technique and practice of psychoanalysis*, New York: International Universities Press.

Hersch E.L. (2003) *From philosophy to psychotherapy. A phenomenological model for psychology, psychiatry and psychoanalysis,* Toronto: University of Toronto Press.

Holzhey-Kunz, A. (2001) Psychopathologie auf philosophischem Grund: Ludwig Binswanger und Jean-Paul Sartre, *Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie*, 152, pp. 104–113.

Husserl E. (1950) *Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. I. Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie.* Husserliana III. Den Haag: Nijhoff. – Engl. Trans. W.R. Boyce Gibson (1931) *Ideas: An introduction to pure phenomenology*, New York: Macmillan.

Husserl E. (1952) *Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. III. Die Phänomenologie und die Fundamente der Wissenschaften*. Husserliana V. Den Haag: Nijhoff.

Kraus A. (1987) Rollendynamische Aspekte bei Manisch-Depressiven [Role dynamics in manic-depressive persons]. In: K.P. Kisker et al. (eds.) *Psychiatrie der Gegenwart*, Vol. 5, Berlin Heidelberg New York: Springer, pp. 403–423.
Kronmueller, K., Backenstrass, M., Kocherscheidt, K. et al. (2002) Typus melancholicus Personality Type and the Five-Factor Model of Personality, *Psychopathology*, 35, pp. 327–334.
Kruse L., Graumann, C.F. (1978) Sozialpsychologie des Raumes und der Bewegung. In: K. Hammerich, M. Klein (Hrsg.) *Materialien zu einer Soziologie des Alltags*, Opladen: Westdeutscher Verlag, pp. 176–219.
Lerner R.M., Bush-Rossnagel, N.A. (1981) (eds.) *Individuals as producers of their own development. A life-span perspective.* New York: Academic Books.
Lewin K. (1936) *Principles of topological psychology* (trans. by F. Heider, G. Heider). New York: McGraw Hill.
Lyons-Ruth K. (1998) Implicit relational knowing: Its role in development and psychoanalytic treatment, *Infant Mental Health Journal*, 19, pp. 282–289.
Margulies A. (1984) Toward empathy: The uses of wonder, *American Journal of Psychiatry*, 141, pp. 1025–1033.
May R. (1964) On the phenomenological basis of psychotherapy. In: E.W. Straus (ed.) *Phenomenology: Pure an applied. The First Lexington Conference*, Pittsburgh: Duquesne University Press, p. 166–184.
Merleau-Ponty M. (1962 [1945]) *Phenomenology of perception* (trans. by C. Smith). London: Routledge and Kegan Paul.
Merleau-Ponty M. (1964) *Le visible et l'invisible.* Paris: Gallimard.
Merleau-Ponty M. (1967) *Signes.* Paris: Gallimard.
Merten J., Krause R. (2003) What makes good therapists fail? In: P. Philippot, E.J. Coats, R.S. Feldman (eds.) *Nonverbal behavior in clinical settings*, Oxford University Press, Oxford.
PCSG (Process of Change Study Group) (1998) Non-interpretative mechanisms in psychoanalytic therapy: The ‚something more' than interpretation. *International Journal of Psychoanalysis,* 79, pp. 903–921.
Ricœur P. (1969) *Freud and philosophy: an essay on interpretation*, New Haven: Yale University Press.
Romanyshyn, R. D. (1977) Phenomenology and Psychoanalysis, *Psychoanalytic Review*, 64, pp. 211–223.
Sartre J.-P. (1966 [1943]) *Being and nothingness* (trans. H.E. Barnes), New York: Philosophical library.
Schacter D. L. (1996) *Searching for memory*, New York: Basic Books.
Stern D. (1998) *The interpersonal world of the infant: A view from psychoanalysis and developmental psychology*, New York: Basic Books.
Stern D. (2004) *The present moment in psychotherapy and everyday life*, New York, London: Norton&Comp.
Tellenbach H. (1980) *Melancholy. History of the problem, endogeneity, typology, pathogenesis, clinical considerations*, Pittsburgh: Duquesne University Press.
Varghese F.T. (1988) The phenomenology of psychotherapy, *American Journal of Psychotherapy*, 42, pp. 389–403.
Willi J. (1999) *Ecological Psychotherapy. Developing by Shaping the Personal Niche*, Cambridge/MA, Toronto, Goettingen: Hogrefe&Huber.
Zahavi D. (2005) Being Someone, *Psyche*, 11(5) [Electronic resource] Mode of access: http://psyche.cs.monash.edu.au/

CONSTITUTING SPATIALIZING FORMALIZING[1]

Dimitri Ginev[2]

Abstract

This paper explores a trajectory of the problematic of spatiality in Heidegger's path of thinking. At stake is the validity of the recapitulation made by him in 1962 lecture *Time and Being* that the thesis of the derivability of spatiality from temporality is untenable. The recapitulation is probed through a comparison between the concept of spaces of dwelling-building in which the fourfold is installed and the phenomenological concept of spatiality as a «secondary existentiale». A special attention is paid to Heidegger's program of disclosing the roots of the mathematical construction of space. The rehabilitation of existential spatiality as Dasein's characteristic that is equiprimordial with temporality requires to developing a theory of the schemes of ek-static spatiality.

Keywords: temporilized spatiality, spatializing, secondary existentiale, directionality, de-severance, making room, relatively closed environment, experienced distance, anthropological spaces, bodily spatiality.

One of Heidegger's most extended elaborations on the issue of space-locale-site is to be found in the essay *Building Dwelling Thinking*. In accordance with the interpretation of the ontological difference after the *Kehre*, dwelling is analyzed as the basic characteristic of Being, which is no longer revealed by mortals' existence. Nonetheless, the analysis tells us that in keeping with Being mortals exist as dwellers. Assigning this ontological status to dwelling makes it worthy of thought. At the same time, thinking proves to be inescapable for dwelling. Against the background of this inescapability, Heidegger addresses (though explicitly not until the end of the essay) in his analysis first and foremost the question of how thinking is intrinsic to dwelling, whereby it becomes clear that the analysis's ultimate goal is to circumscribe «man's homelessness» as consisting in the inability to the think of the proper plight of dwelling «in our precarious age» as *the plight*.

[1] This article is an enlarged version of a conference paper that was presented by the author within the Sixth Central and Eastern European Conference on Phenomenology «In statu nascendi: Phenomenology, Pedagogy, Psychotherapy», 28 October – 1 November 2009, Vilnius (Lithuania).

[2] Dimitri Ginev – Doctor of Exegetical Sciences, Independent Scholar and a Non-Regular Professor for History of Early Modern Hermeneutics at the University of Sofia, Department of Philosophy Theory of Culture (Sofia, Bulgaria).

Dwelling to which (not only thinking but also) building intrinsically belongs is what constitutes spaces laden by meanings that unfold the manner in which mortals are on the earth, under the sky, and before the divinities. These are spaces that presumably bear the traces of the primal oneness of earth, sky, divinities, and mortals. Dwelling brings into play the kinds of spatial reminiscent of the primal oneness. Spaces of dwelling are constituted by initiating mortals, by receiving the sky, by saving the earth, and by awaiting the divinities. The fourfold appears as a four-dimensionality of such spaces. Notoriously, Heidegger states that the thing of a special kind (e. g. a bridge) may gather the fourfold in such a way that allows a site for it. There is no metrics of a dwelling-space since its «four-dimensionality» is «gathered» by means of a thing that is itself a locale. On Heidegger's counter-geometrical dictum, the thing-as-a-locale that gathers the fourfold *makes space* for a site. The inquiry into the way in which the thing is making space for a site opens the discussion of the issue of space-locale-site in the essay under examination. The «essential being» of the dwelling-spaces is received from things-as-locales and not from characteristics of «space». By the same token, the «topology of the fourfold» (the analysis of the sites for the fourfold) has nothing to do with the properties studied by means of topological spaces. Dwelling-spaces are by no means «in space». A dwelling-space has an open boundary for whose illumination Heidegger appeals again to a central phenomenological notion – that of horizon. In quasi-paradoxical formulation, sites are gathering within a horizontal openness that sets a boundary for dwelling.

At this point Heidegger's line of reasoning undergoes a strange turn. He begins to pay more attention to what was carefully removed from the field of inquiry in the first part of the essay – the possibility of measuring things in space as *spatium* and *extensio*. The first step in this turn is to treat (not the thing/locale which makes space for a site of the fourfold as a place, but its) surrounding items as places: the space allowed by the thing-as-a-locale – so Heidegger's argument goes – contains many places variously near or far from the thing. The next step is to introduce a stronger abstraction by treating the places as mere positions between which there lies a measurable distance. Thus, the door to formalizing the concept of space as a variety of positions becomes open. In this formalization the nearness and remoteness between people and things are reduced to mere distances, «mere intervals of intervening space». Height, breadth, and depth are transformed into such intervals. The outcome is a pure *spatium* as a container of things. Yet the formalization can go further.

Once the measurable distance gets established as the only identifiable relation between positions, there is no obstacle to work out the concept of the manifold of the three dimensions. The room created by this manifold is no longer determined by distances. Heidegger argues that this room is no longer a *spatium* and no more than *extensio* that can be further formalized by placing emphasis on analytic-algebraic relations. What he has in mind is not so much analytic geometry (repre-

senting geometrical shapes in a numerical way), but the construction of manifolds with an arbitrary number of dimensions. Thus idealized, «the space» contains no spaces and no places. The rupture with the dwelling-spaces and the «topology of the fourfold» is complete. On this construal, *spatium* and *extensio* are intermediate stages in transforming spatiality from a readiness-to-hand (in dwelling-building) into a pure presence-at-hand as an idealized entity that my means of mathematical construction may generate other idealized entities (some of them with a possible empirical interpretation). *Spatium* and *extensio* make room for things whose existence is only determined by computing the magnitudes of distances, spans, and directions.

In making a detour in the field of space's formalization (and approaching the problematic of a pragmatic-constructive philosophy of geometry), Heidegger manages to delineate a context of discussing «the relation of man and space». The starting-point is the claim that spaces of dwelling and building cannot be interpreted as something that a person faces. These are spaces that are at once constituted and opened up by the finitude of mortals. Only finite beings that are able to stay before the divinities on the earth and under the sky are in need to dwell. In dwelling they persist through spaces by virtue of thrownness among things-as-locales. Being thrown and going through spaces is a destiny that human beings cannot avoid. To put it in a terminology closer to *Being and Time*, because of their ek-sistence in spaces of dwelling human beings are never here only as present encapsulated bodies. Human beings can never leave these spaces since the mortals cannot leave behind their belonging to the fourfold. They are doomed to stay with things-as-locales. This is why Heidegger[3] reaches the conclusion that woman's relation to locales, and through locales to spaces, inheres in her dwelling.

My short comment on *Building Dwelling Thinking* cannot omit the concept of the «double space-making» which is allotted to explain why building through constructing locales is a founding and joining of spaces. On the one hand, the things-as-locales admit the fourfold. They are structured in a manner that admits the fourfold as a fore-structure of their structuring. On the other hand, the things-as-locales install the fourfold. As space-making these things are a house of the fourfold. The unity of admitting and installing the fourfold in the process of the double space-making is building. Building is a constant response to the summons of the fourfold. In forging the concept of the double space-making, Heidegger puts forward another strangely sounding claim: Though building never shapes pure «space», it is closer to the origin of «space» (the ontic presupposition for having *spatium* and *extensio*) than any geometry and mathematics. The argument to this claim is that there is no mathematical space that does not stem from forms of dwelling-building, and accordingly, that does not hide sites for the fourfold.

Let me now compare the claim with the elaborations in *Being and Time*. To begin with, in Section 24 of this opus, Heidegger announces

3 Heidegger M. Building Dwelling Thinking // *Basic Writings*. Ed. by D.F. Krell. London: Routledge, 1978. P. 359.

a program for treating the stages of conceptualizing spatial relations within the scope of existential analytic. It is the program of investigating the «existential genesis» of the main geometrical concepts of space. Heidegger states:

> «When space is intuited formally, the pure possibilities of spatial relations are discovered. Here one may go through a series of stages in laying bare pure homogeneous space, passing from the pure morphology of spatial shapes to *analysis situs* and finally to the purely metrical science of space»[4].

Immediately after outlining the sketch of this investigation, Heidegger declares that it will not be undertaken in the present book. Yet the study of the existential genesis of mathematical space is by no means a «side-program» within the scope of fundamental ontology. Searching for this genesis is *sine qua non* for overcoming that hypostatization of mathematical space which characterizes the ontological approach to the world as *res extensa*. Thus considered, it is a prerequisite for destructing the «ontology of presence» (*Vorhandenheitsontologie*). Not by accident in *Being and Time* the a nnounced sketch of the program supervenes on the hermeneutic critique of the Cartesian conception of the world.

To be sure, there is an important «mathematical aspect» in Heidegger's sketch. Obviously, what he has in mind in stressing the «series of stages» is a kind of Felix Klein's hierarchy of geometrical spaces. Heidegger believes that by addressing the problematic of spatiality of circumspective manipulation within-the-world from the viewpoint of the role played by existential analytic as a kind of (phenomenological) constitutional analysis of meaning, one would give an account of changes in the pre-scientific articulation of spatial contexts of routine practices leading to the need of conceptualizing and formalizing space. Though guided by different interpretations of the ontological difference the scenarios of the «space» origin are converging in several respects. In *Being and Time* scenario there is a continuity between the existential spatiality and all mathematical spaces (regardless their degree of idealization and formalization). By the same token the scenario of *Building Dwelling Thinking* states that there is no kind of «space» that is not genealogically related to spaces whose locales make room for the fourfold. There is also a significant kinship between existential spatiality and dwelling-spaces. In saying this, now I would like to pay more attention to the way Heidegger approaches the derivability of space's formalized concepts from the spatiality of being-in-the-world and the spatiality of making room.

Tentatively speaking, in *Being and Time* spatiality is a «secondary» existentiale grounded upon the primary attributes of Dasein's care – interpretative understanding, discourse, state-of-mind, and fall. As a constant process of making room within-the-world, spatiality is always temporalized, i.e. there is no spatiality beyond the horizon of tempo-

---

4 Heidegger M. *Being and Time* / Trans. from German by J. Macquarrie, E. Robinson. San Francisco: Harper, 1962. P. 147.

rality. Thus, spatiality is always interpretatively understood, expressed within a configuration of discursive practices and by means of a certain discursive genre, thrown in the average everydayness, and temporalized. At the same time, one might speak of the «spatiality of understanding», «attuned spatiality», «spatiality of discourse», and «spatiality of falling», all of them being distinguished by concomitant kinds of temporalizing of temporality. What gets temporalized is the ways of making room for a meaningful articulation of the world. A case in point here is the way of making room for anticipation that indicates Dasein's ownmost potentiality-for-being, or the way in which the «authentic future» is winning itself from the «inauthentic future». In addressing this issue, Heidegger makes the case that the way of making room for anticipation (as opposed to awaiting of inauthentic future) constitutes the spatiality of resolute existence. To be sure, however, the problematic of this spatiality has little to do with the issues of the afore-mentioned program for treating the stages of mathematical conceptualization of spatial relations. What is significant for the latter is that the spatiality of being-in-the-world privileges various directions of circumspective manipulation. The pre-scientific images of space reflect these privileged directions. By implication, the «oriented space» of routine everydayness is essentially anisotropic. The most important step on the way to geometrical concepts of space is the change of anisotropic images in isotropic constructions.

The «series of stages in laying bare pure homogeneous space» Heidegger refers to is to be continued by another series distinguished by moves from one to another formally codified spaces, i. e. from one to another group of transformations, each of which determining a class of possible spatial objects one can construct in the framework of a certain geometry. Accordingly, such a group defines criteria of existence of spatial objects as characterized by invariant (with respect to the algebraic transformations) properties. Thus, only some very general properties (such as sidedness, insideness, outsideness, and all «connectivity properties») can be identified as invariant under the most extended group of topological transformations. If one is in need of a stronger idealization (formalization) of the concept of space, one has to restrict the topological transformations (as defining the morphology of spatial shapes), specifying thereby the group of projective transformations. The latter do not preserve sizes or angels. Yet the relations of incidence and cross-ratio remain invariant under this group. In a next move one arrives at the transformations of affine geometry which in contrast to projective transformations preserve the property of parallelism. Under this new group the properties of the homographic spatial objects are invariant. (Roughly speaking, Klein's celebrated program is an attempt to characterize geometries on the basis of projective transformations and group theory. On the basic assumption of this program, the more one is progressively restricting the range of transformations, the greater is the enrichment with regard to specific spatial objects. In other words the less of the properties remain invariant under the respective group, the greater is the number of particular geometrical objects.)

Heidegger believes that the most extended group of algebraic transformations of geometrical relations has a genesis from contexts of spatializing within the circumspective manipulation of the everyday being-in-the-world, while the more restricted groups (including those of Euclidean geometry and metrical geometry that conserves the property of distance) are arising out through enhancing already existing geometrical idealizations. According to him, the homogeneous (topological) spaces as expressed by continuous transformations which bring new points into a one-one correspondence with the old points are closest to the pre-scientific image of space (as generated immediately by the «existential spatiality» within-the-world). The topological transformations not only preserve spatial properties of objects which are under continuous deformations, but they also keep intact to a certain extent the idea of «place» or «locality» (as basic moment of the spatiality of circumspective manipulation). It is another question that localities in the spatiality of circumspective comportment within-the-world are related to an anisotropic heterogeneity of spatial relations that is incompatible with space's homogeneity implied by the topological transformations.

The intended program of searching for an existential genesis of geometrical space is to be placed in the context of Heidegger's existential interpretation of science. Yet the program (as sketched out in Section 24) differs essentially from the existential conception of science (as developed in Section 69). The program admits that the metric space stems out of the spatiality of circumspective manipulation, or the spatiality that belongs to the ecstatic unity of Dasein with what is ready-to-hand within-the-world. Metric space is a cognitive structure that becomes possible when the ecstatic unity is replaced by an epistemic distance between knowing subject and objective reality. A particular aspect of the way this structure gets established consists in transforming the «locations» of things that are ready-to-hand in everyday practices into «world-points» which are released from specific «environmental confinements». The existential environment becomes a homogeneous space. It can be detached from Dasein's concernful circumspection, and analyzed with regard to its own properties that are independent of the ecstatic existence within-the-world. The independence itself is «guaranteed» by the group of transformation that preserves the invariance of space's basic properties. Put differently, the projection of an abstract mathematical structure allows one to disentangle space from the spatiality of Dasein's everyday being-in-the-world. Yet before this projection takes place, there is a «tendency» in everyday mode of being-in-the-world towards objectifying whole regions of entities present-at-hand. (An outcome of this tendency is the plurality of pre-scientific images of space stressing various asymmetries and anisotropic features.) The projection of mathematical structure (group of transformations) is not to be isolated from an interrelatedness of practices that articulate context and environments. The projection of a structure that objectifies the homogeneous space has always its existential genesis within the contextualized dealings with what is ready-to-hand.

In scrutinizing the origin of the theoretical attitude out of circumspection, Heidegger observes that by committing to such an attitude one overlooks not only the tool-character of what is ready-to-hand within-the-world, but also something that is inherent in ready-to-hand equipment – its place. The contextual location of a tool becomes a matter of indifference whereby a manifold of spatio-temporal positions begins to take shape. The theoretical attitude requires a formal closure of the manifold with regard to some invariant structure. The «mathematical projection» of such a structure – so Heidegger's argument goes – transforms the manifold of spatio-temporal positions into a formally codified space. What is decisive in the mathematical projection is that this projection discloses something that is a priori for theoretical idealizations about empirical phenomena. In other words, the mathematical codification of space discloses at the same time a possible domain of empirical theorizing. To reiterate, Heidegger never attempted to carry out the program of the existential genesis of geometrical spaces out of the spatiality of circumspective manipulation within-the-world. Why?

I mentioned that there is an essential difference between the genesis of mathematical space as addressed in the existential conception of science and the program of the transition from existential spatiality to geometrical spaces. In contrast to the continuity between existential spatiality and the stages of formalizing the concept of isotropic space, the existential conception of science concedes that there is an ineluctable discontinuity. The mathematical space is an outcome of the «mathematical projection of the world». The former depends entirely on the structure of the latter. Hence, the analytics of existential spatiality has nothing to do with the formation of science's concepts of space. Just as the science's existential genesis the formation of these concepts requires an analysis carried out exclusively in terms of the theory of ecstatic temporality. If this genesis is to be addressed also in terms of the theory of ek-static spatiality, then spatiality must be regarded as a primary existentiale. This is what the author of *Being and Time* cannot accept. In other words, the existential conception of science provides an additional argument for the claim that spatiality is not only a secondary exitentiale, but it is (in principle) derivable from temporality. The program of the existential genesis of geometrical spaces out of the spatiality of circumspective manipulation within-the-world remains unfulfilled for it is in conflict with that claim.

In the remainder I will pick up the thread of Arisaka[5] and Casey[6] who, based upon Heidegger's confession (in 1962 lecture *Time and Being*) that the attempt to derive human spatiality from temporality is untenable, are trying to defend the status of spatiality as primary existentiale. Arisaka[7] argues, in particular, that the relationship between

---

5 Arisaka Y. Spatiality, Temporality, and the Problem of Foundation in Being and Time // *Philosophy Today*. 1996. № 40/1. P. 36–46.

6 Casey E. *The Fate of Place.* Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 1997. P. 243–284.

7 Arisaka, op. cit., p. 37.

temporality and spatiality has to be spelled out as an equiprimordial and not as a foundational one. The equiprimordiality of both existentiales implies interdependence between temporality and spatiality. Casey[8] goes further in asserting that

> «the dogmatic restriction of *Platz* and *Gegend* to the instrumental world and of *Raum* to the scientific world closes dawn on their scope within the existential analytic of Dasein».

What does it mean to consider ek-static spatiality as a primary existentiale? Trying to answer this question I will concentrate my attention on the types of spatiality Heidegger differentiates in the existential analytics.

Dasein's temporalized spatiality is not to be detached from the way of conceiving the world as a horizon that temporalizes itself in temporality. In advocating this claim, Heidegger distinguishes between the «spatiality of the ready-to-hand within-the-world» and the «spatiality of being-in-the-world». The former is the closeness of utensils and equipment that Dasein implements in the circumspective manipulation within-the-world. This spatiality is a function of the closeness' self-regulation in the ongoing articulation of contexts of equipment (*Zeug-zusammenhänge*). Closeness expresses the contextual being of a utensil or equipment. (The rationale for speaking that closeness regulates itself is provided by the very nature of the worldhood of the world. Changing connections among contexts of equipment correspond to the changing configurations of practices within the world. It is the changeability of both, configurations and contexts that provokes variability of the spatial locations of tools and equipment employed in circumspective manipulation.)

Heidegger attributes the «production of closeness» to the trans-subjective totality of interrelated practices and contexts of equipment. This production is irreducible to a purely subjective behavior. Furthermore, closeness is a function of the contextual involvements of a tool or equipment that is ready-to-hand in circumspective manipulation. Obviously, closeness cannot be measured objectively, since it is the circumspective manipulation within a context of equipment that ascertains whether the utensil is enough «to hand». What gets ascertained is the place of the utensil within this context. Because spatiality is a complexity of contexts and environments that does not display characteristics of a dimensional space, the contextual place of a tool is not reducible to a position in a mathematical manifold of positions. By the same token, closeness or remoteness of a tool in a particular environment cannot be equated with a distance which is a purely geometrical notion applicable solely to metric spaces. Heidegger insists on the fact that closeness and remoteness are not measurable variables. They are entirely dependent on the contextuality of circumspective manipulation. (Remoteness and closeness are qualitative features of Dasein's circumspective thrownness in everyday

8 Casey, op. cit., p. 254.

practices. Relativity effects of spatiality belong to this thrownness. In this regard, Heidegger[9] provides the following illustration:

> «When a man wears a pair of spectacles which are so close to him distantially that they are 'sitting on his nose', they are environmentally more remote from him than the picture on the opposite wall. Such equipment has so little closeness that often it is proximally quite impossible to find. Equipment for seeing – and likewise for hearing, such as the telephone receiver – has what we have designated as the inconspicuousness of the proximally ready-to-hand».

Generally speaking, the relativity effects are due to the discordance between contextualizing a utensil for reaching a purpose and grasping the outcome of that contextualization as an actualized possibility.) Heidegger defines a context of equipment as a multiplicity of places which are not statically present-at-hand, but depend on the definite «here» and «yonder» that accompany the dealings taking place in the context. This is why the places that are circumspectively interpreted within a context of equipment are not to be catalogued by procedures that objectify space as a mathematical structure.

Roughly speaking, in introducing the «spatiality of being-in-the-world», Heidegger is willing to demonstrate that there is a higher degree of spatiality's «ontological autonomy» from the readiness-to-hand. This type of spatiality characterizes the situatedness of the «circumspection of concern» in a world that is always already transcendent rather than what is going on within-the-world circumspectively. Dasein is dealing with readiness-to-hand – so Heidegger's argument goes – with familiarity just because this spatial dealing takes place «in» the world that transcends (as an open horizon) all particular contexts of equipment. It is the «transcendence of the world» that launches the spatiality of being-in-the-world. (The example Heidegger provides with regard to the above-mentioned «ontological autonomy» is the left-right-directionality. Left and right are not something entirely dependent on Dasein's concernful circumspection. They are directions of the directedness into a world that because of its horizonality is always already transcendent. Thus considered, left and right are directions of the spatiality that belong to the «transcendence of the world».)

The difference between both types of spatiality reflects to a certain extent the ontico-ontological difference since the spatiality of the ready-to-hand within-the-world can be established by a purely «ontic observation» whereas the spatiality of being-in-the-world requires an ontological reflection upon the transcendence of the world. In this regard, Heidegger goes on to lay the claim that the spatiality of being-in-the-world (as related to the transcendence of the world) provides the ontic possibility of Dasein's environmental encountering of the readiness-to-hand. (This spatiality is generated by the «worldhood of the world». But there is a worldhood because the world is transcendent.) I use the ex-

9 Heidegger, *Being and Time*, op. cit., p.141.

pression of «existential spatiality» for designating the dynamic unity of both types of spatiality in the process of meaning constitution.

There is also another way in which both types of spatiality (or aspects of existential spatiality) are to be differentiated. Since the spatiality of being-in-the-world gets constituted by means of the way the world is transcending all kinds of subjectivity (including the inter-subjectivity of being-with-one-another), one should ascribe to this spatiality a sort of trans-subjectivity that is irreducible to the inter-subjectivity. By contrast, the spatiality of ready-to-hand within-the-world is only a characteristic of being-with-one-another because it is generated by the inter-subjective articulation of relatively closed environments. (I am using the expression of a «relatively closed environment» as a translation of what Heidegger calls *Gegend*.) Thus, the opposition between trans-subjectivity and inter-subjectivity plays an important role in elucidating the difference between both types of spatiality.

In existential analytics the notion of «making room» is assigned to render possible the dynamic unity of types. Making room (spatializing) within-the-world consists in releasing the ready-to-hand for its possible contexts and relatively closed environments. Making room is constantly accompanying the constitution of meaning as ongoing appropriation of possibilities. Put differently, there is no interpretative articulation without spatializing. Furthermore, one can state that in each context of equipment Dasein is making room for a leeway of possibilities that can be actualized. At the same time these are possibilities projected as a horizon by the same configuration of practices that discloses a particular environment of interwoven contexts of equipment. As an existentiale making room belongs to both the contextual spatiality of manipulating the ready-to-hand and the spatiality that is called into being and established by the transcendence of the world. Only by making room for entities within-the-world one is able to encounter a totality of spatial involvements of these entities that can be made accessible for cognition.

From the viewpoint of the transcendental position advocated in *Being and Time*, space becomes accessible for cognition and is constituted as a possible object because the contextual making room belongs at once to the circumspective manipulation and to the transcendence of the world, i.e. it belongs at once to the ontic availability of what gets spatialized and to the transcendental condition of having such an availability in the world. All «entities» (including space) that are disclosed in the world by Dasein's circumspective being-in-the-world can be made under certain conditions possible objects of knowledge. This is why the possibility of space as an entity that can be thematically objectified is laid bare not within the epistemic subject-object relation: *Space is not in the subject, nor is the world in space*. In stressing the pre-epistemological origin of space, Heidegger[10] indicates several lines of developing this claim. On his account, the possibility of objectifying space depends on the changeability of the circumspective deliberation inherent in making

[10] Heidegger, *Being and Time*, op. cit., p. 146.

room within-the-world in an attitude of de-contextualizing spatial relations (of contextual involvements) whereby the latter become relations of positions in a mathematically expressible manifold.

Let me note again that according to Heidegger, there are concepts of space (both in Dasein's average everydayness and in doing research guided by a theoretical attitude) just because the interpretative appropriation of possibilities within-the-world is constantly making room, uniting thereby the spatiality of circumspective manipulation and the spatiality of being-in-the-world. Heidegger's hermeneutic phenomenology shows the ubiquity of the existentiale of making room. There is no scheme of ecstatic temporality without a specific regime of making room (a regime of spatializing that accompanies a certain kind of temporalizing). This is why in *Being and Time* there is a section devoted to «the temporality of the spatiality». Its task is to outline the integrity of «Dasein's spatio-temporal character». More specifically, Heidegger tries in this section to address (though superficially) the problematic of how the modalities of temporalizing get (necessarily) complemented by modalities of spatializing whereby in each «chrono-topos» one is making room for one's leeway. In extrapolating issues of this problematic one might go on to develop a sort of chrono-topology in terms of existential analytics.

In fact, this is the idea that is already exploited in existential psychiatry. The point here is that each state of temporalizing-spatialing within the world (including the psychopathological states) constitutes a heterogeneity of spatial relations that leads to a peculiar image of an anisotropic space. The constitution of meaning within routine everydayness accentuates always certain directionalities, loading thereby its outcome – the «oriented and directed meaning» – with specific values. The «axiological structure» of the oriented (and attuned) spaces is precisely what gets lost in the transition to homogeneous space.

The existential spatiality upon which the uncovering of space within-the-world is founded is characterized by two «parameters» of de-severance (*Ent-fernung*) and directionality (*Ausrichtung*). More specifically, Dasein's making room for its own leeway of actualized possibilities is constituted by directionality and de-severance. The former is not to be confused with the notion of vector that is only definable in a mathematical space. In its «deliberative circumspection» Dasein manages to eliminate the farness of what is ready-to-hand to it. By contextualizing the utensils in the everyday dealing within-the-world, Dasein creates constantly de-severance. In other words, the delineation of a particular context of equipment brings to the fore a kind of de-severance. This is why Heidegger goes on to assert that Dasein is essentially de-severant, i. e. Dasein is making the farness vanish by putting utensils in readiness. Consequently, in Dasein's primordial mode of being-in-the-world an «essential tendency towards closeness» takes place. The «morphology» of existential spatiality is defined by «circumspective concern» which decides as to the closeness and farness of what is proximally ready-to-hand environmentally.

Directionality is a characteristic of circumspective concern which is de-severing. By means of it in this concern a «supply of signs» for «whithers» to which something belongs or goes, or gets brought or fetched is coming into being. Making room within a configuration of practices through appropriating and actualizing possibilities is temporalized since it is a directional awaiting of a relatively autonomous environment. Thus, temporalized directionality of dealing with the ready-to-hand is a prerequisite for articulating the world in environments. Finally, out of the temporalized directionality of making room the fixed directions of right and left are arising. Like de-severance, directionality of making room is mediating between the spatiality of readiness-to-hand and the spatiality of being-in-the-world. The former contains only contingent and occasional directions of near and remote directions, while the latter is stabilizing and privileging directions like up and down of vertical axis, right and left, before and behind of horizontal plane, and so on. The images of «oriented space» are called into life thanks to privileged directions in the constitution of meaning through actualizing possibilities. These are images that help to identify «great» and «small» as well-defined, qualitatively different sizes.

In conclusion I would like to indicate a task that still has a philosophical actuality. In order to treat spatiality as a primary existentiale that is equiprimordial with temporality one has developed a theory of the «spatializing of spatiality» in analogy with the temporalizing of temporality. Heidegger's term for contextual spatializing within-the-world is «making room». Yet the latter is by no means spatializing of spatiality. The extension of the existentiale of making room as spatializing of spatiality amounts to figuring out the ecstatic schemes of spatiality. Presumably, these should be the schemes of spatiality of understanding, attuned spatiality, spatiality of discourse, and spatiality of falling.

References

Arisaka Y. (1996) Spatiality, Temporality, and the Problem of Foundation in Being and Time, *Philosophy Today*, 40/1, pp. 36–46.

Casey E. (1997) *The Fate of Place*, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.

Heidegger M. (1962) *Being and Time*, trans. J. Macquarrie, E. Robinson. San Francisco: Harper.

Heidegger M. (1978) Building Dwelling Thinking. In: D.F. Krell (ed.) *Basic Writings*, London: Routledge, 1978, pp. 343–364.

ДИСЦИПЛИНИРУЯ ПОСТСОВЕТСКОЕ ТЕЛО ГОРОДА: «ОГРАДЫ» И «МОСТЫ» ПУБЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА

Анна Широканова, Александра Яцык[1]

Abstract

The article addresses post-Soviet transformation of urban public space as part of the society's public sphere. Drawing from an actor-network theory and concepts of social production of space (Lefebvre, de Certeau) and territorial production (Kärrholm), the authors analyze the transformations of public places in Minsk, Vilnius and Kazan. The focus of the study is the idea of «fence» as a means of regulating a city's symbolic – and public space. The article argues that the use of barriers and, notably, bodies as barriers has led to developing a specific set of strategies of «disciplining» of the public sphere and practices of resisting them in post-Soviet cities.

Keywords: post-Soviet public space, fence, post-socialist city, territorial production.

Нахождение в пространствах города очевидным образом обращает нас к проблеме порядка, его установления, восприятия, нарушения и изменения. Ограды – материальные либо символические – служат воплощением порядка. Сегрегируя и исключая, они разделяют общее коммуникативное тело города на множественные потоки и направляют их. Однако что означают эти границы в современном постсоветском городе? Как вписаны они в логику постмодерной капиталистической эстетики наблюдения и дистанции? Как возможно их преодоление и как осуществляются переходы между ними?

Статья является попыткой ответить на эти вопросы сквозь призму изучения постсоветской трансформации пространства в трёх столицах: Вильнюсе, Минске и Казани[2]. Мы

---

1 Анна Широканова – магистр социологических наук, преподаватель кафедры социальной коммуникации Белорусского государственного университета (г. Минск, Беларусь).
Александра Яцык – кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры социологии, политологии и менеджмента Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева (г. Казань, Российская Федерация).

2 Казань является столицей Татарстана – субъекта Российской Федерации, в 1994–2007 гг. – с расширенными политическими полномочиями (договор «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан»).

называем этот транзит «постсоциалистическим»[3]; фокус нашего внимания направлен на то, как формирующиеся в этот период новые режимы дисциплинирования *публичного* присваиваются в повседневных практиках городских жителей через создание собственных маршрутов и «избегание контроля» (де Серто). Эмпирическую базу исследования составили различные нормативные документы постсоветского периода, регламентирующие жизнь этих трёх городов, – *Генеральные планы*, *Концепции*, *Стратегии развития,* реестры переименованных улиц, отдельные муниципальные программы; официальные и неофициальные интернет-источники и медиа-издания, в которых обсуждаются проблемы трансформации городского пространства; мнения экспертов и «простых» жителей, а также непосредственное наблюдение авторами случаев повседневного проявления/ограничения публичного в городе: в зашторивании окон, сидении на траве или протестных акциях – на площадях, улицах и в скверах, перед правительственными и ведомственными учреждениями. Не ставя перед собой задачу всеобъемлющего описания и объяснения происходящих в наших городах процессов, мы хотели бы увидеть не столько то специфическое или то общее, что могло бы быть типизировано как режимы постсоциалистического дисциплинирования, сколько возможности для повседневного преодоления этих границ, визуализируемые ресурсы «социального (демократического?) воображения».[4]

Порядки города: настройка оптики

Как живёт современный город? По мнению теоретиков урбанизма, рассуждения о его жизни плохо укладываются в прежний концепт социопространственной системы с жёсткими границами и чёткими структурами.[5] Города сегодня видятся скорее агломерацией потоков глобальных и локальных взаимодействий[6], гетерогенными полями, нежели единым целым. Их физические и символические границы мобильны, изменчивы и ситуативны, а вопросы о сохранении сообществ, поддержании локальных порядков, публичности и приватности получают новую окраску, сталкиваясь с необходимостью объяснения возникающих в социальной ткани множе-

---

3 Andrusz G., Harloe M., Szelenyi I. (eds.) *Cities after socialism: urban and regional change and conflict in post-socialist societies.* Oxford; Cambridge, Mass., USA: Blackwell, 1996.

4 Фурс В. Введение. Трансформации публичности и постсоветская ситуация // М. Соколова, В. Фурс (ред.) П*остсоветская публичность: Беларусь, Украина. Вильнюс*: ЕГУ, 2008. С. 14; Трубина Е. «Чей это город?» Визуальная риторика демократии в представлениях горожан // Н. Милериус, Б. Коуп (ред.) *P. S. Ландшафты: оптики городских исследований.* Вильнюс: ЕГУ, 2008. С. 354–378.

5 Амин Э., Трифт Н. Внятность повседневного города // *Логос*. 2002. № 3(34). [Электронный ресурс] Точка доступа: http://magazines.russ.ru/logos/2002/3/amin.html. Дата доступа: 30.03.2010 г.

6 Ritzer G. *Globalization of Nothing.* Newbury Park, CA, 2004. P. 166–188.

ства новых, гибридных форм.[7] Именно город является средоточием того, что по отношению к прежнему режиму социальности выражается через «не»: не-мест, не-людей, не-вещей, не-услуг[8], – представляющих новый для постсоциалистических городов порядок и делающих приметы капитализма предметом восхищения. В этих новых взаимодействиях люди занимают вовсе не единственное место. Нечеловеческие актанты (Б. Латур): знаки, светофоры, камеры наблюдения, банкоматы, тротуары, стены, заборы и здания – оказываются неотъемлемой частью производства социальных ритмов и структурирования городского пространства.[9] В именовании маршрутов, прокладываемых горожанами с их помощью (и вопреки их влиянию), город становится узнаваемым и наделяется памятью.[10]

Память о городе – это память «места»; она всегда окрашена территориально, даже будучи лишённой материального воплощения. «Места» в городе – продукт социальный, результат совместного действия по территориализации некоего пространства различных актантов: людей, правил поведения, артефактов.[11] В этом смысле территориальность можно понимать как особый род власти, использующей пространства как ресурс.[12]

Постоянное (вос)производство территорий и их [материальных] границ, проявляющее порядки современного города, отражается в планах, стратегиях, ментальных картах и повседневном взаимодействии горожан. В своей совокупности и пересечениях друг с другом они образуют порядок символический, всегда подразумевающий разделение на тех, кто наделён правом «именования и кодификации», и тех, кто его не имеет.[13] Основанное на кодификации символическое насилие пронизывает повседневную жизнь, принимая вид легитимации, которая одновременно и «неузнаваема», и признаваема легитимной.[14]

В городском пространстве операция кодификации может быть понята как право именования границ территорий и установления неявного контроля над ними через формы *территориального производства*. Так, М. Шерхольм разделяет формы, связанные с намеренными попытками маркировать или ограничить территорию (*территориальные стратегии и тактики*), и формы, где

---

7 Merriman P. Driving Places: Marc Augé, Non-Places, and the Geographies of England's M1 Motorway // *Theory, Culture & Society*. 2004. Vol. 21(4/5). P. 145–167; Sheller M., Urry J. Mobile Transformations of 'Public' and 'Private' Life // *Theory, Culture& Society*. 2003. Vol. 20(3). P. 107–125.

8 Ritzer, op. cit.

9 Kärrholm M. A Conceptual Discussion of Territoriality, Materiality, and the Everyday Life of Public Space // *Space and Culture*. 2007. Nov. Vol. 10, № 4. P. 439–440.

10 Амин, Трифт, указ. соч., с. 18.

11 Kärrholm, op. cit., p. 440.

12 Ibid., p. 439.

13 Бурдье П. *Начала*. М., 1994. С. 133.

14 Thompson J.B. Editor's Introduction // Bourdieu P. *Language and symbolic power.* Polity press, 1991. P. 23.

производство осуществляется через использование городских вещей (*территориальные ассоциации и апроприации*).[15] Территориальные стратегии воспроизводят безличный контроль посредством вещей и правил, дистанцированных от своих создателей, а тактики, наоборот, возникают как личное взаимодействие с местом и являются частью текущей повседневности. В свою очередь территориальные ассоциации и апроприации связаны с неинтенциональным взаимодействием с территорией среди «банальности» повседневных действий (в лефевровском смысле). Территориальная апроприация производит территории через систематическое, повторяющееся использование места как «собственного» человеком или группой, а территориальные ассоциации производят места как специфические конвенции и регулярности, формирующие определённую сторону их функциональности. В этом смысле *территориальную власть* можно понимать как различные комбинации этих форм производств пространства, которые могут проявляться в одном и том же месте, а возникающие в данном месте *порядки* – как дисциплинарные действия власти по стабилизации *тела* города как сетевого взаимодействия правил и регуляций, границ, территорий, стен, з*а*мков, тротуаров, норм поведения.[16]

В приложении к пространству города очень важно понятие общественного – не принадлежащего никому конкретно, но находящегося под всеобщей заботой.[17] Таким образом очерчивается круг вещей, за которые горожане готовы нести ответственность. Публичные места – площади, рынки, улицы, городские объекты – места столкновения и взаимодействия множественных городских нарративов и дисциплинарных практик, которые переходят в различные режимы благодаря «мостам» и «оградам». Противостояние нарративов, включающее оспаривание права на название и использование городских объектов[18], выражается через выстраивание «оград», как неживых (от бордюров и ограждений до планирования улиц города), так и живых (люди, собравшиеся на митинг, выстроившиеся в колонне демонстрации). Столкновение и воплощение «оград» представляет собой конфликт различных способов территориального производства. «Мосты» возникают в ситуации совпадения значений различных городских нарративов в проявлении заботы о каком-либо городском объекте как «общем деле». В свою очередь, отказ от заботы, тотальное её делегирование отчуждают жителей города от той реальности, в которой проходит их повседневность и утверждаются фоновые практики и оптики.

15 Kärrholm, op. cit., p. 441–443.
16 Ibid., p. 443.
17 Habermas J. The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964) // *New German Critique*. 1974. № 3. P. 49.
18 Shirokanova A. Making Sense of the Post-Soviet Capital: Politics of Identity in the City of Minsk // *The Anthropology of East Europe Review*. 2010. Vol. 28, № 1. P. 355–387.

Постсоветский город, переживший со сменой политических режимов разрыв социальной памяти, характеризуется разорванностью нарративов социальных групп и конфликтностью восприятия публичного пространства. В радикальной ситуации, когда различные нарративы соединяет только физическая данность города, можно говорить о «расщеплённом» городе, проживаемом как разные города неравными по власти группами людей. Более того, выраженное расщеплённое сознание, последовательно разделяющее публичное и приватное, создаёт автономную «теневую социальность»[19], в результате чего отмирает сам город как особый дискурс.

Взгляд на публичное в городе как на результат разнонаправленных территориальных производств, как на процесс их стабилизации в качестве сети позволяет, перефразируя Лефевра, «не объяснять власть самой властью»[20] в том смысле, что процесс дисциплинирования здесь может пониматься не линейно-векторно, а как властный ландшафт. В этом случае наш взгляд сфокусирован на исследовании не пространства внутри границ публичного, а на самих этих границах, их установлении – что кажется гораздо более адекватным современному устройству городов, постсоциалистических в частности.

Движущаяся структура постсоциалистической публичности: случай трёх столиц

Социетальный коллапс 1990-х гг. и последовавшие за ним радикальные социальные трансформации подразумевали также и поиск ориентиров в дисциплинировании складывающихся новых (и остающихся старых) структур «бывшего социалистического» города. На уровне культурных нарративов это означало необходимость выстраивания видения собственного места в расширившемся мире социальных взаимодействий и вещей, что нашло своё материальное отражение в значительной модификации постсоциалистического городского тела. Эти трансформации особенно заметны в городах, приобретших в постсоветский период статус столиц и потому вынужденных приспосабливаться к новым условиям более интенсивно. В этом смысле особый интерес для нас представляют случаи подобного «приспособления» трёх таких разных по своим характеристикам городов, как Минск, Вильнюс и Казань, – городов, имеющих в своём развитии общее социалистическое прошлое и, на первый взгляд, отличное настоящее. Городским локусом, концентрирующим данные различия, может служить состояние публичного не только как индикатор освоения пространства города жителями как «своего» (где можно «не только смотреть и пользоваться, но создавать и решать»), но и как показатель степени самооргани-

---

19 *Постсоветская публичность: Беларусь, Украина.* Вильнюс: ЕГУ, 2008. С. 17–18.

20 Kärrholm, op. cit., p. 443.

зации и развития городского сообщества в эпоху гетерогенности городской среды и всеобщей ориентации на благосостояние.[21]

В самом общем смысле *публичное пространство* можно определить как место соприсутствия незнакомцев, пространство межперсональной сферы социальности, доступное разным типам социальных групп и разным видам активности.[22] Именно (не)доступность этого пространства оказывается тем маркером, который обозначает его границы[23], а смысл этого ограничения связан с выстраиванием взаимодействия сферы гражданских интересов и государства (власти). Постсоциалистические города в этом смысле, несомненно, представляют особый случай. Объединённые не столько предопределённостью, сколько общностью недавней предыстории общественного развития[24] и долговременным влиянием синхронизирующего советского дискурса[25], в своём новом настоящем они вынуждены считаться и с общим советским «наследием»: быстрой урбанизацией, советской застройкой и планом города, советской организацией общественной жизни. Чем больше проявлялись эти черты, тем сильнее они врезались в идентичность города, становились его неотъемлемой частью, а значит, продолжались в постсоветском настоящем.

Вильнюс, который по времени меньше Казани и Минска находился в составе СССР, был самым «несоветским» по образу мыслей и логике действий его жителей. В советские времена он казался райским уголком свободомыслия. Не последнюю роль в этом сыграл сам город, его каменное «лицо»: в домах начала XX века, в закрытых дворах-колодцах, на узких мощёных улицах плохо укладывался пространственный советский дискурс, требовавший проспектов и колонн с транспарантами, прямой перспективы и открытости городских территорий. Советская урбанизация значительно расширила Вильнюс, но не затронула Старый город.

Минск был почти полностью перестроен уже после войны. Быстрый рост города и стремительная модернизация придали ему современный облик. Прямые улицы, прорубленные на месте улочек, уничтоженных войной, помогали советскому дискурсу встраиваться и по-новому выстраивать пространство города так, чтобы уже не было углов, скрытых от наблюдения.[26] От довоенной мультиэтничной гетерогенности через некоторое время остались,

---

21 Бон Т.Н. «Социалистический город» или «европейский город»: урбанизация и рурализация в Восточной Европе // *Российская история*. 2009. № 1. С. 69.

22 Kärrholm, op. cit., p. 446.

23 Sheller, Urry, op. cit., p. 10.

24 Фурс, указ. соч., с. 16.

25 Милериус Н. *Синхронизация и десинхронизация настоящего и прошлого на советском и постсоветском пространствах* // Милериус, Коуп (ред.), указ. соч., с. 37–62.

26 Трубина Е. Видимое и невидимое в повседневности городов // П. Романов, Е. Ярская-Смирнова (ред.) *Визуальная антропология: городские карты памяти*. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2009. С. 35.

в основном, воспоминания жителей и отдельные строения. Современный Минск обязан советскому строю как своим внешним видом, так и своим обновлением[27]; он не только воспринял советскую логику выстраивания пространства – он стал ею.

Для Казани, напротив, ресурс (мульти)этничности явился главным в позиционировании в постсоветском пространстве. Удачно избежав эскалации разгоравшихся в 1990-е гг. националистических настроений, Казань сумела занять на тот момент двойственную внутри России позицию (в отличие от Чечни – мирную) – как субъект Российской Федерации, имеющий свою конституцию, президента, госдуму и министров. Сыграв во время войны роль форпоста эвакуированных из «центров» науки и промышленности и не испытав опыта военного разрушения и оккупации, Казань менее болезненно воспринимала советское прошлое и не спешила, в отличие от Вильнюса, расставаться с его напоминаниями. Центральная улица – имени Ленина – была переименована только в 1996 году, а скульптура вождя мирового пролетариата стоит на главной площади города и по сей день.

Массовый переворот в топонимике городских улиц, отражавших советскую символику, произошёл в 2005 г., когда Казань праздновала своё официальное тысячелетие. Материализовавшимся символом её постсоветских амбиций явилась «самая большая в Европе» мечеть Кул-Шариф. Размещённая внутри старинных стен кремлёвского комплекса, она стала новой визуальной доминантой города, глянцевым китчем, вызвавшим множественные нарекания со стороны горожан за свою неуместность и олицетворившим новый агрессивный стиль капитализирующейся Казани. Однако более симптоматичным признаком постсоциалистической трансформации стало последовательное уничтожение исторического центра XIX – начала XX вв., пережившего трансформацию советскую, но не устоявшего перед капиталистической. Целые улицы старинных домов были стёрты с лица города, а его обитатели - переселены на окраины в совершенно новые для себя условия социокультурной реальности. Возникавшие же на их месте строения мгновенно обносились оградой, чётко маркируя территорию. Значимость физических оград-маркеров была вызвана, в том числе, и отсутствием на протяжении девяти лет общей градостроительной концепции в городе (срок Генерального плана Казани 1969 года истек в 2000-м, а следующий принят только в 2009 г.). Первые частные элитные дома, возникшие на месте бывших публичных пространств – пляжей и прибрежных зон в центре города, – своими высокими заборами и тонированными стеклами больше походили на крепости.

В Минске пик переименований также пришёлся на 2005 год. Ленин не исчез с площади Независимости, но в честь 60-летия Победы разом переименованы два главных проспекта. Как проспект Независимости и проспект Победителей, они стали в большей

---

27 Клінаў А. *Малая падарожная кніжка по Горадзе Сонца: Раман.* Мінск: Логвінаў, 2008. С. 107.

степени отражать встраиваемый порядок власти. В Вильнюсе же крупные переименования произошли сразу, в 1990–1991 гг. Снятие памятника Ленину явилось важным культурным событием, символическим актом[28], однако на его месте до сих пор ничего нет, и по этому поводу не прекращаются общественные дебаты. Новым зданием, манифестирующим власти Литвы, стал отстроенный к 2009 г. Королевский замок, почти легендарный, воссозданный по обрывочным сведениям.[29] Похожий «культовый» статус обрела и новая Национальная библиотека в Минске, построенная к 2004 г.

Эти примеры хорошо иллюстрируют, как в постсоветский период происходило выстраивание границ территорий – и приватизация публичного пространства в частности. Как показывает К. Станилов на материалах городов Восточной и Центральной Европы, включая Вильнюс, тенденции пространственного изменения городов были примерно одинаковы и представляли собой смесь дисциплинирующих паттернов социалистического наследия и постмодернистской капиталистической логики.[30] Очевидным образом сегодня это проявляется в стратегиях территориального производства – генеральных планах и программах развития исследуемых городов: при общей декларативной ориентации на базовый для современного (европейского, глобального) города концепт «устойчивого развития», предполагающий определённое осознание своего положения в пространственно-временном контексте[31], методики достижения этого состояния во многом остаются советскими. В результате, такие постсоветские проблемы развития, как деиндустриализация (пусть в меньшей мере, но всё же характерная и для Казани и Минска) и, как следствие, запустение огромных территорий, кардинальное развитие транспортных и туристических потоков, интенсивное освоение пригородных территорий, оказываются нерешёнными.[32]

С одной стороны, социалистическое публичное пространство приватизировалось сферой частных экономических интересов, маркируя пространства улиц, площадей, скверов и пустырей тор-

---

[28] Милериус, указ. соч., с. 57.

[29] В постсоветский период независимости в Вильнюсе также построен комплекс небоскребов вокруг площади Европы, однако данная застройка находится не в историческом центре города и манифестирует, на наш взгляд, скорее современную принадлежность страны к Европе, чем национальную независимость.

[30] Stanilov K. Taking stock of post-socialist urban development: A recapitulation // K. Stanilov (ed.) *The Post-Socialist City. Urban Form and Space Transformations in Central and Eastern Europe after Socialism.* Dordrecht: Springer, 2007. P. 9.

[31] Hofmeister S. Intermediate 'Time-spaces'. The rediscovery of transition in spatial planning and environmental planning// *Time & Society*. 2002. Vol. 11, № 1. P. 106.

[32] Дембич А.А., Давыдов В.А. Интегрированная модель разработки документов по управлению развитием территорий // *Известия КазГАСУ*. 2009. № 1(11). С. 47.

говыми киосками, летними кафе и рынками.[33] И когда прежде зашторенное окно квартиры в доме типичной советской застройки превращалось в стеклянную стену кафе (как, например, в Казани), грань между этими двумя мирами становилась практически невидимой. Тем не менее в постсоветских городах эта граница была очерчена намного более явно, нежели в западном городе, где доступность прохожим приватного пространства квартиры кажется обычным делом, не привлекающим особого внимания.[34] Джентрификация городского центра, в ряде случаев сопровождавшаяся созданием нового городского ландшафта (как в Казани), возросшей мобилизацией населения (более активной в Вильнюсе и менее выраженной в Казани и Минске) и связанной с этим увеличившейся загазованностью улиц, а также строительством торговых центров и моллов – «храмов» позднего капитализма, – значительно переконфигурировала общий вид постсоциалистического публичного пространства, вытеснив людей с улиц и парков в квазипубличные места потребления.[35]

С другой стороны, само городское тело как комплекс городских вещей, в идеале доступных для пользования каждому горожанину – начиная от пользования землёй и неосвоенными городскими пространствами и заканчивая инфраструктурой ЖКХ[36], – оказывалось вовлечено в приватизацию, главным актором которой выступала власть[37]. В этом смысле, несмотря на лозунги о доступности города для пользования всеми горожанами (так, в нынешней *Концепции развития Казани до 2015 года* приоритетной является программа «Город – для горожан»), восприятие самих жителей этого доступа к участию в «общем деле» совершенно обратное.[38] Жители не чув-

[33] Engel B. *Public Space and the «blue cities» of Russia* // Stanilov, op. cit., p. 292–293.

[34] Бикбов А. Москва/Париж: пространственные структуры и телесные схемы // *Логос*. 2002. № 3(34). [Электронный ресурс] Точка доступа: http://magazines.russ.ru/logos/2002/3/bikbov.html. Дата доступа: 30.03.2010 г.

[35] Stanilov K. *Democracy, markets, and public space in the transitional societies of Central and Eastern Europe* // Stanilov, op. cit., p. 271–274.

[36] Калачева О. Общие и общественные вещи современного города // *Неприкосновенный запас*. 2007. № 55. [Электронный ресурс] Точка доступа: http://www.intelros.ru/2007/12/23/olga_kalacheva_obshhie_i_obshhestvennye_veshhi_sovremennogo_goroda.html. Дата доступа: 30.03.2010 г.

[37] Kharkhordin O. *Commonality at Different Levels: Infrastructures of Liberty?* // [Электронный ресурс] Точка доступа: http://blogs.helsinki.fi/respublica/reassembling-res-publica-reform-of-infrastructure-in-post-soviet-russia/ Дата доступа: 30.03.2010 г.

[38] Tchouikina S. *The Thousandth Anniversary of Kazan as Common Good and Common Disaster.* Paper presented during the seminar: «Enhancing Democracy at the Local Level: Cross-Cultural Comparisons », International Seminar, European University at St. Petersburg. 12–13 May 2006. (Organizers: E. Ponarin, B. Zimmerman.) В целом, схожую картину показывают и результаты анализа студенческих эссе 2010 г. о публичных местах Казани, собранных А. Яцык.

ствуют себя в состоянии влиять на судьбу города. Показательным примером здесь может служить ситуация празднования тысячелетия Казани в 2005 году, когда власти попросили горожан уехать на это время из города.

Ещё одним красноречивым примером могут быть события в Казани и Минске, связанные со строительством объектов к предстоящему проведению в городах: Универсиады (Казань, 2013) и Чемпионата мира по хоккею (Минск, 2014), вызвавшие публичную дискуссию. В первом случае объекты должны строиться на неосвоенных берегах местных водоёмов – реки Казанки и озера Кабан, а также в городском парке, в местах, находящихся в центре города и до сих пор представляющих собой зоны отдыха для жителей. В Минске же предполагается «интенсивное освоение» и реконструкция значительных территорий в черте города, включая старый парк и усадьбу Лошица.

Дискурс «чистоты» и безопасности в городе и порождаемое им пространство гетерогенности («чистое»/«грязное», «порядок»/«беспорядок») могут быть поняты как значимый маркер стратегии территориального производства публичного, осуществляемого властью. В этом смысле знаменательна официальная программа «Минск – здоровый и чистый город!». При этом современный порядок прозрачности элиминирует всякую инаковость[39] и формулирует гражданскую активность как форму зла и загрязнения в чистом городе и обществе. Как замечает А. Сарна,

> «чистота столичных улиц есть сигнал, информирующий всех нас о том, что политика исключена, поскольку никакая "грязь" недопустима»[40].

Очищение улиц как программа выступает и как выравнивание социокультурного пространства, политического и медийного полей. Обратной стороной «чистоты» минского архитектурного стиля и чистоты минских улиц является «катастрофическая нехватка публичных мест»: пешеходных улиц, уличных оркестров, кричащих со стен граффити – словом, всех тех точек, где удовлетворялись бы индивидуальные потребности.[41] В конце 2009 г. принят *Стратегический план развития до 2030 года*, согласно которому город ожидает новый рывок больших строек, направленных на капитализацию и осовременивание облика столицы. Однако даже в Минске, где «не хватает перекрёстков», где серый цвет и бетон оказывают «закрепощающее воздействие на людское воображение», а наличие общественных мест означает их строгую регуляцию, происходит формирование памятников, несущих в себе дополни-

---

39 Усманова А. Сексуальность и политика в белорусских масс-медиа // А.Р. Усманова (ред.) *Белорусский формат: невидимая реальность.* Вильнюс: ЕГУ, 2008. С. 332.

40 Сарна А. Минск – город победившего гламура // *P. S. Ландшафты: оптики городских исследований*. Вильнюс: ЕГУ, 2008. С. 337.

41 Сарна, указ. соч., с. 339.

тельное значение или абсолютно его поменявших.[42] Яркий пример «уплощения» публичности в Минске – история «стены Цоя». Первоначально она представляла собой отдельные блоки бетонного заграждения строительной площадки Дворца республики – долгостроя 1980-х гг., открывшегося лишь в конце 1990-х. После окончания стройки «стена» (фрагменты заграждения) переместилась на некоторое расстояние от Октябрьской площади, став местом постоянных неформальных встреч поклонников музыканта. Когда же осенью 2008-го, с принятием решения о возведении рядом офисного здания, она внезапно исчезла, люди не переставали интересоваться её судьбой: в исполком города постоянно направлялись просьбы о её возврате. Весной 2010 г. «стена» снова появилась, но уже на набережной около концертного зала «Минск» – подальше от «политического» центра города, но ближе к другим публичным местам и студенческому городку. Подобное создание культового места из части ограждения как пример присвоения в территориальном производстве публичного демонстрирует, почти в делёзовском смысле, возможность возникновения совершенно иного смысла при «изгибании» телесной инфраструктуры. Первоначально имевшая целью дисциплинировать публичное – ибо возводилось новое и, что символично, государственное здание для «главных» торжеств, – позднее ограда-граница была использована сообществом в собственных целях.



Фото 1. Перенесённая стена Цоя в Минске.
Встреча фанатов (15 августа 2010 г.)

В своём анализе территориальности в современном городе М. Шерхольм замечает, что часто одно и то же место может служить средоточием различных форм территориального производства.[43] Пример с переносом стены Цоя показывает неприемлемость такого подхода к пониманию публичного пространства для совре-

[42] Трубина, *«Чей это город?»*, указ. соч., с. 365–370.
[43] Kärrholm, op. cit., p. 447.

менной белорусской власти. В логике её дискурса, стены в городе должны молчать и транслировать лишь легитимные нарративы. Чёткая территориальная регламентированность «общественного» в городе показательна и в случае с минским «вернисажем»: в отличие от свободно размещающихся на улице вильнюсских художников, вынужденных укрывать свои произведения полиэтиленом от дождя, белорусские художники «смело» выставляют работы под крышей павильонов, расположенных на центральной площади, между музеем Великой Отечественной войны и Дворцом профсоюзов.



Фото 2. Уличные художники Вильнюса



Фото 3. Вернисаж в Минске

«Смещённые» из сквера на площади Свободы, где в 2003 г. была возведена ратуша, минские художники оказались передвинутыми в пространстве и помещёнными в новые рамки деятельности: на сегодняшний день вернисаж является филиалом государственного Комаровского рынка, где художники числятся как выкупающие

право на регулярную работу. В Казани нет подобного ограниченного места для уличных художников, но, как заметил один из них, они работают на своих местах с негласного одобрения городской власти.[44]

Ситуация с дисциплинированием подобных переходных мест, не-мест, в городе является хорошей иллюстрацией логики символического порядка в отношении публичного. Как пишут Запорожец и Лавринец, переходные места в городе – это не только «форпосты контролирующих усилий» в ситуации увеличения рисков и неопределённости городских потоков[45], но прежде всего попытки контроля над тем, что контролю не поддаётся – над тактиками выписывания собственных смыслов, собственных мест гражданами. Превращение заброшенной городской типографии в художественный и выставочный центр[46], культурное преображение квартала Ужупис в бренд «вильнюсского Монмартра», а разваливающегося Дворца культуры железнодорожников – в место проведения концертов и перформансов являются примерами множественного создания мест из не-мест в Вильнюсе, а вместе с этим – и иного комплекса территориальных производств постсоциалистического публичного.



Фото 4. Бывший Дворец культуры железнодорожников в Вильнюсе

Официальная стратегия городского развития, принятая в Вильнюсе на 2004–2020 гг., направлена на формирование диполиса – своеобразного компромисса между старой и новой сто-

44 Из интервью с казанским художником; личный архив А. Яцык, 2005 г.

45 Запорожец О., Лавринец Е. Драматургия городского страха: риторические тактики и «бесхозные вещи» // *P. S. Ландшафты: оптики городских исследований*. Вильнюс: ЕГУ, 2008. С. 101.

46 О подобной стратегии см.: Викери Дж. Возрождение городских пространств посредством культурных проектов – синтез социальной, культурной и городской политики // П. Романов, Е. Ярская-Смирнова (ред.) *Визуальная антропология: городские карты памяти*. М., 2009. С. 222.

лицей страны. Планируется, что Вильнюс будет встроен в большую систему инфраструктуры и коммуникаций с Каунасом. Хотя эксперты городского планирования отмечают волюнтаризм подобного решения[47], идея диполиса – это способ согласовать столичный статус Вильнюса с конкурентным Каунасом. Тактики формирования публичного пространства оказываются здесь завязанными на культурное единство и человеческий ресурс. Сегодня многие литовские специалисты работают в двух городах одновременно, а Вильнюс, хотя город и являлся культурной столицей Европейского Союза в 2009 с девизом «Живая культура!», всё же находится, по современным меркам, на краю Европы.[48] Актуальная стратегия развития Вильнюса – это сочетание обезличивающего капитализма и реабилитации городских пространств через «креативное использование» важных исторических событий и опустошённых мест «без власти». Город и теперь непредсказуем: темнота означает опасность, но ночная жизнь бурлит.

Заключение: «тела» и [как] публика

Классическая идея Хабермаса о публичной сфере как материальном воплощении требования буржуазии, предъявленного к рациональному и прозрачному дискурсу и реализованного в городских салонах и кофейнях, сегодня подвергается сомнению и пересмотру. Дж. Александр подчёркивает, что фундаментом современного гражданского общества является отнюдь не конкретная публика в ситуации личного общения. Теперь это скорее *идея* подобной публики, которая вживилась в социальную субъективность как структура чувствования, регулятивный принцип. Нормативной отсылкой публичной сферы при этом выступает культурная структура, дискурс гражданского общества.[49] Этот тезис специфическим образом преломляется сквозь призму актор-сетевого подхода, согласно которому в рамках широкого определения гражданского общества отношения между индивидуальным и государственным во многом зиждутся на включённости горожан-граждан в общее дело (по поводу значимых городских вещей). Это общее дело имеет моральные основания и создаёт социальное тело города из взаимодействий и практик граждан как его составляющих наравне с улицами, дорогами и другими привычными актантами городского пространства.[50] Урбанисты, такие как, например, Э. Соджа, также отмечают, что социальные отношения остаются нереализован-

---

[47] Altrock U. *Spatial planning and urban development in the new EU member states: from adjustment to reinvention.* Ashgate Publishing, Ltd., 2006. P. 93.

[48] Briedis L. *Vilnius: City of Strangers.* Vilnius: Baltos lankos, 2008. P. 12.

[49] Alexander J. *The Civil Sphere.* Oxford: Oxford University Press, 2006. P. 72.

[50] *Res publica*: возрождение интереса // *Неприкосновенный запас.* 2007. № 55. [Электронный ресурс] Точка доступа: http://www.intelros.ru/2007/12/23/res_publica_vozrozhdenie_interesa.html. Дата доступа: 30.03.2010 г.

ными, пока не получают конкретного выражения и не вписываются материально и символически в обитаемое пространство.[51]

Для создания гражданского общества необходим определённый консенсус в отношении идеи публики, которая действовала бы как нормативный регулятор и обеспечивала взаимный контроль конкурирующих организаций, преданных публичной сфере в отношениях между собой и с государством.[52] По мнению В. Фурса, особенностью постсоветских обществ является слабость именно этого слоя социальных практик прозрачного рационального взаимодействия, его подверженность деформациям со стороны двух других слоёв: «высокого» дискурса, с одной стороны, и повседневности – с другой. В этом ключе важно понимать, что относительная сила (или слабость) постсоветского государства определяет его способность моделировать этот уровень рациональных социальных обменов, текущий статус которых должен не только навязываться сверху, но и находить согласие в «фоновом консенсусе» повседневных практик.[53]

Как показал Т. Бон, исторически восточно-европейские города становились локусами конкуренции этнических и конфессиональных групп; их отличительной чертой являлась политизация общественной сферы.[54] Более того, и сегодня, когда население многих восточно-европейских городов в значительной степени гомогенизировано (и этнически, и конфессионально), проблема чрезмерной политизации не перестаёт быть актуальной, несмотря на то что исследователи подчёркивают необходимость более широкого понимания публичной сферы, её деполитизации и признания прав групп «политически беззаботных», утверждающих иные этические и эстетические порядки.[55]

Специфика социалистической урбанизации, или «недоурбанизации» (согласно Селеньи и Бону), складывавшейся в отсутствие таких классических черт западного города, как социальное разнообразие, высокая плотность населения, маргинализация компактно проживающих меньшинств, субурбанизация, агломерация и включённость горожан в практики дебатов о формировании городского пространства, – привела к тому, что в постсоветском городе образ жизни приобрёл значимые провинциальные черты в виде форм социального контроля, занятий горожан и способов их коммуникации.[56] В конечном итоге, по мнению Бона, в культурном плане со-

---

51 Сойя Э. Как писать о городе с точки зрения пространства? // *Logos*. 2008. № 3. С. 133.

52 Habermas, op. cit., p. 55.

53 *Постсоветская публичность: Беларусь, Украина.* Вильнюс: ЕГУ, 2008. С. 15–19.

54 Бон, указ. соч., с. 68; Szelenyi I. Cities under Socialism and After // *Cities after socialism: urban and regional change and conflict in post-socialist societies*. 1996. P. 286–317.

55 Трубина, *«Чей это город?»*, указ. соч., с. 371, Фурс, указ. соч., с. 19.

56 Бон, указ. соч., с. 73; Коуп Б. Призраки Маркса: бродя по Минску по следу Деррида // А.Р. Усманова (ред.) *Белорусский формат: невидимая*

ветская урбанизация означала рурализацию городского пространства[57], чьи отпечатки в виде воспроизводящихся пространственных советских методик структурирования и дисциплинирования мы находим и в современном планировании. Следовательно, быстрый рост советских городов вовсе не должен был означать развития публичной сферы.

Постсоциалистическое пространственное развитие характеризовалось прежде всего пересмотром отношений между публичным и приватным.[58] Несмотря на общее социалистическое прошлое, дисциплинирование публичного пространства и укоренённой в нём публичной сферы как территориальное присвоение по-разному происходило в Минске, Вильнюсе и Казани. Основным отличием при этом явилась мера комплексности преобразований различных форм территориального производства публичного, которая в большей степени нашла своё выражение в постсоциалистической трансформации Вильнюса и в меньшей – Минска. Казань здесь представляет некий промежуточный вариант, где визуальное городское разнообразие и эклектика капитализации не подразумевают свободы в публичной сфере рациональных дебатов.

В этом смысле отсутствие оград в городе вовсе не означает открытости публичному взаимодействию. Опыт известных минских «цепочек несогласных» в 2000-х гг., выстраивающихся как выражение протеста против сжимания и непрозрачности публичной сферы, люди, бросающиеся под экскаваторы в знак протеста против строительства трассы на «местах памяти» в Куропатах в 2003 г., а также ситуация белорусских выборов 19 декабря 2010 г. показывают, что даже в абсолютно просматриваемом властью пространстве официальных площадей и открытых мест могут возникать иные смыслы социального. *В отсутствие возможности говорить тела людей, как живая ограда, материализованный маркер границ территории публичности, говорят сами за себя*. Недавние события на центральных площадях в Москве и Минске продемонстрировали очевидный диссонанс между существующими в постсоциалистических пространствах режимами публичного: [нео]советского, пустого, «безопасного» и просматриваемого – и складывающегося «пост-»: альтернативного, заполненного, диалогичного.[59] «Официальное» баррикадирование Триумфальной площади в Москве – места ежемесячных митингов в защиту свободы со-

реальность. Вильнюс: ЕГУ, 2008. С. 519.

57 Бон, указ. соч., с. 73.

58 Stanilov, *Democracy, markets, and public space*, op. cit., p. 271.

59 По рассказам очевидцев события, представители команд кандидатов в президенты Республики Беларусь, пришедшие на площадь, всячески подчёркивали мирный характер своего обращения и намерение вступить с существующей властью в переговоры, что вызывает аналогию с хабермасовской идеей публичной сферы как пространства рациональных дебатов; см., напр.: [Электронный ресурс] Точка доступа: http://222.by/ya-byl-na-ploshchy-gollivud-s-nami. Дата доступа: 20.01.2011 г.

браний – «в связи со строительством подземных гаражей»[60], «необыкновенное» «освобождение» Красной площади в новогоднюю ночь от традиционных «толп» мигрантов[61] или организация катка на Октябрьской площади в Минске в преддверии «выборов» являют нам схожие механизмы дисциплинирования замкнутого городского пространства. Логика «здравого смысла» и апелляция к нуждам городского переустройства странным образом напоминают рассказ о Шерлоке Холмсе, в котором в результате чрезвычайного «ремонта» внезапно «пришлось» разобрать стену комнаты и переселить героиню спать на кровать, привинченную к полу.[62] В данном случае власти, применяя стратегию «вытеснения», как бы «подсказывают» гражданам, где и как следует выражать свою гражданскую позицию.

Вопрос о том, есть ли пределы качественной характеристики границы, за которой публичное становится таковым, остаётся открытым. Массовые митинги позволяют людям непосредственно переживать опыт публичности, «бытия с другими».[63] В постсоветских условиях ситуация «площади» создаёт общественный резонанс, однако поднимает вопросы системности и эффективности подобного структурирования публичного пространства. Другой площадкой предположительно остаётся интернет[64], где существующие формы гражданского общения по поводу общих вещей сочетаются с новыми механизмами публичного участия (и здесь растущее значение приобретает уже вопрос современного цифрового неравенства). В этом смысле современные практики постсоветской городской публичности включают в себя как традиционные формы непосредственного взаимодействия, так и новый, опосредованный, диалог. Живые и неживые ограды выступают актантами дисциплинирования городского тела, но могут кардинально менять своё (на) значение в ситуации «моста», возникающего в точке пересечения «общих мест», как средоточие городского дискурса и выстраивания публичного пространства.

---

60 См., напр.: http://news.ru.msn.com/local/article.aspx?cp-documentid=155729640; подробнее о проекте «Стратегия 31» см.: *Грани.Ру* [Электронный ресурс] Точка доступа: http://grani.ru/Politics/Russia/activism/strategy31/ Дата доступа: 20.01.2011 г.

61 См., напр.: http://zyalt.livejournal.com/340115.html.

62 См. рассказ Конана Дойла *Пёстрая лента*.

63 Михеева Л. Площадь: жертвоприношение по-беларусски // *Новая Еўропа* [Электронный ресурс] Точка доступа: http://n-europe.eu/article/2010/12/28/ploshchad_zhertvoprinoshenie_po_belarusski. Дата доступа: 28.12.2010 г.

64 Там же.

NON-CONVENTIONAL PERCEPTION AND (TRANS)FORMATION OF URBAN SPACE: THE STUDY OF VILNIUS GRAFFITI WRITERS

Veronika Urbonaitė-Barkauskienė[1]

Abstract

This article examines graffiti as the illicit strategy of contemporary urban space formation and presents the non-conventional cityscape perception of the graffiti subculture members. The findings of the study based on detailed interviews with graffiti writers from Vilnius, the capital of Lithuania, reveal their motivations towards illegal spatial practices and their attitudes towards politics of urban structure and design. The main difference between traditional perception of urban space and the views of graffiti writers lies in the distinction of 'free' and controlled, public and private, *striated* and *smooth* space experience. The social context of the struggles over 'free' urban space is determined by the emergence of symbolic economy in post-industrial city and its hyper-aestheticised and commercialized cityscape that enables the visual resistance – a subversed form of production of symbols known as illegal graffiti practice.

Keywords: urban space, graffiti writers, formation of space, *smooth/striated* space, Vilnius.

> «Writers see the landscape as a series of surfaces waiting to be written on.[2]
> I just watch while passing by – oh, that wall is clean, and it... wants to be painted».[3]

Introduction

The tradition of illicit urban inscriptions called graffiti is an inseparable part of contemporary cityscape in most of democratic states. However, being illegal, usually anonymous and public graffiti challenges ordinary interpretations of urban space as well as patterns of behaviour offering its own non-conventional approach.

---

[1] Veronika Urbonaitė-Barkauskienė – Ph. D. student, Vilnius University, Department of Sociology.

[2] Halsey M., Young A. 'Our desires are ungovernable': Writing graffiti in urban space // *Theoretical Criminology*. 2006. Vol. 10. P. 283.

[3] Quotation from the interview with graffiti writer from Vilnius (*Inf_8*).

Members of illegal graffiti subculture do have a distinctive perception of public urban space. According to empirical data, their approach differs from conventional views of cityscape, the ones reflecting the dominant order. Graffiti writers perceive the space as open and *smooth*, which means – 'alive'. Such perception enables participation, creativity and active relationship with the urban space and its artifacts, despite the social status of an actor. The sense of spatial *smoothness* is opposed to spaces produced by orthodox perception which reinforces hierarchy and control. According to people involved in illicit spatial practices, when the space is being perceived as open and *smooth*, the biggest part of urban community – 'ordinary citizens' and graffiti writers themselves, people without any access to power, – is enabled to act spontaneously and create its own living environment.

The article reflects the most important findings of qualitative study conducted in Vilnius in the spring of the year 2010. The target group of the study was the community of writers and street artists who practice illegal graffiti in the streets of the capital city of Lithuania. The study was based on in-depth interviews with people selected according to the criterion of experience – the number of years spent in graffiti subculture. They are the members of community long enough to have internalized common views and values regarding urban space, to have developed skills and a distinctive style of writing or drawing graffiti. Besides the informants do have strong personal motivations and arguments justifying and rationalizing their illegal practice of graffiti.

Graffiti has not been frequently studied in social sciences until the last decade, when it became a noticeably popular subject, especially among young researchers and the ones devoted to critical theory[4]. Graffiti as a territorial marker and a factor of social segregation of urban space is relevant to a variety of disciplines, such as urban geography[5], urban sociology[6], anthropology[7]. Therefore the comprehensive analysis of graffiti is almost inevitably interdisciplinary. However, in the field of Lithuanian urban studies graffiti is not a popular subject yet (apart from one exceptional example, the book by Vytautas Navickas *Graffiti as an Illegal Visual Expression*, 2008[8]). A few remarks on Lithuanian graffiti

4 Critical criminologists: Halsey and Young (op. cit.), Stephanie Kane (Kane S.C. Stencil graffiti in urban waterscapes of Buenos Aires and Rosario, Argentina // *Crime Media Culture*. 2009. Vol. 5. P. 9–28).

5 Dickens L. Placing post-graffiti: the journey of the Pentham Rock // *Cultural Geographies*. 2008. Vol. 15. P. 471–496 [2008a]; Dickens L. 'Finders Keepers': Performing the Street, the Gallery and the Spaces In-between // *Liminalities*. 2008. Vol. 4, № 1. [2008b].

6 Cronin A.M. Urban Space and Entrepreneurial Property Relations: Resistance and the Vernacular of Outdoor Advertising and Graffiti // A.M. Cronin, K. Hetherington (eds.) *Consuming the Entrepreneurial City: Image, Memory and Spectacle*. New York: Routledge, 2008. P. 1–18.

7 Schacter R. An Ethnography of Iconoclash: An Investigation into the Production, Consumption and Destruction of Street-art in London // *Journal of Material Culture*. 2008. Vol. 13(1). P. 35–61.

8 Navickas V. *Graffiti kaip nelegali vizualinė raiška.* Vilnius: Eugrimas, 2008.

can be found in particular studies of the philosopher G. Mažeikis[9] and the ethnologist E. Ramanauskaitė-Kiškina[10].

In following chapters I will present the subject of the study (*What is graffiti?*), the context of urban space (trans)formation and graffiti writers' contribution to it. Moreover, I will cover the features of Vilnius graffiti writers and their perception of urban space.

What is Graffiti?

In the most general sense, any unauthorized intervention into the urban spatial structure is called illegal urban inscription.[11] Those may take various physical forms, including graffiti which is defined as an illegal typographic or iconographic[12] urban inscription performing a number of cultural functions, including communication, representation, subculturation[13]. According to Navickas, graffiti is described by four main criteria: 1) anonymity, 2) publicity, 3) illegitimacy, 4) visuality.[14] However, first three criteria are quite problematic.

First, the validity of anonymous authorship criterion is debatable because according to it any non-anonymous work could not be called graffiti. Anonymity is questionable criterion because namely consolidation of own identity, self-branding and *fame* are distinctive features of graffiti (territorial graffiti in particular) culture.[15] In addition, anonymity, at least within the graffiti writers' community, is always pretty relative, given that fact that the writer's *tag* or *logo* or his/her distinctive style is a recognizable 'brand' all over the city or even on much bigger territories and the author himself/herself sometimes gets the status of celebrity.

Second, the definition of graffiti relying on criteria of publicity and illegitimacy is a bit problematic as well. Since 1973, when graffiti was introduced to official gallery exhibition, it occupies both public and private spaces. Besides there is both legal[16] and illegal graffiti, while the combination of the private and the legal reduces graffiti into a particular trend of the official contemporary art[17]. Furthermore, legal and illegal graffiti may be produced by the same person (as many informants have indicated). This means that criteria of illegitimacy and publicity do not include all possible forms of graffiti and refer only to graffiti as a deviant

9 Mažeikis G. *Filosofinės antropologijos pragmatika ir analitika.* Šiauliai: Saulės delta, 2005.
10 Ramanauskaitė E. *Subkultūra: fenomenas ir modernumas*, Kaunas: VDU leidykla, 2004.
11 Dickens [2008a, 2008b], op. cit.
12 Or other forms, such as sculptures, installations, etc.
13 Mažeikis, op. cit., p. 182.
14 Navickas, op. cit., p. 9.
15 Lachmann R. Graffiti as Career and Ideology // *The American Journal of Sociology*. 1988. Sep. Vol. 94, № 2: ProQuest Social Science Journals. P. 237.
16 Graffiti, legalized in private as well as public space, for example official graffiti competitions or walls where writing is legalized by authorities.
17 Lucie-Smith E. *Movements in Art Since 1945* (new edition). London: Thames & Hudson, 2001. P. 190–192.

urban inscription. Nevertheless this article focuses namely on illegal graffiti and its impact on urban space with only few brief examples of legal cases.

There are two distinctive traditions of graffiti culture: territorial graffiti and post-graffiti. The former is an initial form of the urban inscription that has appeared around the late 1960s in Philadelphia and New York. It is defined by three main characteristics. First, the content of territorial graffiti is the nickname of a writer or his/her crew, called '*tag*'. Second, it is usually written with aerosol paint or permanent markers. And third, the space where territorial graffiti is being located usually is chosen according to the quantity of possible audience what means writing on the walls of crowded streets or surfaces of public transport (subway, trains, buses, etc).

'Post-graffiti'[18] movement implies an antithesis to territorial graffiti and is defined by a considerable shift of its content, form and spatial dimensions which emerged in the last two decades of the 20th century. First, the content of inscriptions became diverse because personal or collective *tag* was no more the universal message of graffiti – urban surfaces started to be used as a media for a very broad range of information[19]. Second, many alternative techniques of graffiti were introduced, including stencils, wheatpasting, stickers, installations, etc. Therefore, graffiti which has been primarily significant as the culture of writing has shifted from typography to iconography[20]. Finally, the third shift appeared in the field of graffiti-space relationships. New forms of post-graffiti approached urban space by applying totally different strategies – seeking rather quality than quantity of audience and impression, trying to grab the attention of passers-by in unusual, strange, aestheticized locations. What is more, post-graffiti inscriptions are dedicated to all the members of urban community while territorial graffiti is usually understandable and appreciated by graffiti writers themselves.

Aesthetics (Trans)forming Urban Space

Urban space is not merely a geographic location embodied in physical forms. Apart from that it is also filled with cultural symbols. The formation of urban space is a process, composed of these two inseparable parts: physical and symbolic. At the second part an abstract geographic dimension, physical objects and their blank surfaces turn into the cityscape filled with social, cultural, historical meanings and start functioning as a media for collective memory and social experiences. However, it is important to emphasize that the relationship between

18 Terms, naming the new form of graffiti used in various sources: *'street art'*, *'post-graffiti'*, *'neo-graffiti'*, *'culture jamming'*, *'brandalism'*, *'urban art'*, *'cult art'*, *'guerrilla art'* or *'new underground art'* (see Dickens, op. cit., p. 491).

19 Dickens [2008a], op. cit., p. 478.

20 Manco T. *Street Logos.* New York: Thames & Hudson, 2004. P. 16–17.

urban space and institutionalised social practices is reciprocal: they constantly affect each other[21].

The first stage of urban space formation is usually analyzed by macro-sociologists with a focus on political power and economic impact over physical urban structures while the symbolic stage which is called social construction/production of space is explored by micro-sociologists. However, both macro and micro approaches offer two different angles to observe urban space, each of them being just one side of the coin. To have a coherent view we inevitably need a third way which can be found in the theory of the American urban sociologist Sharon Zukin. Combining micro-sociological views and macro-sociological assumptions, synthesizing economic and cultural approaches she formulates a theory of symbolic economy that enables interpretation of graffiti and its functions in a cityscape. Zukin proposes[22] an explanation of hyper-aestheticized and visualized contemporary cityscapes which is, in her opinion, caused by a new form of production.

Symbolic economy is associated with a post-industrial shift from manufacturing to service industries that has had a direct impact on the spatial organization of cities because the capital having no new locations to expand territorially had to turn up to endless reconstructions and a spatial redifferentiation (sometimes called urban space recycling).[23] This new kind of spatial exploitation is implemented by *cultural* means because culture supplies the basic resources for nearly all service industries. Culture becomes the base of post-industrial production which is therefore called symbolic economy.[24]

Symbolic economy is comprised of two parallel production systems: (1) production of space; (2) production of symbols. The former is the first stage of shaping cityscape where aesthetic principles and cultural meanings are incorporated into physical dimensions of space (design of buildings, streets, parks and other public spaces). The latter reflects the symbolic stage of urban space formation when physical space is adjusted to more abstract cultural representations – images, symbols or meanings. Zukin claims that symbolic economy leads to a contemporary condition of urban space: immoderately filled with symbols, patterns and meanings. Accidentally the development of symbolic economy has started at the same time (the 1960s) as the graffiti movement has appeared to propose alternative reflections of the urban space flooded more and more with symbols and its kind of contribution to it.

---

21 Gieryn T.F. A Space for Place in Sociology // *Annual Review of Sociology*. 2000. Vol. 26. P. 465.

22 Zukin S. *The Cultures of Cities.* Malden: Blackwell Publications, 1995.

23 Zukin S. Gentrification: Culture and Capital in the Urban Core // *Annual Review of Sociology*. 1987. Vol. 13. P. 141.

24 Zukin [1995], op. cit., p. 11–12.

Social Aspects of Representation in Urban Space

The system of symbolic economy is based on culture, which equalizes significance of finance and cultural capital. Capitalist economy, powered by cultural consumption, commodifies urban space. This is why any cultural representations in urban space are shaped in accordance with the preferences and values of a consumeristic middle-class. Consequently, the public space is more and more controlled in order to ensure safe and imperturbable consumption, and the selection of symbols accessible to public is immanently involved in politics of cultural representation.[25]

The categories of social structure, such as segregation and exclusion, hierarchy and differentiation, are conceptualized in public spaces, neighborhoods, types of buildings or even architectural details[26], social meanings are institutionalized in architecture, laws and rules regulating practices of public space. Therefore, all the visual artifacts of material culture do have the ability to reinforce (or otherwise – question) the *status quo.* Thus all the possible options of visual representation are usually limited to only a few dominant strategies, subordinated to tourism industry and heritage policy and any non-conventional form of visual representation – for example graffiti – is being destroyed and displaced, excluded from visible public places and located in conventional space of an art gallery.[27]

The conception of urban space production by Henri Lefebvre[28] emphasizes the space as an integral part of all social practices. The production of urban space is always related to circulation of capital. On the level of social relationships space is being manipulated in order to exploit the labour force and increase the value of a real estate. Lefebvre's objective was to show that space was political, and for him the urban was the field of power relations, apparently bringing to the light the mechanisms of social control. However, he understands urban space as a constantly changing, active process of everyday life. Lefebvre emphasizes the everyday experiences of urban space, described by the conception of 'the right to the city' – the personal right to act and to re-make the urban in a very practical sense.[29]

The symbolic production of urban space is directly related to the problem of 'the right to the city', what is expressed by asking '*Whose cul-*

---

25 Zukin S. *Naked City: The Death and Life of Authentic Urban Places.* New York: Oxford University Press, 2010. P. 223–230.

26 Schorske C. *Fin-de-siecle Viena. XIX a. pabaigos politika ir kultūra.* Vilnius: Baltos lankos, 2002. P. 27–122.

27 Gieryn, op. cit., p. 479–480.

28 Inspired by the aesthetics of surrealism Lefebvre himself was an inspirer of the Situacionist International movement which has contributed to radical urban initiatives, shaping and researching urban space by non-conventional methods, for example, *urbanisme unitaire* (integrated city-creation), *derivé* (drift), *détournement* (diversion), rhythmanalysis and psychogeography (see Lefebvre H. *Writings on Cities.* Malden: Blackwell, 2000. P. 12).

29 Lefebvre, op. cit., p. 34, 42, 147–160.

ture? Whose city?'[30]. This question illuminates serious social problems concerning privatization and commercialization of public space, spatial control and surveillance[31] destroying the right to experience the contemporary city spontaneously.

Graffiti and (Trans)formation of Urban Space

Selection of publicly acceptable symbols and the right to mark the city is determined by the subject's position in the field of power. Therefore, economic and political elites have the most direct approach to the control of a physical shape, social interpretations and an access to public space in the city. The other privileged social group is the space-professionals, people directly involved into either production of space or production of symbols: architects, urban and regional planners, landscape architects, designers, historic preservationist, etc.[32] They mediate the relationship between political, economic elites and the places that they want to be built. Space-professionals filter interests and agendas of diverse clients through culture, and the 'discipline' of design, which means they are able to control the shape of urban space and its symbols to a much greater extent than the third social group involved into politics of urban space – the 'ordinary people'[33] who 'extract from continuous and abstract space a bounded, identified, meaningful, named, and significant place'[34], but do not have the right to transform urban spatial structures.

Graffiti writers and street artists are related to two social groups mentioned above. On the one hand they are non-sanctioned space-professionals, but on the other hand they are ordinary passers-by who may reshape only few fragments of urban surface, illegally change its symbolic dimension but not the physical structure.

Illicit graffiti writers add non-conventional meanings to urban space that function without any accordance with orthodox spatial patterns. Post-graffiti inscriptions more than territorial graffiti *tags* express the right to the city in practice and give voice to otherwise invisible cultural traditions of ordinary people. There are many instances of the street art representing the images of ethnic minorities, urban subcultures or various social movements[35] and this is how graffiti realizes the right to mark the living space, to fill it with symbols and thus consolidate cultural identities of powerless communities[36].

The city dwellers, ordinary passers-by and organized communities use distinctive strategies of cultural representation, for example, ethnic street festivals, spontaneous street performances, urban theatre and urban music, etc. Consequently, the space of a post-industrial city is usu-

---

[30] Zukin [1995], op. cit., p. 1–47.
[31] Dickens [2008b], op. cit., p. 23, 25.
[32] Gieryn, op. cit., p. 470–471.
[33] Ibid., p. 471–473.
[34] Ibid., p. 471.
[35] Miles, Miles, op. cit., p. 48.
[36] Schacter, op. cit., p. 51.

ally saturated with plenty of different (ethnic, sexual, subcultural, etc) identities.[37] Graffiti as a media of everyday urban practices also evokes the sense of place *belonging* and becomes one of many urban identity markers, established in the perception of urban space[38], and that is one of the reasons why it is being exploited in the pop-culture, advertising, cultural industries, city image campaigns[39].

In symbolic economy illegal graffiti exists as a subverted form of official production of symbols since the images it produces subvert the dominant cultural forms and conventions. The best examples of such a transformation of mainstream meanings and ideas are '*subvertising*', '*adbusters*' or '*The Billboard Liberation Front*'[40] – the movements visually subverting textual and visual content of outdoor advertising and branding systems in public. Graffiti escapes subordination and social control by rejecting official production of symbols and thus the writers' symbolically expressed resistance against social disorder should be interpreted as 'semiotic disobedience'[41] – a socially productive act ensuring their right to the city.

The Community of Vilnius Graffiti Writers

The study was based on nine in-depth interviews with graffiti writers and street artists all of whom have the broad experience of illicit writing in public space of Vilnius. The informants were selected through recommended-contact by deploying snowballing sampling technique which was the most relevant in order to reach the experienced members of a relatively small and closed community.

The majority of selected and interviewed writers and post-graffiti artists have studied arts or are currently working in the field. Their motivations and aesthetic criteria of shaping urban space significantly differ from the other sub-group of graffiti writers who have nothing in common with professional arts and those whose motivations are based on political rather than aesthetic criteria. Thus, the occupation is one of the most explicit categories that divide graffiti writers into two groups: the ones who perceive graffiti as a form of artistic expression and the others who consider it as an alternative media.

The mean age of the informants (24.4 years) does not represent the whole population of Vilnius graffiti writers. All the informants have extensive experience in doing graffiti and in subcultural communication (5 to 10 years) and thus they represent the 'elite' of the writers' community.

The American founders of graffiti in the 1960s and the 70s were predominantly young working-class non-white (African American or His-

37 Zukin [1995], op. cit., p. 20–23.
38 Cronin, op. cit., p. 10–11.
39 For example, graffiti competitions in the programme of «Vilnius – European Capital of Culture 2009» cultural events, the exterior of performing arts venue 'Arts Printing House' or the chapter dedicated to Vilnius graffiti in the un-tourist guide 'Naked Vilnius'.
40 Cronin, op. cit., p. 8–9; Dickens [2008a], op. cit., p. 474.
41 Kane, op. cit., p. 10–11.

panic) males with strong ties to marginal neighborhoods. These days ethnic and social distinctions of graffiti writers are not that clear – they do not belong to some socially isolated groups or categories only. The social profile of a graffiti writer has considerably changed – while they remain almost always male, practitioners today are generally older, more occupied in media and art-world, upwardly mobile and entrepreneurial in their approach than the early graffiti writers[42]. Such a social shift illustrates the change of a graffiti status itself as it draws closer to conventional creative industries and commercial pop-culture.

Graffiti subculture in general and community of Vilnius graffiti writers in particular are usually ethnically and nationally mixed. Practitioners collaborate with Lithuanian writers as well as colleagues from other countries (all the informants mentioned such cases). For instance, two of the interviewed graffiti writers do not constantly live in Lithuania and participated in Vilnius graffiti scene while temporarily visiting the country.

Graffiti Writer's Perception of Urban Space

The majority of people who have no connections with graffiti culture, do not understand (and therefore do not accept) non-conventional perception of the urban space that causes various motivations for creating graffiti. Obviously, interpretation of graffiti practice and perception of urban space is not equal to all the members of the community. Only writers and street artists who have broad experience of writing graffiti and those who are involved in subcultural communication consciously consider graffiti as a method of approaching urban space and debating dominant rules of public behaviour.

Australian criminologists Halsey and Young have conducted a detailed analysis of Melbourne graffiti writers[43] and the findings of their study correspond to inferences drawn from Lithuanian informants' interviews. Researchers emphasize graffiti writers' distinctive perception of urban landscape. First, their point of view differs from the orthodox appreciation of clean or 'blank' walls – urban surfaces that are not covered with graffiti or other 'visual trash'. Writer's gaze upon the cityscape does not capture clean objects in order to damage them or 'blank' walls to deface them. It is more likely that there is no such category as 'clean' in the urban space – 'the surfaces which make up the city are always already marked by signs of deterioration and decay (such as rusted facades, storm-damaged roofs, cracked stonework, weathered timber), and constituted by competing and questionable aesthetics (such as the signs telling of the presence and nature of business, or of political candidates, or of speed limits, no parking zones and one-way streets). The consequence of such a view is that orthodox notions of cleanliness and purity undergo something of an implosion'[44]. Therefore, urban inscrip-

42 Dickens [2008b], op. cit., p. 8, 10.
43 Halsey, Young, op. cit.
44 Ibid., p. 286.

tions are never completed either by the illicit writer or by any of the city's more legitimate authors – it is a never ending urban dialogue between people and institutions.

The study of Vilnius graffiti community has indicated that there were two main motivations deriving from the distinct writers' perception of the urban space (apart from general motivations such as aesthetic appeal and peer recognition). Motivations justifying and rationalizing illegal practices of graffiti are: 1) the belief that graffiti has positive aesthetic impact on urban space and 2) the notion that illicit urban inscriptions produce public, vibrant social space, open to all the people living in the city despite their social status. According to writers, graffiti is not supposed to be chaotic and an irrational territorial marker as it is usually perceived in public discourse. On the contrary, it has inner logic and ethical taboos indicating proper and prohibited surfaces.

Graffiti writers themselves do not consider their activity as harmful. Apparently, they claim that graffiti brings 'tedious' and 'lifeless' walls to life. According to Halsey and Young, 'a uni-coloured wall is considered 'boring' – as 'negative space' – and therefore as something to be filled out or brought to life'[45]. The informants from Vilnius seem to mostly agree with these ideas:

> *Inf_7:* It [street art] brings life to the space. Even if there are some destructive or violently invading pieces, the sarcasm of the street art often just precisely describes the situation. For example, the message "This wall is boring" on the concrete wall in the suburbs… because it ***is*** really boring.

The conceptions of a 'live' city or space are quite frequently used in the interviews with other informants as well:

> *Inf_1:* If there is no graffiti, it seems that something is wrong with the town. The town is dead, nothing happens, no economic or any activity. Because people, they live and while they live they produce garbage and make all kinds of nonsense. Because if you look… from the social point of view… it [graffiti] is nonsense. And you come to some town and you see that there is nothing, not even a single tag anywhere… You take a look around and everything is clean: there isn't anything, this lad is an alcoholic, another one is a prostitute, just nothing happens at all.

So an illegal urban inscription is not perceived as harm, but on the contrary – as a positive influence on urban space: its improvement that 'beautifies', 'colours the city' and 'rejoices some tame places' (*Inf_5*), 'gives warmth, … personalizes the space' (*Inf_8*).

In the graffiti writers' perception the urban space is always open to the spontaneous intervention, surfaces are replete with possibilities, they are 'canvasses permanently in waiting'. According to Halsey and Young, this is 'accomplished through the nature of the writer's gaze, which does away with the actual (banality) and ushers in the virtual (creativity)'.[46] A

[45] Halsey, Young, op. cit., p. 288.
[46] Halsey, Young, op. cit.

blank wall has no informational or aesthetic surplus value and that is why 'it… wants to be painted' (*Inf_8*).

Thus the graffiti intervention into urban space is perceived as an active participation in public sphere, its transformation into a collective event where every passer-by is allowed to leave his or her mark and thus personalize cold and 'abstract' anonymous urban space.[47]

Smooth and *Striated* Urban Space

According to Schacter's study of the writers from London, UK, graffiti is experienced as a form of 'appropriation'[48] and altering of urban space for the citizen's discrete intentions. This transformation of the environment empowers the writer, gives an active role in producing and constructing their lived-in surroundings that makes the urban space more personal, more inalienable.[49]

Halsey and Young suggest that 'illicit writers spend much of their time using, creating and locating *smooth* spaces while an 'ordinary' citizen (in so far as he/she exists) spends much of their time acting in accordance with the dictates and pre-established schemas of *striated* space'.[50] This insight is based on Gilles Deleuze and Felix Guattari's distinction between *smooth* and *striated* types of space, examined in 'A Thousand Plateaus'[51] where *smooth* space is generally characterized by action 'free' of social control, while *striated* spaces are associated with work and strict hierarchy.

According to informants from Vilnius, graffiti writer's role in the urban space is conceived in accordance with *smooth* space conception. The *smoothness* of space is defined by rejecting the distinctions between public and private, individual and collective urban spaces:

> *Inf_9:* Public space is one space more or less, and not many different places within the city. … You interfere into public space everyday, but you don't have the ability really to interfere. Only in the way this kind of society allows you to do it, which is almost always related to commercial uses of space. This is why in the beginning it is very important to feel that this space is your space. Like in your house, your environment is built in way you imagine it. For example, the decorations or the way you put the things in the kitchen. The same you can slowly develop in your relationship with environment in the city.
>
> *Inf_8:* Yes, and if everybody starts to interfere like in their house… because actually it is like our house, but extended, it's like all the people's house… So if we all feel free to interfere, then it's more natural. It should

---

47 Schacter, op. cit., pp. 50–55.

48 Lefebvrian term defined as a practice where space has been modified in order to satisfy and expand human needs and possibilities.

49 Schacter, op. cit., p. 51.

50 Halsey, Young, op. cit., p. 296.

51 Deleuze G., Guattari F. *A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia.* London: University of Minnesota Press, 1998. P. 361–374, 474–500.

be like this. Because it's a part of social control that we cannot interfere in the space and there are some people who are higher and they control this interfering, but actually it belongs to all people.

The social control of urban surfaces, privatization and commercialization of public space is usually criticised in the interviews with graffiti practitioners and has an effect upon justification of illicit writing. Particularly commercial spaces ascribe the passive roles of consumer, spectator and worker which restrict the ability of creative and spontaneous act and thus space becomes lifeless and *striated*. This is why the graffiti writers criticise commercialized urban spaces, especially outdoor advertising and other legal urban inscriptions (it is, however, important to note that informants were not asked to talk namely about commercialized urban space, outdoor advertising and other critical aspects of the topic):

> *Inf_5:* But this public space… It's not only graffiti that violates all that visuality. Many things do. Advertisements, for example. No one asks you. For example, I don't want to watch that man in briefs all the time. And still they violate you visually.

> *Inf_3:* The things I did and still do sometimes they debate with those... the thing that irritates me the most, ads. … All those people with white teeth, they act as if it's oh so perfect, just the only thing you lack in your life is to go to some shopping mall or buy toothpaste or get plastic surgery…

> *Inf_8:* This cult of beauty and youth, it has influenced me a lot. … And maybe that is the reason why I dislike advertisements so much and I think that we also have the right to do things in the street. If those people who pay for advertisement space can do it, we can do the same. Because – who do they buy from? The state. But we get nothing from that, we are exploited. They change our values. This is why we have the right to pay back, finally to exploit the same space too.

By illegal intervention into the urban graffiti writers create the space open to social critics and civic engagement. Consequently, illicit urban inscription is perceived as positive aesthetic or informational impact over space, the city and citizens. Graffiti is interpreted as a struggle for the publicity and *smoothness* of the urban space, considered as public good, that must be accessible to every person, despite his or her social characteristics. Thus, the illegitimacy of graffiti practice is opposed to legal urban inscriptions such as outdoor advertisement that *striates* and commercializes the space *that belongs to all the dwellers of the city*.

Conclusions

Formation of urban space is a dual process composed of two parts: production of space and production of symbols. Illegal graffiti is a subverted form of official production of symbols invading public space with non-conventional symbols, despite any legal and social restrictions.

Graffiti writers are illicit space-professionals who create alternative cityscapes according to their distinctive urban space perception.

Graffiti practitioners do not perceive illegal writing as harmful behaviour. They find urban inscriptions as a neutral or positive aesthetic impact on urban space and the communities of city dwellers.

According to writers, graffiti turns urban space into 'live' and *smooth*. *Smooth* space exists in between of the public and the private, the individual and the collective, creating a utopian vision of the city open to civic participation and 'free' actions.

ИНДУСТРИЯ ОБРАЗОВ И ОБРАЗ ИНДУСТРИАЛЬНОСТИ: ПРАКТИКИ ОСМЫСЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРОДА СОВРЕМЕННЫМ ИСКУССТВОМ

Наталия Анфёрова[1]

Abstract

In the article the author analyses theoretical approaches to the phenomena of industrial study and analysis of practices of working with industrial space that determines self-identification and image-creating process in a city. Industry played the leading role in the Soviet economic system, industrial discourse was all-absorbing in Soviet culture and factory space was almost sacral. A lot of films, songs, TV-reports, performances were devoted to industrialization, power of industry, workers and their heroism. Being sacral for the Soviet era, today the industrial space have become Terra incognita, a heroic image of working men and industry have changed into a negative image, Russia is associated with an idle factory and romantic and nostalgic attitude to industrial culture and spatiality is not typical for contemporary culture and for citizens.

Post-soviet city space tends to be a space of post-fordism, the industrial areas are hidden by the city maps and ejected from post-soviet citizens' mental maps. Currently there is an increasing interest to the industrial culture revealed in different ways of working with industrial space: from revitalization to deindustrialization, from functional renewal to rethinking of cultural sense of industry. Art practices of working with industrial areas became the subject of the analysis in this article. The contemporary art's meditations and representations on industry and its place in city image and city geography are analyzed as a fixation of dichotomy of industrial/postindustrial and connected contradictions.

Keywords: industrial space, fordism/post-fordism, deindustrialization, contemporary art, image of the city, mapping, industrial mentality.

Производство как характеристика современной культуры

В этой работе я представлю анализ особенностей функционирования и трансформации в современной ментальности представления об индустриальности, которая в конечном

[1] Наталия Анфёрова – аспирантка факультета философии НИУ – Высшая школа экономики (г. Москва, Российская Федерация).

счёте может быть рассмотрена как метафорическая характеристика ментальности. В частности, моей целью является показать стратегию работы с заводскими пространствами в городе на примере практик современного искусства. Такое осмысление роли индустриального производства отсылает, *во-первых*, к экономическому пониманию индустриальности в контексте материального производства и, *во-вторых*, к распространению этого понятия на иные сферы культуры. В частности, речь идёт о дискурсивном производстве, что становится тем более актуальным в свете проявляющихся тенденций переосмысления советской культуры, для которой индустрия и связанные с ней политический, социальный и художественный дискурсы являются во многом определяющими. Вопрос осмысления индустриальности приобретает актуальность также с учётом практических потребностей трансформации функций городского пространства, обусловленной стремлением властей следовать деиндустриализационным планам городского развития.

В качестве объекта анализа я избрала практики работы с индустриальным пространством в городе Екатеринбурге, некогда столице «опорного края державы», теперь же – городе, который в течение по меньшей мере последних 10 лет разнообразными способами стремится к избавлению от этого образа посредством позиционирования себя как локуса развития современной постиндустриальной экономики, как важнейшего логистического узла и торгового центра современной России, связывающего два мира – Европу и Азию.[2] В частности, в данной работе представлен анализ художественных практик работы с индустриальностью на примере состоявшейся осенью 2010 Первой Уральской биеннале современного искусства.[3] Биеннале является частью масштабной программы «Уральские заводы: индустрия смыслов», реализуемой Екатеринбургским филиалом Государственного центра современного искусства; эта программа работает с городской идентичностью, образом города, городской мифологией. Внимание будет уделено кураторским текстам, а также репликам представителей властного сообщества Екатеринбурга. Я попытаюсь продемонстрировать противоречивость стратегий интерпретации современным искусством бытования индустриального пространства, понимаемого в качестве функционирующего в двух экономических модусах – экономики знаков и классических экономических законов.

---

[2] Что, прежде всего, основывается на мифологии пограничного положения города (условно, город располагается на границе Европы и Азии; указанная особенность активно эксплуатируется городскими властями для обоснования реализации политических и экономических проектов).

[3] См. каталоги: *Первая Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Ударники мобильных образов. Основной проект* / Кураторы выставки и авторы-составители каталога: Е. Дёготь, К. Костинас, Д. Рифф. Екатеринбург, 2010; *Первая Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Специальные проекты* / Под ред. К. Фёдоровой, А. Щербенка. Екатеринбург, 2010.

Рассуждая в трендовой сейчас логике картирования и признания изоморфизма пространственных и ментальных карт, важно отметить закономерность: на карте города отсутствуют заводы, они превращены в серые пятна, часто даже не сопровождающиеся легендой, вследствие чего как горожанин, так и приезжий не сразу определит, что прячет карта. Такая ситуация может служить метафорой отношения части горожан к индустриальным объектам. Для современного горожанина, далёкого от производства, сформировались антиобразы рабочего, промышленности, промышленного пространства, в то время как образ России нередко ассоциируется с простаивающей фабрикой.

Что касается советской эпохи, то здесь индустриальность играла определяющую роль в экономике и имела всепоглощающую дискурсивную способность. В современной культуре некогда сакральное пространство завода превратилось в *terra incognita*, вещь для себя, о которой все слышали, внимали аудиовизуальной продукции, обсуждали и анализировали, но не видели. Однако промышленные пространства – неотъемлемая часть наших повседневных практик, даже если эти практики не имеют отношения к промышленному производству: зоны промышленности структурируют логику движения в городском пространстве, претерпевают функциональную трансформацию, становятся частью ментальной карты, частью нашего исторического опыта, несмотря на декларируемый переход к постиндустриальности и повсеместной критике индустриального типа советской экономики и ментальности. В этом смысле современное искусство декларирует свою возможность стать своеобразной «локодицеей»[4] для этих пространств:

> «Современное искусство, помещённое в заводской контекст, призвано не вытеснить индустриальность, а переосмыслить её значимость в контексте города и региона, балансирующего на границе индустриального и постиндустриального. Биеннале выдвигает на первый план современное искусство в качестве образа мышления, способного активизировать смыслы индустриального наследия, сделать их видимыми и значимыми в культурном пространстве города»[5].

Рассмотрим два фокуса включения индустриального в современное дискурсивное поле. Первый фокус – это само производство, индустриальное наследие: можем ли мы запечатлеть момент перехода от индустриальности к постиндустриальности, действительно ли он является характеристикой современности и способен маркировать переход от советской к постсоветской ментальности? Второй фокус – положение индустриального пространства в совре-

---

[4] Термин В.В. Абашева (см., напр.: Абашев В.В. *Пермь как центр мира. Из очерков локальной мифологии* // НЛО, 2000, № 46. [Электронный ресурс] Точка доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2000/46/bashev.html. Дата доступа: 30.07.2010).

[5] См.: *Первая Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Специальные проекты*, указ. соч., с. 24.

менном городе и актуальные стратегии работы с ним. В связи с этим интересен вопрос *относительно места и значения образа индустриальности для конструирования новой идентичности города и механизмов, заставляющих сменить политику умолчания поиском новых смыслов индустриальности, производством символического.*

Производственное пространство и культурное производство

Каковы место промышленной архитектуры в облике современного города и её роль в формировании культурного ландшафта, а также каково свойственное российским горожанам отношение к промышленным объектам? Если для Западной Европы и США характерны стихийные поэтизация и эстетизация этих объектов, то в России практически отсутствует сочувственное восприятие эстетики заброшенных индустриальных комплексов, несмотря на часто ностальгическое отношение к советскому прошлому. Заброшенные промышленные здания в Англии, континентальной Европе и США становятся средством самоидентификации андеграундных групп населения, выступающих против буржуазности (при этом невольно показывающих ценность этих объектов и способствующих их дальнейшей джентрификации): сквоттеров, которые продемонстрировали возможность полноценной жизни не только в квартире со всеми удобствами, но и в неприспособленном для этого помещении; маргинальных артистических групп, адаптировавших пустые пространства для студий. Позднее здания фабрик перестраивались в основном как жилые помещения (чаще всего – элитные), торговые площади, студии, музеи.

В российском контексте подобное производство ценности промышленных объектов свойственно, пожалуй, только для Москвы. В основном же российское общество не готово ни приспособить промзоны для проживания, ни каким-либо иным образом изменить их функцию, трансформировав, к примеру, в офисные помещения, ни музеефицировать функцию даже заброшенного промышленного здания, ни наделить здания исторической ценностью. Возможная причина заключается в слишком малом сроке переориентации от культа производства к прекращению индустриализации – не более 20 лет назад. Это слишком недавнее прошлое для культивирования романтически-ностальгических чувств.

> «Возможно, причина этого кроется в том, что изменения, произошедшие в России в 1990-х гг., были сродни буржуазной революции, тогда как на Западе апроприация постиндустриального наследия культурой андеграунда была по сути антибуржуазным явлением»[6].

---

[6] Голдхоорн Б. От редактора: Опыт самозахвата // *Проект Россия*. 2006. № 40 [Электронный ресурс] Точка доступа: http://www.prorus.ru/pr/pr_40.htm#issue.

При этом нельзя не отметить прямо противоположного отношения к искусству, свойственного российской культуре мышления, которая зачастую характеризуется незнанием ни авторов, ни произведений, ни исторических, жанровых и прочих подробностей, но наделяется представлением о величии мира искусства и творческого акта, требованием «руками не трогать», а также пиететом перед *специальными* музейными пространствами. Размещение же искусства в пространстве завода – довольно подозрительное явление. Таким образом, современное искусство сталкивает эти – позиционируемые массовым сознанием как противоположные – сферы культуры.

Производство пространства и производство в пространстве: индустриальный тип мышления

Прежде чем попытаться критически осмыслить возможности функционирования материального и символического в рамках взаимодействия промышленной архитектуры и современных художественных практик, а также способности искусства преобразовать физическую реальность индустриального производства в символическую и культурную, кажется актуальным ответить на вопрос о влиянии индустрии на пространство города, повседневные пространственные практики и ментальность горожанина. Ответ на этот вопрос зависит от того, насколько исследователь *верит* в возможность существования постиндустриального общества в том виде, как оно описано социальными критиками в середине XX века, а также того, насколько он идентифицирует переход от советского к постсоветскому с фактором деиндустриализации.

Применительно к российским городам не вполне правомерно говорить о деиндустриализации – на мой взгляд, это утверждение справедливо в отношении как материальных особенностей российских городов, и в частности Екатеринбурга[7], так и ментальной кар-

[7] Несмотря на увеличение доли услуг в российской экономике – что является одной из важнейших характеристик при описании перехода от индустриальности к постиндустриальному типу экономике, – в промышленных городах сохраняются огромные по территории промзоны. В частности, в Екатеринбурге 7% территории – это заводские постройки, формирующие структуру районов, давая им названия, структурируя движение горожан. Второе важное статистическое замечание – это оценка отраслевой структуры занятости населения города. По данным сайта городских органов власти (www.ekburg.ru/officially/strategy_plan/strat_text/vtoroyrazdel/vnutrennie_faktory), большинство трудоспособного населения (75%) занято в материальном секторе экономики, из которых почти треть – в промышленном секторе. По прогнозам Стратегического плана развития города до 2025 г., соотношение доли занятых в материальной и непроизводственной сферах изменится в пользу последней от 35.0% в 2001 до 37.0% в 2015 и до 38.0% в 2025 г. Прогнозируется рост занятости населения в интеллектуалоёмких отраслях. Однако, несмотря на прогрессию, мы, как кажется, можем говорить о тенденции к сокращению производствен-

тины горожан. Несмотря на увеличение доли услуг и нематериального производства в структуре экономики как в масштабе страны, так и применительно к Екатеринбургу, всё же мы не можем не только похвастаться вынесением промышленного производства в

ного сектора, о росте нематериального сектора, но никак не об исчерпании потенциала эры индустриального производства или развитии «посттрудового» или «постэкономического» общества. Мы не можем утверждать вслед за Д. Беллом, что экономическая подсистема утратила определяющее значение, а труд перестал быть основой всех социальных отношений. Так, в США в сфере информации и услуг сейчас трудится около 90% занятого населения.

Отраслевая структура занятости населения (тыс. чел), прогноз

Отрасли экономики	**2001**	**2015**	**2025**
Занято в экономике	**647.0**	**645,0**	**625,0**
Материальное производство:	**420.0**	**405,0**	**387,5**
промышленность	168.0	147.0	130.0
сельское хозяйство	5.6	5.5	5.0
транспорт	50.5	53.0	54.0
связь	10.5	15.5	17.0
строительство	54.0	60.0	58.0
торговля и общественное питание	106.8	95.0	94.5
материально-техническое снабжение и сбыт	6.5	9.5	10.0
информационно-техническое обслуживание	1.5	3.5	5.0
общая коммерческая деятельность	10.2	10.0	9.0
прочие виды материального производства	6.4	6.0	5.0
Социальная сфера:	**227.0**	**240.0**	**237.5**
жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание	34.2	38.0	38.0
образование	73.0	63.0	63.0
культура и искусство	10.6	12.0	12.0
наука и научное обслуживание	22.9	24.0	24.0
кредиты, финансы, страхование	11.0	15.0	15.0
управление	17.0	21.0	21.0
здравоохранение и физкультура	47.8	52.0	52.0
другие отрасли социальной сферы	10.5	15.0	12.5

Прогноз предусматривает увеличение в проектные периоды доли занятого населения в транспорте и связи, управлении, отдельных отраслях машиностроения, прежде всего на высокотехнологичных предприятиях ВПК, в финансовых структурах, строительстве, бытовом обслуживании населения, ЖКХ, науке, особенно непосредственно связанной с производством, в сфере информационных услуг, оптовой торговле. Предусматривается стабилизация доли занятого населения в остальных непроизводственных сферах и переход к её регулированию в зависимости от конкретной потребности. Прогнозируется также сокращение доли занятого населения в ряде отраслей промышленности, наиболее материалоёмких и экологически вредных производств, в торговле, причём это будет происходить на фоне значительного улучшения качества этих рабочих мест.

страны с более дешёвой рабочей силой[8] (мы скорее радуемся, когда такое перенесение производства как раз осуществляется в отношении нашей страны – вспомним недавние примеры с переносом автомобильных производств), но даже перенесением промышленных зон из центральных районов за черту города. Напротив, можно говорить *о производственном типе мышления, в рамках которого метафора производства и тиражирования становится базовой для определения социальных отношений.*

Рассуждая в рамках индустриальной логики о самом пространстве, надо отметить, что по-прежнему актуальным кажется концепт, переносящий свойства индустриальной экономики на «естественные» (внесоциальные), казалось бы, явления, данные нам в каждодневном опыте и не обнаруживающие своей производственной (и в связи с этим экономической) основы. В *Производстве пространства* Анри Лефевр (утверждая, что пространство не может быть «естественным», существуя в трёх модусах, а именно: пространственные практики повседневности, репрезентации пространства, упорядочивающие его, и пространства репрезентаций[9]) задаётся вопросом о том, производится пространство или является продуктом творчества, то есть уникальным творением. Лефевр приходит к выводу, что социальное пространство, являясь результатом повторяемых действий (то есть находясь в непрерывном процессе перехода от темпоральности к спациальности – одновременности, синхронизации – в процессе производства), не может претендовать на статус творения, каковым, к примеру, обладает явление природы, привязанное к времен*ы*м этапам проживания – поре зрелости между зарождением и умиранием. Социальное пространство

---

8 См. примеры работ, критикующих концепт «постиндустриального общества» как устойчивого исторического явления и связывающих его со спецификой системы мирового разделения труда и контролем над единственным мировым эмиссионным центром, а также характеризующих его как строго локальный феномен, свойственный экономике США и ставший следствием внеэкономического перераспределения ресурсов в пользу «новых» отраслей экономики (к примеру, информационного сектора, торговли) за счёт традиционных отраслей (которые развиваются в рамках глобального разделения труда в Китае и Юго-Восточной Азии). Такой отраслевой дисбаланс явился причиной стагнации и кризисных явлений в экономике США, а затем, в последние два десятилетия, и мира. Кроме того, изменив в паре производство/потребление первую часть, невозможно изменить вторую, которая направлена на потребление материальных товаров. Это несоответствие структуры производства структуре потребления является характеристикой несамодостаточности экономики США – флагмана деиндустриализации; см., напр.: Кобяков А.Б, Хазин М.Л. *Закат империи доллара и конец «Pax Americana»*. М.: Вече, 2003. (Серия «Новый ракурс»); Хазин М. Конец сказки о «новой» экономике» // *Русский предприниматель*. 2002. № 6(7); Хазин М. *Постмодерн – реальность или фантазия?* // [Электронный ресурс] Точка доступа: http://worldcrisis.ru/crisis/170860. Дата доступа: 01.08.2010.

9 Lefebvre H. *The production of Space*. Transl. by D. Nicholson-Smith. Oxford: Basil Blackwell, 1991. P. 37–39.

является продуктом – массовым и повторяемым, но маскирующим свою повторяемость визуальной репрезентацией, театрализацией и мифологизацией, продающим себя в новой «обёртке» потребителю, как любой продукт массового производства.

Мы можем рассуждать о социальном пространстве в экономических терминах: о его производстве, потреблении, получении прибавочного продукта, который становится основой эстетического использования, которое, в свою очередь, может гарантировать прибавочную стоимость. Пространства изготавливаются, чтобы быть увиденными, – речь, конечно, идёт о в*и*дении определённым образом. Пространство репрезентируется через повторяющиеся практики (в том числе художественные), и, в итоге, за счёт повторяемости локусы пространства становятся взаимозаменяемыми, «расхищаются» стандартизирующим взглядом потребителя в условиях глобального производства и потребления мест. В рамках общества потребления (перепотребления) теряются индивидуальность и уникальность места, а индустрия туризма включает конкретные места в глобальную сеть, которая за счёт этих ключевых для туристического взгляда мест определяет стандартизированные локусы: торговые зоны, места скорби, «гламурные» кварталы, зоны развлечений и т. п. – сеть мест, легко узнаваемых и принимаемых взглядом, повторяющихся от города к городу, характеристика которых не зависит от особенностей конкретных мест.

Индивидуальность места, таким образом, производится как массовый продукт – он каждый раз упакован и стилизован как нечто эксклюзивное, однако при попытке сравнения, к примеру, мегаполисов с точки зрения туристической маршрутизации мы получим изоморфные карты ценностно маркированных локусов. В рамках подобной экономики знаков образы мест предстают пустыми формами, рамками, в которые вписывает себя город, культивирующий потребление себя как свою главную достопримечательность, услугу и продукт.

Для Екатеринбурга описанная ситуация очень актуальна. В рамках стратегического проекта перепрофилирования города и его образа из столицы тяжёлого промышленного производства («Урал – опорный край державы») в «современный многофункциональный центр с элементами мирового города, ядром которого станет научно-производственно-финансово-информационный комплекс, интегрирующий Екатеринбург в глобальную экономику»[10], в торговую столицу, основной медиум между Европой и Азией – «столицу Евразийского материка», проблема поиска идентичности, построения региональной мифологии и разработка бренда города необходимы для привлечения не только туристических масс, но и инвесторов, бизнесменов. А для этого требуется нахождение и презентация неоспоримой уникальности. Этого же требуют логика глобализации и план превращения Екатеринбург в «центр с эле-

[10] См.: *Генеральный план города Екатеринбурга* // Решение Екатеринбургской городской Думы от 06.07.2004 № 60/1.

ментами мирового города»[11]. Исследователи отмечают, что постурбанистической тенденции глобализации, как правило, свойственна прямо противоположная тенденция – локальное укоренение города, усиление регионального контекста, глокализация как, с одной стороны, сопротивление региональных сил, горожан потери идентичности – как направленный внутрь процесс; с другой стороны, поиск уникального для «внешнего использования».

В этом плане современное искусство стремится к тому, чтобы попытаться преодолеть стандартизирующий взгляд. В Екатеринбурге в течение нескольких лет проводятся разнообразные фестивали современного искусства, проблематизирующие тему городского пространства, образа города, его мифологии и проектов по её созданию. Наиболее масштабным проектом последних лет явилась состоявшаяся в 2010 году Первая Уральская индустриальная биеннале современного искусства[12] как продолжение программы Екатеринбургского филиала Государственного центра современного искусства «Уральские заводы: индустрии смыслов».

Что означает размещение искусства в индустриальном пространстве?

Размещение искусства в индустриальном пространстве, как манифестируют кураторы, призвано преодолеть разрыв между двумя модернизациями: советской индустриальной модернизацией 1920–30 гг. и современными преобразованиями, основанными на решении задачи интегрировать город в контекст мировой деиндустриализации и деурбанизации (вследствие глобализационных процессов). В условиях поиска презентационных стратегий современное искусство призвано стать репрезентантом пространства, одновременно источником и транслятором региональной мифологии. Однако в намерениях кураторов биеннале обнаруживается ряд противоречий.

На мой взгляд, среди практик создания регионального образа можно выделить две стратегии: (1) нахождения и (ре)актуализации *genius loci* (с опорой на тот или иной период времени); (2) создание «безместности» и анонимности пространства и конструирование на этой основе нового образа места. Биеннале смешивает две стратегии – практику художественного осмысления индустриальности и попытку отыскания «гения места» в *анонимности* индустриального пространства.

Во-первых, анонимность промышленного производства – его важная культурная характеристика, не нуждающаяся в дополнительных комментариях. *Во-вторых,* обращаясь к самим пространствам, использованным кураторами, а также к специфике представленных арт-объектов *Основного проекта* биеннале – «Ударники мо-

---

11 *Генеральный план города Екатеринбурга*, указ. соч.

12 Официальный сайт биеннале: http://www.uralbiennale.ru/

бильных образов»[13], – мы видим, что, несмотря на декларацию, не происходит осмысления образа промышленности в современном городе. Основной проект биеннале располагается в здании бывшей типографии – в здании, *во-первых*, нетипичном для понимания образа Екатеринбурга/Свердловска, на протяжении десятилетий форсировавшегося тяжёлым промышленным производством (подобное здание могло бы располагаться в любом другом городе и не менее успешно превратиться в экспозиционную площадку), *во-вторых*, уже не функционирующем и претерпевшем демонтаж оборудования, что не может демонстрировать производственный процесс. Экспозиция же не отсылает нас к переосмыслению образа промышленного производства, но только декларирует приложение промышленных характеристик к процессу создания и воссоздания образов, являясь скорее рефлексией относительно сущности искусства:

> «Производство – это, на самом деле, вклад в цикл бесконечного обращения образов и текстов. Искусство готово отказаться от статуса системы, где немногие талантливые создают уникальные объекты для немногих богатых; оно уже пробует руководствоваться логикой дорогого бестселлера для массы. Эта выставка отказывается скрывать тот факт, что она является выставкой копий и репродукций. Лишь очень немногие произведения здесь – оригиналы; выставка состоит главным образом из тиражных принтов, видеопроекций, реконструкций и работ, созданных дистанционно по инструкциям авторов. Художественная система продолжает настаивать на том, что такие репродукции являются оригиналами; дорогие материалы, рукотворность и мастерство (обычно экспроприированные у полуанонимных исполнителей), исполнение по заказу и в соответствии с “атмосферой” какого-то конкретного места или же дорогая HD-технология прикрывают тот факт, что статус этой работы – циркулирующая репродукция».[14]

Так характеризуют экспозицию кураторы *Основного проекта*. А представленная экспозиция превращается скорее в кураторский (во многом искусствоведческий) рассказ о том, как в современном медиа-пространстве производятся, воспроизводятся и циркулируют образы, об истории этих образов, а также о специфике современного искусства. При этом нельзя, как мне кажется, сказать, что в художественных объектах реализуется задумка кураторов показать особенности бытования современного искусства в постиндустриальном контексте, равно как и постиндустриальную специфику его

---

[13] Программа биеннале включала программный *Основной проект* – «Ударники мобильных образов», – расположившийся на площадке бывшего здания типографии «Уральский рабочий», конструктивистской постройки 1929–1930 г., программу *Специальных проектов*, размещённых в пространстве действующих заводов, а также ряд альтернативных проектов, экспонировавшихся на специализированных площадках музеев города.

[14] См.: *Первая Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Основной проект*, указ. соч., с. 34.

производства. Напротив, экспозиция скорее предстала явлением индустриального производства, а *Основной проект* продемонстрировал не концепт мобильности образов, а лишь способ их тиражирования (в духе фордизма). Следует заметить, что экспозиция *Основного проекта* (и, как мне представляется, программного, кроме того, расположенного в центре города в максимальной доступности) функционирует в основном как кураторское пояснение к современному искусству и практически не отсылает к городскому или региональному опыту. При этом важно отметить две характеристики понимания пространства, которые открываются в связи с *Основным проектом* и определяют выставочное пространство, но также выступают метафорой для характеристики пространства города.

Первое, на что важно обратить внимание, – это тенденция музеефикации городского пространства – публичного и закрытого, индустриального: выходя за стены классического музея, современное искусство вовлекает в художественный выставочный контекст повседневные практики горожан, тем самым выявляя скрытое, не нуждающееся, казалось бы, в привлечении внимания (вспомним серые пятна на карте города). Музеефикация означает изъятие того или иного объекта из привычного контекста и его помещение в новую смыслопорождающую среду, ценностно маркирующую как само экспозиционное пространство (здания завода), так и выставляемые объекты.

Если говорить о проекте биеннале в контексте работы городских властей, то представляется возможным диагностировать, чт*о* именно в городском пространстве должно быть переосмыслено как ценность, включено в социальное воображение. Это именно индустриальная составляющая повседневности, и, несмотря на декларации относительно деиндустриализации пространства города, именно индустрия должна стать базовой для переосмысления образа города. В предисловии к каталогу *Основного проекта* глава города Екатеринбург Аркадий Чернецкий отмечает:

> «Биеннале решает не только художественные задачи и вопросы привлечения внимания к городу и Уралу в целом – проект нацелен также на решение внутренних задач, непосредственную работу с крупными и малыми производственными предприятиями»[15].

Однако произошла инверсия: индустриальные характеристики распространились на явления, определяемые в качестве свойственных постиндустриальной эпохе, – знаки, смыслы, образы, их циркуляцию в пространстве, подвергшемся избыточной теоретизации. Кроме того, речь идёт об индустриальности и производстве в целом, без включения регионального контекста, *во-первых*, а *во-вторых*, о производстве, лишённом материальности – как промыш-

15 См.: *Первая Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Основной проект*, указ. соч., с. 22.

ленной, так и материальности самих арт-объектов. Попадая в пространство *Основного проекта*, зритель, привыкший за многие годы восприятия современного искусства к позиции соучастника творческого процесса, соавтора или, по меньшей мере, свободного интерпретатора арт-объеков, сталкивается с пространством объяснения – каждому объекту соответствует объёмное объяснение-обоснование. Такой дескриптивный характер экспозиции декларирует неочевидность представленного. Каждый объект из представленного калейдоскопа требует оправдания в отношении собственного присутствия. Кураторы поясняют эту тотальную теоретичность:

> «Конечно, искусство – это по-прежнему машина пропаганды, биеннале – временная фабрика агитпропа»[16].

Что же объясняет, пропагандирует *Основной проект* биеннале? Вместо заявленной позиции относительно необходимости вписывания индустриальности в контекст городского пространства, экспозиция отвечает на вопрос относительно нового типа труда – «труда-он-лайн», труда-коммуникации, труда-производства смыслов и образов, переосмысления образа города и горожанина в качестве ударника мобильного производства в условиях фрагментированной и легко копируемой культуры, стремящейся к постиндустриальности экономики. С этой точки зрения пребывание в пространстве *Основного проекта* напоминает скольжение по страницам интернета. Виртуализация – это вторая характеристика пространства, которую мне кажется важным отметить в связи с проектами, представленными на биеннале. Кажется, что именно этот тип мобильности в пространстве создали, возможно, не предполагая этого, кураторы проекта. Ведь вся экспозиция представляет собой множество фрагментов, отсылающих к иным – не проговариваемым арт-объектами – смыслам, а объём представленной в экспозиции информации кажется неисчерпаемым. Переход от одного экспоната к другому, предполагающий прочтение описания этого проекта, но не представляющийся возможным, напоминает интернет-серфинг, также не предполагающий возможности осмысления всего представленного контента. Этот же тип мобильности отсылает к образу гипертрофированной мобильности труда и капитала, декларируемому в качестве наиболее востребованного в рамках постфордистской экономики.

Более действенной, нежели интеллектуальный труд по восприятию теории современного искусства, представленной *Основным проектом*, оказывается полнота тактильных ощущений, окружающих посетителей действующих заводских пространств, в которых представлены *специальные проекты*. В отличие от *Основного проекта*, специальные проекты разместились на крупных действующих предприятиях Екатеринбурга, таких как знаменитый

[16] См.: *Первая Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Основной проект*, указ. соч., с. 32.

Уралмаш (Уральский завод тяжёлого машиностроения), ВИЗ-Сталь (Верх-Исетский металлургический завод) и др. Таким образом современное искусство помещается в действующий индустриальный контекст, а промышленное пространство превращается в объект художественного воздействия. В частности, особое внимание привлекли два проекта: световые инсталляции на территории завода ВИЗ-Сталь, работающие с заводской архитектурой, а также проект «Любимые картинки», превращающий один из цехов Уралмаша в выставочный зал с репродукциями знакомых пейзажей на шкафчиках для инструментов. Оба проекта принципиально объединяет расположение именно в функционирующем заводском пространстве, в которое они привносят свою функцию, «изменяя пространство и объединяя завод, рабочего и многообразное течение жизни людей, в котором доля человека не сводится только лишь к работе»[17], и создавая открытое горожанину пространство завода с преображением серости пятен на карте города. Современное искусство предстаёт здесь в качестве способа мышления, призванного «не вытеснить индустриальность, а переосмыслить её значимость в контексте города и региона, способного активизировать смыслы индустриального наследия, сделать их видимыми и значимыми в культурном пространстве города»[18].

Возникает вопрос, кто должен стать реципиентом произведённых образов в условиях, когда екатеринбургское сообщество продолжает заниматься поиском идей для конструирования городской идентичности, создания городской мифологии? Кураторы *Основного проекта* заявляют, что они ждут «заинтересованную публику». Властные институции, поддержавшие биеннале, предполагают, что аудитория проекта – горожане и те, кто воспримет образ города извне, в той или иной степени сможет инвестировать в город – от туристических вложений до крупного капитала (мы не можем отрицать экономических и политических смыслов подобных художественных проектов). Однако маркирование городской идентичности для создания образа Екатеринбурга в «качестве точки притяжения мирового арт-сообщества», а также для притяжения туристической массы, бизнеса и иных сообществ через ассоциирование с индустриальным влечёт ряд противоречий. И первое из них заключается в следующем. Выстраивая идентичность города исходя из его индустриальной составляющей, мы возвращаемся к безликому определению «Урал – опорный край державы», исключая возможность восприятия города как самостоятельного образования, уникального в своей функции в границах не только страны, но мира (как, к примеру, эта функция может быть сконструирована на основе активно используемой идеи границы Европы и Азии). Это обстоятельство интересно особенно тем, что в течение нескольких лет наблюдалась чёткая тенденция дискурсивного от-

---

17 См.: *Первая Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Специальные проекты*, указ. соч., с. 131.

18 Там же.

деления города от области и региона, выделения его и позиционирования в качестве уникального «метаиндустриального» центра. Таким образом, происходит прерывание дискурсивной традиции переосмысления образа города как постиндустриального мегаполиса, эксплуатируемого в постсоветском Екатеринбурге.

Кроме того, обнаруживается закономерность, связанная с тотальной «анонимизацией» всех сторон процесса создания и репрезентации идентичности города через работу с индустриальным пространством и его презентацию как основного маркера региональной идентичности; это касается и анонимности индустрии, и образа города как товара, и искусства, включённого в этот процесс. Порождённые индустриальностью анонимность и серийность переносятся на художественные объекты, произведённые посредством тиражирования и повторения в противовес уникальности авторского жеста. Так, предполагаемые кураторами биеннале восстановление связи искусства и промышленности, переосмысление значимости индустриальности в контексте города предстали в большей степени рефлексией относительно природы современного искусства, нежели «возвращением голоса заводу», включением индустриальности в ментальное поле горожанина и ценностной маркировкой локусов индустриальности в пространстве города.

Город, описанный через индустриальный модус своего существования, также утрачивает уникальность, будучи поглощённым, с одной стороны, уральской региональной идентичностью, с другой же – логикой тиражирования глобального искусства: анонимного и коммодифицированного как на уровне отдельных артефактов, так и на уровне формы своей репрезентации – биеннале. Сами кураторы программ биеннале подчёркивают, *во-первых*, факт чрезвычайного распространения биеннале современного искусства в разных городах мира, а также повторяющееся смысловое поле, ими производимое[19], *во-вторых*, неразрывную связь этой формы представления искусства с капиталом и властными амбициями, что означает тотальную встроенность биеннального движения в капиталистическую индустриальную логику. В такой ситуации работа современного искусства не сможет разрешить проблему поиска нового осмысления индустриальности, её роли в формировании городской идентичности и проблем, связанных с коммодификацией и анонимизацией городского пространства. Поскольку сама биеннале включена в систему производства, под сомнение также может быть поставлена и возможность её критического отношения к тому типу социальности, для которого отношение к индустриальному

19 См.: *Кураторский манифест Первой уральской биеннале индустриального искусства* // [Электронный ресурс.] Точка доступа: www.ncca.ru/events.text?filial=5&id=616. Дата обращения: 01.08.2010. (Необходимо иметь в виду, что публиковалось как минимум две версии кураторского манифеста. В данном случае мы обращаемся к первой редакции, уделяющей большее, нежели вторая, внимание рефлексии относительно промышленного производства и труда рабочего, а также роли искусства в осмыслении этого проекта.)

пространству является настолько же определяющим, насколько и проблематичным и нуждающимся в переосмыслении.

В связи с этим может возникнуть вопрос: почему мы вообще говорим о том, что искусство должно решать какие-то проблемы? «Даже если повышение популярности региона станет побочным эффектом биеннале, это не может и не должно быть одной из её задач. Искусство такие задачи не решает, иначе оно превращается в политический или туристический дизайн»[20], – заявляет Екатерина Дёготь в одном из первых интервью во время работы над проектом. Однако позднее кураторский манифест[21] определяет в качестве задачи биеннале «производство смыслов» – как для «внешнего использования»:

> «помочь осмыслить прошлую и настоящую модернизацию в России, критически взглянуть на сегодняшние социальные процессы, способствовать объединению общества. Современное искусство может помочь интеграции региона – а значит, и России в целом – в контекст совершенно нового мира, каким он стал в момент кризиса конца 2000-х годов, – мира, стремящегося к более справедливому распределению ресурсов, в том числе и творческих»,

так и для «внутреннего»:

> «Современное искусство призвано вернуть голос и смысл этим пространствам, вновь сделать их видимыми и значимыми в культурном пространстве города... Исчезновение пролетариата из современного культурного пространства означает лишение значительной части населения возможности символически осмыслить собственную жизнь. Современное искусство, представленное на биеннале, должно пересечь границу между социальными слоями и позволить художникам, рабочим и зрителям задуматься над тем, как индустриальное и постиндустриальное, пролетариат заводов и работники офисов могут сосуществовать и плодотворно взаимодействовать в современном мире».

Однако и здесь обнаруживается противоречие. Стремясь осмыслить труд рабочего, вернуть голос заводу, кураторы вопрошают: «Что происходит, когда рабочие уходят с фабрики? И что будет, если они вернутся?» – как если бы речь шла о сверхъестественных существах... Кто же зритель, реципиент произведённых на временной фабрике смыслов? На кого ляжет бремя понимания? Если вчитаться в манифест и осмотреть представленные экспозиции, то становится ясно, что реципиентом должно выступить арт-сообщество. А это означает, что искусство – как и произведённые смыслы – остаётся бытовать для себя и внутри себя, внутри замкнутой культурной индустрии, рефлексирующей относительно путей собственного развития и нынешнего состояния, а пространства заводов продолжат своё анонимное существование в пространстве современного города.

---

[20] Дёготь Е. Не понимаю смысла слова «регион» // *TATLINNEWS*. 2010. 2/56/83.

[21] См.: *Кураторский манифест*, указ. док. Дата обращения: 04.08.2010.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО СОВЕТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 1920–1930-х гг.[1]

Светлана Ульянова[2]

Abstract

The article contains an analysis of the main principles of the soviet factory system in the 1920s–1930s. An early soviet industrial model put the factory in the center of economic, social and political life, filled it with different socialist symbols. Every worker had to place his/her everyday life under the control of industrial community, linked their professional and consumer expectations to the factory and stayed almost all the time at expanse of the «native plant».

Keywords: social expanse, factory, industrial community.

В последние годы одним из важных направлений исторической науки является изучение индустриального наследия. Этот термин включает в себя ценности индустриальной культуры, имеющие историческое, технологическое, социальное, архитектурное или научное значение.[3] Один из аспектов изучения индустриального наследия – исследование фабрики как явления материальной культуры, обусловленного определёнными социальными ценностями традиционного характера. В этом отношении отечественная историография может гордиться многолетней традицией изучения истории отдельных предприятий. В последние годы всё большее распространение получает использование микроисторических подходов. Как справедливо отмечается в одном из современных исследований,

> «отдельные факты и даже казусы, собранные воедино, позволяют анализировать стратегию поведения групп и общностей, вникая в цели поступков, их направленность, причины того или иного изменения в поведении и связанных с ним переживаний, в том числе и прежде всего во время конфликтных ситуаций, без которых никогда не обходились производственные отношения, повседневная жизнь рабочих и работодателей».[4]

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 10-01-00407а).

2 Светлана Борисовна Ульянова – доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой истории Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация).

3 Виноградов В.А., Бородкин Л.И. Экономическая история и современность // *Новая и новейшая история*. 2006. № 6. С. 9.

4 Пушкарёва И.Н., Пушкарёва Н.Л. «Новая рабочая история» в зарубежной историографии // *Социальная история. Ежегод-*

В работах А.К. Соколова, В.С. Журавлёва, Г.Р. Наумовой, В.С. Тяжельниковой, С.П. Постникова, М.А. Фельдмана и др. нашли отражение вопросы формирования особой культуры русской фабрики, исторически сложившихся национальных традиций социально-трудовых отношений в промышленности. Изучение промышленной истории требует учёта особенностей индустриального хронотопа. Фабрика как историческое явление существует в пространстве и во времени, причём и время, и пространство социально структурированы. На предприятиях индивиды распределяются в пространстве таким образом, что их можно изолировать, отыскать, при этом и промышленная архитектура, и социальное наполнение архитектурного объёма диктуются производственным механизмом. Анализируя особенности фабричного пространства, следует иметь в виду, что оно

- организовано, *во-первых*, рационально, согласно «машинной» логике, *во-вторых*, по принципу паноптикума;
- маркировано различными социальными, политическими, религиозными и др. символами;
- наполнено социальными и политическими отношениями по горизонтали и вертикали.

Поступление на завод требовало установления символических прав над определённой частью территории, организации собственного пространства, его центрирования (люди и группы склонны видеть себя в центре по отношению к окружающему пространству, что позволяет получить узлы связи, места защиты и управления, сформировать каркас обитаемой территории, придать ей определённую конфигурацию)[5]. Складывались определённые стереотипы взаимодействия человека с внешней средой, представления о «своём» и «чужом» пространстве, территориальные ценности.

В повседневной жизни заводского сообщества существовала иерархия социального пространства, которая конструировала систему социальных связей не только на формальном, но и на бытовом уровне. В этом контексте интересным аспектом изучения являются социальные сети взаимосвязей и взаимодействий в частной, домашней и внедомашней производственной жизни; каждодневные обстоятельства работы, мотивации труда, отношения работников между собой и их взаимодействия (в том числе и конфликтные) с представителями администрации; модели поведения и отношения, которые возникают на рабочем месте.

Применительно к истории советского общества важно отметить, что оно строилось по образу и подобию фабрики. Поэтому изучение дисциплинарного пространства советского предприятия, которое выступало средоточием социальной и политической жизни, определяло её ритм и содержание, представляется актуальной историографической проблемой. Центральным понятием является «заводское сообщество» как совокупность людей, занятых

ник. 2001/2002. М.: РОССПЭН, 2004. С. 58.

5 Тишков В.А. *Реквием по этносу.* М.: Наука, 2003. С. 297.

в индустриальном производстве на конкретном предприятии. В отличие от трактовки заводского (производственного) сообщества (*Werksgemeinschaft*), принятой в германской школе *Alltagsgeschichte*, где во главу угла ставится общность интересов всех работников на уровне завода[6], в данной статье заводское сообщество рассматривается как сложно организованная система, различные элементы которой находятся в динамичном состоянии взаимозависимости и определённых социальных, экономических и политических договоров, где всё пронизано отношениями власти и подчинения. Человек, попадая в производственную организацию, включался в иерархизированную систему сложившихся социально-трудовых отношений, в которых сталкивались интересы рабочих, инженерно-технических специалистов и администраторов-хозяйственников. Неслучайно М. Фуко уподобил завод монастырю, крепости, закрытому городу:

> «Необходимые порядок и дисциплина требуют, чтобы все рабочие были собраны под одной крышей. Дисциплинарные механизмы прорабатывают пространство много более гибким и тонким образом. Прежде всего, по принципу элементарной локализации или расчерчивания и распределения по клеткам. Каждому индивиду отводится своё место, каждому месту – свой индивид. Дисциплинарное пространство имеет тенденцию делиться на столько клеточек, сколько есть тел или элементов, подлежащих распределению. Требуется вести учёт наличия и отсутствия, знать, где и как найти того или иного индивида, устанавливать полезные связи, разрывать все другие, иметь возможность ежеминутного надзора за поведением каждого, быть в состоянии оценивать его, подвергать наказанию, измерять его качества и заслуги»[7].

Уже в первой половине XIX в. в промышленном строительстве возник новый тип здания с ячейково-зальной организацией внутреннего пространства, позволившей реализовать принцип «паноптизма» (термин И. Бентама), т. е. обеспечить управляющим постоянное наблюдение и контроль над управляемыми. К 1917 г. в промышленном строительстве окончательно сложилась конструктивная основа промышленных пролётных зданий, состоящая из решетчатых колонн, сквозных ферм, подкрановых составных балок, прокатных прогонов, торцовых и продольных фахверков, образующих вместе единую пространственную систему.[8] Прохаживаясь по центральному проходу в цехе, можно было осуществлять надзор одновременно и общий, и индивидуальный: отмечать присутствие рабочего, его прилежание, качество работы; сравнивать рабочих

6 Людтке А. *История повседневности в Германии: Новые подходы к изучению труда, войны и власти* / Перев. К.А. Левинсона и др. М.: РОССПЭН, 2010. С. 160–161.

7 Фуко М. *Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы* // [Электронный режим] Точка доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Fuko_Tyrm/index.php.

8 Штиглиц М.С. *Промышленная архитектура Петербурга*. СПб.: Журнал «Нева», 1996. С. 70.

друг с другом, классифицировать их сообразно с ловкостью и быстротой, следить за последовательными стадиями производства.

В интерпретации Фуко паноптизм оказывается фундаментальным принципом власти, постоянно стремящейся наблюдать за всеми и контролировать всех, оставаясь при этом невидимой и анонимной. Те или иные группы сплошь и рядом чувствуют на себе – именно как на сообществе в целом – пристальный прищур власти и под этим взглядом выстраивают как внутриобщинные нормы, так и стратегию «внешнего поведения» по отношению к «господствующим чужим». Даже в сравнительно благоприятных условиях «наблюдаемым» приходится идти на рискованные эксперименты с собственной идентичностью, чтобы лучше соответствовать ожиданиям «наблюдающих».[9]

Естественно, основным принципом организации заводского пространства был принцип производственный. Однако применительно к предприятиям 1920-х гг., только-только выходившим из разрухи, говорить о рациональной организации производственной повседневности можно лишь с определённой натяжкой. Здания требовали ремонта (нередки были случаи, когда разбитые окна закрывали фанерой, крыши текли, полы проваливались). Работа велась на изношенных станках. Так, по Ленинградскому промышленному бюро процент изношенности основного капитала промышленности на 1 октября 1925 г. составил 37%.[10] Машины 15-летней давности не считались старыми. А на фабрике «Красный ткач», например, в 1924 г. ещё работали механизмы 1867–1868 гг. выпуска.[11] Ещё в середине десятилетия производственные мощности были недогружены, царившая бесхозяйственность заполняла заводское пространство неиспользуемыми машинами, сырьём и изделиями, разнообразным хламом. Несуразное расположение станков, мастерских, складов заставляло работников в день проходить большие расстояния в поисках материалов, инструментов и пр. Неслучайно объявленный в 1296 г. «режим экономии» начался с уборки заводских дворов. Дело в том, что, согласно Типовому уставу треста (1923 г.), директор предприятия представлял проект производственной программы и сметы вместе с заявкой на материалы, денежные средства и рабочую силу правлению треста. Правление, утвердив их, должно было снабжать заведение сырьём, деньгами, привозным топливом, основными материалами в соответствии с планом и сметой. Директору предоставлялось право и даже вменялось в обязанность проявлять инициативу в пополнении запасов сырья, право закупать и изготовлять таковое.[12] Директоры

---

9 *Казус: индивидуальное и уникальное в истории: 2006.* М.: Наука, 2007. С. 8–9.

10 *Ленинградская область в таблицах.* Ленинград, 1927. Табл. 13.

11 Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга. Ф. 16, оп. 5, д. 5906, л. 189–201.

12 Венедиктов А.В. *Организация государственной промышленности в СССР: в 2 тт.* Т. II. 1921–1934. Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1961. С. 76–77.

пользовались этим и стремились создать как можно больший резерв сырья и материалов. Но в связи с отсутствием в большинстве случаев условий для длительного хранения эти запасы постепенно приходили в негодность.

На первых порах работа по сбору и учёту материалов, инструментов и полуфабрикатов дала большой эффект. Так, за счёт очистки территории Путиловский завод получил материалов на 783.2 тыс. руб.[13] Реализация излишков материала на «Электросиле» дала 60 тыс. руб. прибыли.[14] На Северной судоверфи специальная комиссия обследовала все кладовые и склады, выявив излишки на 1.8 млн руб.[15] А на небольшом архангельском лесозаводе в феврале 1926 г. специальная комиссия выявила разных ненужных заводу станков и предметов на 10 000 руб.[16]

В рассматриваемый период фабричное пространство таило в себе определённую долю опасности. Изношенное оборудование, низкая квалификация большинства работников, переход в середине 1920-х к политике неограниченной сдельщины, побуждавшей рабочих к пренебрежению правилами техники безопасности ради заработка, отсутствие элементарного порядка на производстве – всё это приводило к росту травматизма. По данным Наркомата труда СССР, в крупной промышленности на 1 января 1929 г. среди молодых рабочих до 19 лет инвалидов насчитывалось 1.9% у мужчин и 3.5% у женщин. В возрасте от 20 до 24 лет этот показатель возрастал до 11.7% у мужчин и до 14.8% у женщин. Это означало, что примерно каждый восьмой молодой рабочий к 24-м годам становился инвалидом. Число рабочих-инвалидов труда превышало 10% от общей численности промышленных рабочих.[17]

Высокий уровень травматизма современники объясняли тем, что (1) в СССР фиксировались все несчастные случаи, даже самые лёгкие (это не так, рабочие зачастую не обращали внимания на мелкие травмы, стремясь к высокой сдельной выработке); (2) большинство фабричных зданий было построено ещё до революции и теперь находилось в неудовлетворительном состоянии; (3) оборудование устарело и изношено; (4) малоквалифицированные рабочие технически неграмотны, а опытные рабочие – беспечны и самонадеянны; (5) хозорганы недостаточно внимательны к условиям труда рабочих.[18] Постоянно проводившиеся кампании (колдоговорные,

---

13 *Завершение восстановления промышленности и начало индустриализации Северо-Западного района (1925–1928 гг.).* Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1964. С. 90.

14 *Красная газета.* 1926, 14 июля.

15 *Производственное совещание.* 1928. № 3. С. 6.

16 Государственный архив Архангельской области. Ф. 266, оп. 6, д. 111, л. 196.

17 Фельдман М.А. Условия труда промышленных рабочих Урала в 1910–1930-е гг. // *Экономическая история. Ежегодник. 2006.* М.: РОССПЭН, 2006. С. 276.

18 Якубова А. Промышленный травматизм и борьба с ним // *Вопросы труда.* 1928. № 7–8. С. 50.

перевыборные и пр.) способствовали сохранению внимания к вопросам охраны труда и тем самым содействовали их улучшению. В то же время политика опережающего роста производительности труда по отношению к заработной плате, провозглашённая в середине 1920-х гг., реализовывалась и за счёт условий труда, вызывая резкие протесты со стороны рабочих.

Следует признать, что к середине 1930-х гг. ситуация на предприятиях заметно изменилась. В 1935 г. на Всесоюзном совещании стахановцев перетяжчик фабрики «Скороход» Н.С. Сметанин говорил:

> «Я помню свою фабрику, когда она представляла собой большую грязную кустарную мастерскую. Я вижу, как фабрика изменилась сейчас. Если вы идёте по ней, то вам кажется, что вы видите не цеха, в которых люди заняты физическим трудом, а лаборатории. Люди в чистых халатах стоят около машин. Кругом чистота. Наша фабрика – действительно социалистическое во всех отношениях предприятие»[19].

Ему вторила московская ткачиха М.В. Лысякова:

> «А если взять то, что было в 1927–1928 гг., – даже глядеть страшно. Материал был разбросан – там початок, там шпулька, всё валялось. А сейчас, если вы придёте на нашу фабрику – чистота и опрятность, вы ни одной шпульки, ни одного початка не найдёте. Это говорит о том, что нас воспитала фабрика»[20].

Условия труда, организация «производственного быта» формировали атмосферу на предприятии, которая влияла на успешность и производства, и идеологической работы правящей партии среди своей «опоры» – рабочих. Фабрику можно воспринимать как особое жизненное пространство, в котором человек не просто работал, но и жил. Ещё И.Х. Озеров указывал на неразрывную связь рабочего со своим заводом, связь, которая превратила «его в улитку, сросшуюся со своей раковиной», от которой «он не может оторваться».[21] Учитывая, что на производстве рабочий проводил как минимум треть суток, жил зачастую в фабричной казарме, можно сказать, что человек лишь в малой степени мог распоряжаться собой. Администрация регламентировала его распорядок дня (правила внутреннего распорядка), питание (традиция питания «всухомятку» у станка, введение обеденного перерыва в 1920-е гг., культура заводских столовых), семейную жизнь, трату заработанных денег (в этом плане интересную информацию даёт изучение политики заработной платы, бюджетов рабочих, исторического опыта рабочей потребительской кооперации, касс взаимопомощи, потребительского кредитования) и т. д.

---

19 *Первое Всесоюзное совещание рабочих и работниц – стахановцев. 14–17 ноября 1935 г.* Стеногр. отчёт. М., 1935. С. 38.

20 Там же, с. 80–81.

21 Озеров И.Х. *Горные заводы Урала*. М., 1910. С. 18.

Пространство промышленного предприятия включало в себя множество объектов непроизводственного назначения. Отметим характерную для русской «фабрики-общины» черту – обеспечение материальных и социально-культурных потребностей своих работников, связь работников с фабрикой не только непосредственно в производственном процессе, но и в учёбе, воспитании детей, культурном росте и пр. Такое положение, когда все нужды работника удовлетворялись на фабрике, когда он стремился жить ближе к месту работы, а круг его общения ограничивался товарищами по работе, когда с фабрикой была связана и его семья (дети и неработающая жена) и рабочий коллектив становился для человека референтной группой, имело под собой не только неписаную традицию, но и отвечавшую ей законодательную базу. В годы нэпа предприятия должны были содержать школы фабрично-заводского ученичества и технические курсы, школы по ликвидации неграмотности, клубы, детские сады и ясли, библиотеки и пр. Причём средства, выделяемые предприятиями на эти нужды, находились, согласно законодательству, в распоряжении профсоюзов.[22] При предприятиях действовали и лечебные учреждения – амбулатории и пр. Хотя обслуживание в них часто вызывало нарекания, для рабочих это была практически единственная возможность поправить здоровье.

Говоря об организации пространства на советской фабрике, следует иметь в виду, что именно предприятие зачастую организовывало жизнь и за фабричными воротами. Строя фабричное жильё, коллектив предприятия словно раздвигал границы территории, над которой он мог установить свой контроль. Фабрика или завод мыслились как центр общественной жизни всего поселения.[23]

Существовало *три типа* сочетания производства и жилья. Первый – непосредственное размещение жилых зданий казарменного типа для рабочих и служащих на территории предприятия в специально выделенной для этого зоне. Совмещение на одной территории производственных, жилых и обслуживающих зданий вело своё начало от усадебного типа промышленного комплекса XVIII–XIX вв. В конце XIX в. жильё для рабочих начинает вычленяться непосредственно из структуры промышленных предприятий. В советский период, в 1920-е и, особенно, 1930-е гг., формируются рабочие кварталы, рабочие посёлки и целый городки.

В годы первой пятилетки в промышленные центры прибывали десятки тысяч новых рабочих. Жилищная политика осознанно использовалась советской властью как мощное и эффективное средство дисциплинарного воздействия на «нетрудящихся» или «плохо трудящихся». М.Г. Меерович выделил те действия, которые власть для этого целенаправленно осуществила: присвоила себе всё многоквартирное многоэтажное городское жилище; запретила все

---

22 *Законодательство о промышленности, торговле, труде и транспорте: в 2 ч.* Ч. II. М., 1923. С. 579–580.

23 *Очевидная история. Проблемы визуальной истории России XX столетия.* Челябинск: Каменный пояс, 2008. С. 366.

формы обретения жилья, кроме государственного распределения; провозгласила принцип «жильё только для тех, кто работает»[24]. В новых индустриальных городах жильё предоставлялось почти исключительно предприятиями. Например, в Магнитогорске 82% жилья принадлежало Магнитогорскому металлургическому комбинату.[25] Обычно ведомственное жильё имело вид бараков или общежитий. Для молодых рабочих, не имевших семьи, специально разрабатывались проекты домов-коммун, жилых комплексов с небольшим приватным пространством и обширными общими помещениями. Так осуществлялась экспансия публичного пространства, нормативной модели коллективного быта, а частная жизнь отступала перед соображениями административной целесообразности и экономии. В результате в советской повседневной практике начали складываться «трудобытовые» коллективы (термин, предложенный М.Г. Мееровичем[26]). Здесь за счёт тесного переплетения производственных и бытовых процессов должен был формироваться такой вид коллективного объединения людей, в котором за счёт «прозрачности» жизни предметом каждодневных бытовых разговоров и обсуждений становятся трудовые дела. Таким образом, в новой жилищной идеологии отсутствовала «концепция приватности».

Исследователи советских бытовых практик 1920–1930-х гг. часто обращают внимание на недостаточно комфортные условия проживания, которые предприятие предоставляло рабочему. В то же время, в соответствии с провозглашённой в начале 1930-х политикой строительства образцовых пролетарских районов, большие средства вкладывались в создание новых жилищных массивов при крупных предприятиях. При этом главным принципом городского планирования становилась организация всей городской жизни вокруг промышленных предприятий. В процессе совместной работы и проживания создавались соседско-дружеские сети, в которых наблюдалось «перекрытие» социальных ролей, т. е. коллеги с завода являлись также соседями, часть соседей находились друг с другом в родственных отношениях, дети соседей, знакомые с детства, позже становились коллегами. В итоге при заводах формировались относительно замкнутые микросообщества.[27]

Идея формирования коммунального типа проживания имела мощную опору в коллективистских отношениях деревенской общины. В традиционной крестьянской среде человек оказывался

---

24 Меерович М.Г. *Наказание жилищем: жилищная политика в СССР как средство управления людьми (1917–1937 годы).* М.: РОССПЭН, 2008. С. 5.

25 Фицпатрик Ш. *Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город* / Перев. Л.Ю. Пантина. М.: РОССПЭН, 2008. С. 62.

26 Меерович, указ. соч., с. 23–24.

27 *Нормы и ценности повседневной жизни: Становление социалистического образа жизни в России, 1920–1930-е годы.* СПб.: Журнал «Нева», 2000. С. 27–74.

под мощным принудительно-воспитательным воздействием коллектива. К наследию крестьянско-общинной организации можно отнести непритязательность, уравнительность в быту и общественной жизни.[28] Провозглашая и реально формируя коммунальное жилище как специфический тип совместного существования членов одного трудового коллектива, власть сознательно и целенаправленно восстанавливала в городе привычные для выходцев из деревни традиционные истоки культурно-бытового и трудового сосуществования.

В советское время завод являлся средоточием социальной и политической жизни. Партийные, комсомольские, профсоюзные структуры, низовые ячейки различных общественных организаций (МОПР, ОДВФ и др.) занимали заметное место в пространстве предприятия. На заводах проводились выборные советские кампании и даже выездные заседания судов.[29] В соответствии с господствующей идеологией рабочий никогда не должен был забывать о социалистическом характере производства. С этой целью пространство предприятий оказалось маркировано множеством символов нового строя. Например, во время Первой всероссийской профнедели (февраль 1921 г.) все фабрики, залы заседаний и пр. должны были украшаться специальными плакатами, показательными картограммами и т. д. Организовывалась выставка профдвижения. Лучшие предприятия награждались производственными знамёнами. Члены союзов снабжались соответствующими нагрудными значками.[30]

На заводах и фабриках производственная жизнь наглядно отображалась в стенгазетах, на досках почёта и позора, в графиках выполнения производственных заданий и программ. Эти презентации могли быть как негативными, так и позитивными. Например, на Ленинградской ниточной фабрике им. Халтурина в 1925 г. «цеховым производственным совещанием строительного отдела сделан цифровой экран прогульщиков фабрики. Экран установлен в воротах фабрики и указывает число прогульщиков на ф-ке. Экран, как способ агитации за ликвидацию прогулов, имеет большой успех»[31]. С другой стороны, специальными символами отмечались и производственные успехи. Так, в 1936 г. во время стахановской кампании на заводе «Красный Октябрь»

> «для развития соцсоревнования организован порядок вывешивания в течение дня красных флажков на станках перевыполняющих норму.

[28] Миронов Б.Н. *Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.).* Т.1. СПб.: «Дмитрий Буланин», 1999. С. 343–344.

[29] Ульянова С.Б. *«То на скаку, то на боку»: Массовые хозяйственно-политические кампании в петроградской/ленинградской промышленности в 1921–1928 гг.* СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2006. С. 94—101.

[30] Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. Ф. 6276, оп. 42, д. 17, л. 32–33.

[31] Будни производственных совещаний // *Производственное совещание.* 1926. № 1. С. 13.

> На том станке, где уже достигнута норма на 100%, вывешивается 1 флажок, где норма выполнена на 200% – вывешивается 2 флажка и т. д.»[32].

Особо почётная символика в 1920-е была связана с образом В.И. Ленина: в 1928 г. на одном заводе проводился конкурс на лучший цех по наименьшему количеству прогульщиков. В качестве приза лучший цех получал бесплатные билеты в театр или кино или газеты на месяц и бюст Ильича на пьедестале. При этом бюст Ленина стал переходящим призом.[33] Как отметил С. Коткин применительно к Магнитке начала 1930-х гг., такие призы и знамёна, «переходившие из рук в руки вслед за взлётами и падениями отдельных бригад (иногда это могло происходить чуть ли не в течение одной смены), превращали работу в некое подобие спорта»[34]. Таким образом, советская символика, атрибуты новой идеологии визуально преображали публичное пространство советского предприятия, формируя его как социальную площадку определённого типа.[35] Можно предположить, что тем самым рабочим коллективам диктовали нормы предписанного, допустимого и недопустимого поведения в данном «общественном месте».

Формируя новый стиль жизни и индустриального труда, советская власть активно использовала социальное заводское пространство, в 1920-е гг. ещё сохранявшее многие черты дореволюционного прошлого. Значительные перемены в повседневной жизни заводского сообщества, в его взаимоотношениях с властью были связаны, в том числе, с организацией пространства на фабрике и вне её, с центрированием пространства, превращением фабрики в центр социально-политической жизни, использованием заводского пространства не только в производственных, но и в бытовых и политических целях, а также с приданием ему нового символического смысла.

---

32 Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга. Ф. 24, оп. 2в, д. 2093, л. 54.

33 Самошин А. Некоторые итоги // *Производственное совещание.* 1928. № 8. С. 8.

34 Коткин С. Говорить по-большевистски // *Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период: Антология.* Самара: «Самарский университет», 2001. С. 258.

35 Адоньева С. *Дух народа и другие духи.* СПб.: Амфора, 2009. С. 269–270.

МОНОГОРОД: ДИЛЕММЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА[1]

Наталья Веселкова, Елена Прямикова, Михаил Вандышев[2]

Abstract

In this paper the authors analyze the problem of space construction in mono-towns. The researchers describe identification criteria for mono-towns, clarify the notion in a series of concepts such as «one company town» and «industrial city». The structure of mono-towns space is closely connected with the position of city-forming enterprises. For local population main (city-forming) enterprises are the source of town's prosperity. The article states that the practice of life-support of population is constructed in a strong connection with the activities and status of the enterprises. The authors consider Asbest town as an empirical case and analyze non-human actors that organize the structure of the town.

Keywords: mono-town, town space, enclave, non-human actors, constructions of town space.

Моногородская тематика приобрела популярность в 2009 г., когда в связи с событиями в Пикалево[3] было принято решение разработать программу федеральной поддержки моногородов. Для их выделения использовали два критерия: *во-первых*, на градообразующем предприятии (либо в группе связанных предприятий) доля работающих составляет не

1 Статья написана в рамках проекта «Динамика практик и стратегий жизнеобеспечения населения моногородов» (РФФИ – «Урал» 10-06-96021). Используются данные интервью, групповых дискуссий, материалы официальных сайтов министерств и муниципалитетов, публикации СМИ изучаемых городов, региональных и федеральных изданий.

2 Наталья Вадимовна Веселкова – кандидат социологических наук, доцент кафедры прикладной социологии Уральского государственного университета им. А.М. Горького (г. Екатеринбург, Российская Федерация).
Елена Викторовна Прямикова – кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии Уральского педагогического государственного университета (г. Екатеринбург, Российская Федерация).
Михаил Николаевич Вандышев – кандидат социологических наук, доцент кафедры теории и истории социологии Уральского государственного университета им. А.М. Горького (г. Екатеринбург, Российская Федерация).

3 Речь идёт об остановке осенью 2008 г. трёх крупнейших предприятий города («Пикалёвского глинозёмного завода», «Пикалёвского цемента» и «Метахима») и последовавшем за этим социально-экономическом кризисе.

менее 25% экономически активного населения и/или, *во-вторых*, объём производства предприятия составляет не менее 50% в отгрузке продукции населённого пункта. Таких поселений в России оказалось порядка четырёхсот. По экспертным оценкам, российские моногорода дают до 40% ВРП, в них проживает около 25% населения страны, а в Уральском федеральном округе – каждый третий (3.8 млн чел).[4] Урал как «опорный край державы» особенно насыщен такими поселениями, в силу чего представляет собой относительно компактную площадку исследования. Мы сужаем территориальный фокус до Свердловской области, где насчитывается от 12 до 17 городов. Единых представлений о числе моногородов не существует, что связано как с недостаточной концептуализацией самого этого понятия, так и с экономическими и политическими обстоятельствами (чем больше моногородов на территории, тем больше возможностей для получения субсидий из федерального бюджета).

В 2010 г. начали поступать первые транши федеральной поддержки. Пришли они и в три города Свердловской области – Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Асбест. На фоне идеологии реиндустриализации появились даже заявления о том, что моногорода могут стать точками роста и инновационного развития страны в целом.[5] Однако уже в сентябре программа была закрыта как бесперспективная. Реализация государственной политики не увенчалась успехом, в том числе, по причине существенных различий между моногородами – тот случай, когда унифицированный подход себя не оправдывает. Вместе с тем выделение моногородов в особую группу необходимо для определения способов устранения проблем: требуется, в первую очередь, диверсифицировать экономику, остановить депопуляцию, а в более широком плане – изменить практики населения. Это обусловливает актуальность анализа моногородов на предмет их разнообразия и типологизации.

Задача настоящей статьи – рассмотреть дилеммы конструирования городского пространства. Весьма специфичный представитель урбанистического семейства – явно не «лучший», скорее, гадкий утёнок – моногород способен, на наш взгляд, помочь высве-

4 *Моногорода России: как пережить кризис? Анализ социально-экономических проблем моногородов в контексте мирового финансового кризиса, влияющего на состояние градообразующих корпораций.* М.: Институт региональной политики, 2008.

5 Конференция по вопросам развития монопрофильных городов с участием представителей иностранных городов 10 марта 2010 г. // Министерство регионального развития РФ [Электронный ресурс] Точка доступа: http://www.minregion.ru/press_office/news/115.html. Можно встретить и заявления о том, что, скажем, в Асбесте, этом «небольшом уральском городе, есть все условия для создания так называемой силиконовой долины: сырьё, база, высокие технологии»; см. *Русский магний экологически безопасен* // Официальный сайт г. Асбест [Электронный ресурс] Точка доступа: http://asbestadm.ru/index.php/2010-11-02-15-03-50/36-2010-07-25-09-22-50/675-q-q--. Дата доступа: 21.12.2010 г.

тить важные особенности более масштабных трансформаций (или их отсутствие).

Что такое «моногород»?

Разбросанные тут и там по России моногорода нередко считают продуктом советской ускоренной индустриализации, урбанизации и социалистического ведения хозяйства в целом. Это верно лишь отчасти. Характерный для начального этапа индустриализации, подобный тип поселений существовал задолго до образования СССР и за его пределами. Их бурный рост приходится на период с начала промышленной революции и до великой депрессии[6] и основывается на раннеиндустриальных отраслях: текстильной, добывающей, металлургической. В настоящее время связанные с ними проблемы существуют во всех развитых странах.[7]

Между тем в англоязычной литературе не существует полного аналога отечественному «моногороду». Российские моногорода имеют свою специфику и как феномен трудно поддаются определению в силу того, что находятся на пересечении целого пучка шкал и критериев, среди которых выделим следующие: наличие и количество градообразующих предприятий; форма собственности и ведомственной принадлежности; связанность предприятий в одну производственную цепочку; размер поселения. Смысловое поле «моногорода» пульсирует между «фабричным городом» (*factory town*), «городом одной компании» (*a company town*) и «индустриальным городом» (*industrial city*).

Сегодня уже не всякий поймёт бабушкины слова о том, что та выросла «в заводе», хотя и по сей день существуют такие названия населенных пунктов и железнодорожных станций, как «Бисертский завод». Вокруг старых, петровских времён, и более новых, советских заводов выросли города, многие из которых можно назвать *фабричными*. Недостаток этого термина в том, что он ассоциируется только с промышленными градообразующими предприятиями, оставляя в тени т. н. нефтяные и газовые моногорода, поселения при атомных и гидроэлектростанциях, закрытые административно-территориальные образования, наукограды и курорты.

Идеально-типический образ *города-компании* можно описать на примере недавно показанного по отечественному ТВ художественному фильму «Чарли и шоколадная фабрика» (2005 г., по одноименному произведению Роальда Даля). Нетрудно найти по-

---

[6] Garner J.S. *The Company town: architecture and society in the early industrial age.* Oxford University Press, 1992.

[7] Зубаревич Н.В. Города как центры модернизации человеческого капитала // *Общественные науки и современность*. 2010. № 5. С. 14. В данном контексте автор расширительно упоминает «ржавые города». Некогда «промышленный», а ныне «ржавый пояс» объединяет территории на северо-западе США, с 1980-х переживающие упадок в связи с коллапсом тяжёлой промышленности, в которой они специализировались.

хожие и среди российских поселений – это те, которые обеспечиваются единственным градообразующим предприятием, как, например, Тольятти или Верхняя Салда. По формальному признаку к ним близки и поселения, работающие на военно-промышленный комплекс или представляющие собой объект стратегического значения, типа атомной электростанции. Отличие российского моногорода состоит в том, что градообразующее предприятие далеко не всегда ассоциируется с единственным частным собственником.

Российским моногородам и западным городам одной компании свойственны общие черты: 1) градообразующее предприятие (предприятия) является главным работодателем в округе, 2) в силу чего ожидается, что оно будет нести ответственность за благосостояние не только непосредственных работников, но и их семей, и жителей города в целом, 3) ожидается лояльность к предприятию как со стороны работников, так и всего населения, 4) зачастую такой город изолирован от соседей и организован вокруг предприятия (по материалам *Википедии*). Нам хотелось бы подчеркнуть ещё одну особенность: 5) даже самые «прогрессивные» моногорода не способны к устойчивому развитию[8], они неустойчивы в своей основе.

В отличие от города-компании, во многих моногородах несколько градообразующих предприятий (имеющих разных собственников), и даже если одно из них явно доминирует (как комбинат «Ураласбест» в г. Асбест), городом одной компании такой населённый пункт уже не назовёшь. Скорее, он ближе к *индустриальному городу*. А последний в индустриальную эпоху предполагает большой размах, достойный тяжёлой современности, нежели компактность малого или среднего города. Типичный индустриальный город – миллионный Екатеринбург, в бытность его Свердловском.[9]

> «Индустриальный город – это урбанизированное место, где промышленное производство доминирует в местной экономике и, шире, в окружающей среде и социальных отношениях».[10]

В силу глобальной тенденции деиндустриализации такие города вытесняются постиндустриальными метрополисами. Тер-

---

8 О направлениях развития устойчивости в обрабатывающей промышленности см.: Robins N., Kumar R. Producing, providing, trading: manufacturing industry and sustainable cities // *Environment & Urbanization*. 1999. № 11/2. P. 75–94; см. тж.: Зубаревич, указ. соч., с. 13–15.

9 Действительно, столицу Урала характеризовали прежде всего как крупный промышленный центр и только затем говорили что-то о культуре и образовательной среде. Сегодня же в описаниях Екатеринбурга (включая и целенаправленное брендирование) на первый план выходят указания на жемчужины архитектуры конструктивизма, выставочную и конгресс-деятельность, инвестиционную привлекательность и т. п., что свидетельствует о его превращении из города-завода в постиндустриальный мегаполис.

10 Harris R. Industrial City // *International Encyclopedia of Human Geography*. 2009. P. 383–388.

ритории, жёстко завязанные на индустрию, приходят в упадок. С особой остротой этот процесс переживают страны бывшего социалистического лагеря, где локальные концентрации индустриальности усугубляют сложности перехода; такие города и регионы называют теперь «лузерами»[11]. В глобальном масштабе рост индустриальных моногородов на прежней основе уже не возможен, но и перевоплотиться в постиндустриальные многопрофильные поселения они тоже не состоянии именно в силу гипертрофированного, относительно других отраслей, развития одного или нескольких предприятий.

На наш взгляд, наиболее точно специфику индустриального моногорода (именно моногород будет объектом нашего анализа) схватывают его определения через принадлежность всех предприятий и служб к одной отрасли: *single-industrial*, *mono-industrial*. Подобный термин – *one-industry city* (букв.: «одноиндустриальный город»[12]) – встречается уже у Л. Вирта в работе 1938 г., где американский социолог призывает различать социальные характеристики одно- и мультииндустриальных городов. Точно так же, по его мнению, следует разводить индустриально сбалансированные и разбалансированные города и, в целом, обращать внимание на, так сказать, специализацию: промышленную, коммерческую, курортную и т. д. – и отличия по другим критериям. В русском языке употребляются похожие, но более широкие по охвату термины – «монопрофильный», «моноспециализированный».

Очевидно неустойчивые сегодня, моногорода в период их активного роста были встроены в общую, внутренне вполне устойчивую систему. Их возведение подчинялось задачам имперского освоения пространства и логике разделения труда в масштабах страны, а в дальнейшем – и в рамках стран социалистического лагеря. Узкая специализация усиливала зависимость предприятия/города от остальных контрагентов, работая на поддержание внутрисетевой связности, причём на больших и очень больших дистанциях. Сегодня специалисты отмечают, что тем самым на огромные, слабо освоенные просторы как бы набрасывалась сеть городских поселений, помогавшая сшивать и держать пространство. Помимо целей такой колонизации, целесообразность сырьевой экономики диктовала расположение конкретных населенных пунктов в привязке прежде всего к природным ресурсам, поэтому зачастую город-завод строился «в чистом поле», в лесу, на большом отдалении от других крупных поселений, при этом многие из них воздвигались в условиях сурового климата.

---

11 Lintz G., Müller B., Schmude K. The future of industrial cities and region in central and eastern Europe // *Geoforum*. 2007. № 38/3. P. 512.

12 Wirth L. Urbanism as a way of life // *American journal of sociology*. 1938. № 44. P. 6–7. В русском переводе вместо «одноиндустриальный город» использовано более размытое, хотя и точное описание: «город, в котором сосредоточена одна-единственная отрасль»; см.: Вирт Л. Урбанизм как образ жизни // Вирт Л. *Избранные работы по социологии*. М., 2005. С. 93–118.

Те же регионы испытали своего рода вторую волну индустриализации в годы Великой Отечественной войны, во время эвакуации предприятий из западной части страны. Как правило, это были предприятия высокотехнологичных отраслей, удачно дополнявшие добывающую специализацию урало-сибирских городов. Так, в один только город Асбест в 1941 г. были эвакуированы предприятия: Ленинградский асбестовый завод, Егорьевский завод «Тормозная лента», частично Ярославский асбестовый завод, Ленинградская слюдяная фабрика, Харьковский аккумуляторный завод и Харьковский калориферный завод. В 1942 г. «на базе эвакуированного оборудования и специалистов Ленинградского, Ярославского и Егорьевского заводов» основан «Уральский завод асбестовых технических изделий», ныне Открытое акционерное общество «Уральский завод автотекстильных изделий».[13] Вместе с оборудованием перебазировались высококвалифицированные рабочие и инженеры – носители не только технологий, но и соответствующего образа жизни.

При отсутствии или слабом развитии транспортной и других инфраструктур изолированность и зависимость моногородов вызывали вынужденную автономизацию. В частности, и горожане, и предприятия создавали подсобные хозяйства. Эта деятельность приобрела серьёзный размах после Пленума ЦК КПСС 1982 г., на котором была принята *Продовольственная программа*. Подобное самообеспечение делало поселения более устойчивыми, способствуя развитию иных отраслей, помимо градообразующих. Всё это определило большой запас прочности моногородов.

Соответственно названным задачам формировалась и структура пространства моногорода, лишь в последнюю очередь сообразуясь с потребностями и вкусами его жителей. Но для них пространство позиционировалось – и представлялось! – как естественное и желанное: завод – кормилец, завод – гигант и гордость. В более поздние советские времена имидж моногорода подпортили экологические идеи, но после кризиса 1990-х экология ушла на второй план, а завод снова начал восприниматься как безусловное благо.

Пространство любого города содержит гетерогенные, сложно организованные структуры с центрами притяжения самого разного рода: торговые центры, площади, рынки и т. п. Сердцем же индустриального моногорода всегда является промышленное предприятие, токи города – это его токи. И сегодня жители принимают сложившийся конструкт моногородского пространства как само собой разумеющийся. «Печкой» в рассказе о жизни в своём городе у участников групповых дискуссий[14] непременно служит ха-

---

13 История: о заводе УралАТИ см.: http://www.uralati.ru/ru/history; http://www.uralati.ru/ru/article/aboutfactory.

14 Дискуссия задавалась общим посылом ведущего: «Как население в вашем поселении решает основные вопросы, связанные с жизнеобеспечением? Как образуются доходы семьи? Как поддерживается здоровье,

рактеристика градообразующих объектов. Если эти предприятия функционируют, то причастные к ним люди оказываются «белой костью»:

> «У нас есть крупное предприятие "Уралэлектромедь" и УГМК, холдинг. Очень богатое. Вот. И больше половины населения работает на этом предприятии. ... "Уралэлектромедь" ... рабочие со средним заработком, в основном. Ну, так, средне живут. ...В УГМК вообще замечательные зарплаты. Люди живут прекрасно» (ГД-1, Верхняя Пышма).

Чёткое отнесение остальных горожан к другой, менее статусной, категории отражает общую стратификацию пространства, определяемую главенством завода.

> «Следующая часть – население. ...В основном, бюджет, работают в школах, в поликлинике, большая поликлиника очень. Много школ, садиков. ***Вот это другая часть населения, которые живут, конечно, намного хуже***» (выделено нами. – *Авторы*) (ГД-1, Верхняя Пышма).

Работа где-то ещё, помимо градообразующего предприятия, включая активность малого предпринимательства, рассматривается как вынужденный компромисс, едва ли не что-то подозрительное:

> «…вот за последние где-то лет семь у нас сейчас принято среди своих земляков называть наш город – город магазинов. Там очень много предпринимателей ... в основном одежда, одежда, обувь, вот такие магазины» (ГД-1, Красноуфимск).

Женщина говорит об этом с сарказмом, в её представлении, как и у многих других, подобная деятельность никак не может стать источником процветания города, сравнимым с работой градообразующих предприятий.

Всё тот же «некурортный климат», по мнению другого информанта, предопределяет абсолютную доминанту тяжёлой промышленности:

> «Почему я считаю, что всё крутится именно вокруг промышленных предприятий нашего города, потому что, ну что греха таить, климат у нас здесь далеко не курортный, чтобы процветал какой-то туризм и все связанные с ним сферы обслуживания туристической индустрии, развлекательных каких-то больших программ. ... И малый бизнес, который есть в Нижнем Тагиле, конечно же, работает на эти предприятия и рядом с этими предприятиями» (И-1, Нижний Тагил).

Неработающие предприятия заставляют видеть в прошлом, на которое приходится период их функционирования, *золотой век*, когда пространство города представлялось притягательным:

как обстоят дела с образованием?». В скобках указаны: ГД – групповая дискуссия, И – интервью, а также город проживания информанта.

«…на тот момент город процветал, то есть там можно было жить, работать» (ГД-1, Красноуфимск).

В отсутствие жизнеопределяющего центра – а малое предпринимательство, как было сказано, таковым не считается – закономерен исход мобильных, амбициозных и продвинутых (часто обозначаемых собирательным словом «молодёжь»[15]):

«А сейчас вообще всё это позакрывали, после 90-х, ну, вот в 90-е, по-моему, то есть весь… вся молодёжь, я считаю, у которых есть голова, они стараются уехать из города, в Екатеринбург, найти работу и более-менее прилично строить свою жизнь» (ГД-1, Красноуфимск).

«Что вызывает беспокойство, это ... отток молодёжи из города. Вот это с восклицательным знаком. ...Приходят молодые специалисты, которые даже отказываются от тех подъёмных, которые выдаёт управление образования, полагая, что им придётся отработать там положенные пять лет. То есть они для себя этой перспективы не видят» (И-2, Нижний Тагил).

«…Сходить, конечно, некуда. У нас … открывались что-то рестораны и кафешки, но закрылись, поэтому люди ударились в спорт… У нас есть, конечно, и алкоголики … но в большинстве своём приятное такое, мне кажется, место. … Молодёжь, конечно, уезжает ... вот кто уже помоложе, они, конечно, стремятся в Тюмень» (ГД-1,Туринская Слобода).

Но и успешно работающее предприятие моногорода может рассматриваться не только как желаемая идентичность, но и как обречённая включённость, которая точно так же провоцирует отток молодого населения. В отсутствие пространства многообразия возможностей даже заработок *«около 30–40 тысяч, получается, нормально для маленького города»* (ГД-2, Верхняя Салда), не оказывается достаточным для закрепления в городе.

«Я живу в Верхней Салде… Наше население ощущает себя очень плохо… нет, серьёзно плохо… У нас маленький город очень, и у нас единственное там стоит градообразующее предприятие, завод. Так что у нас, у населения, особо выбора нет, где работать, у нас все люди работают на заводе…

Ведущий. А как с социальной инфраструктурой? Образование? Здравоохранение?

У нас всё даёт завод, всё, скажем так… Всё финансирует завод… Ну, конечно, на заводе никому не нравится работать, там очень сложно… Поэтому у нас большинство молодёжи уезжает в Екатерин-

[15] На одном из екатеринбургских форумов при обсуждении известия о провале программы поддержки моногородов подобные выводы были сформулированы по критерию качества человеческого капитала: «из дохлых городов (моногорода – это эвфемизм такой) мозги давно смылись в город по умолчанию. ...В любом случае, на родину они не вернутся»; см.: [Электронный ресурс] 22 сентября 2010. Точка доступа: http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=9&i=3571998&t=3571998&page=1.

бург учиться и здесь же работать. Потому что особого выбора нет, куда идти» (ГД-2, Верхняя Салда).

Близость (относительная) крупного города позволяет расширить жизненное пространство, добавляет вариативность. Успешно работающий завод – это определённость, гарантия заработной платы, перспектив развития города. В то же время такая определённость может стать обречённостью, которая преодолевается только за счёт выбора в пользу более крупного, а главное, полиморфного поселения. Для моногорода это означает отток всех видов капитала – от финансового до человеческого; само же пространство при этом принципиально не меняется.

Достигшие расцвета в индустриальную эпоху, сегодня моногорода являют её законсервированную квинтэссенцию, которая в современном обществе неизбежно образует однобоко-перекошенное пространство. Жёстко завязанное на заводе, оно изо всех сил сопротивляется кардинальным преобразованиям. Как можно видеть, это находит своё выражение и в представлениях жителей, и в практиках предприятий, и в государственных усилиях по целенаправленному развитию городов. Рассмотрим крупным планом город Асбест как информационно богатый случай.

Non-human акторы Асбеста

Моногород Асбест ведёт свою историю с начала разработки в 1889 г. Баженовского месторождения асбеста, где в 1897 г. на болоте Кудельном, среди тайги, была открыта первая в России асбообогатительная фабрика. Трудились там в основном сезонные рабочие, в «отличие от других промышленных уголков Урала, где из поколения в поколение работали на рудниках и заводах постоянные люди», так что «[д]ореволюционная Куделька жила словно бы вне окружающего её мира», и только «на рубеже XIX–XX вв. хозяева решились строить для пришлых рабочих общие бараки и казармы»[16]. Расти это поселение начало именно на волне советской индустриализации с её поэтикой ударного труда и гигантомании. В 1930 г. заработала «гордость отечественной промышленности» асбообогатительная фабрика № 2 «Гигант», включённая в план строительных работ первой пятилетки.[17] С 1926 по 1939 гг. население выросло в четыре раза (с 7.6 до 30 тыс. чел.), в 1933 г. рабочий посёлок получил статус города. Количество жителей последовательно росло вплоть до начала 1990-х гг.; достигнув пика в 1992 г. (85.1 тыс. чел.), население начало постепенно сокращаться (2010 г. – 70 тыс. чел.), вернувшись к уровню середины 1960-х гг.[18] «Ураласбест»,

---

16 Чечулин А.И. *Асбест.* Свердловск: Средн.-Урал. кн. изд-во, 1985. С. 66.

17 Чечулин, указ. соч., с. 69–70. «Промышленные гиганты города» упоминаются и в 1990-е гг.; см.: Иванова Н. Жизнь продолжается // *Асбестовский рабочий.* 1995. 18 ноября. № 144. С. 1.

18 *Асбест on-line: всё о городе и его жизни* // [Электронный ресурс] Точка доступа: http://www.asbcity.ru; *Асбестовский городской округ – Терри-*

организованный в 1922 г. как трест, и по сей день является главным градообразующим предприятием.

Уникальность этого города поддерживается за счёт наличия асбестосодержащего сырья, а типичность определяется классической зависимостью от одного источника, связанного с сырьём или первичной переработкой сырья. Асбест относительно удалён от крупных городов и не является демографическим донором каких-либо близлежащих территорий. Расстояние до областного центра Екатеринбурга – 86 км, что допускает (пока весьма слабо развитые) практики ежедневных поездок на работу и обратно. В связи с ремонтом моста в п. Белоярский, однако, обычный маршрут с осени 2010 г. удлинился примерно на 50 км в одну сторону за счёт объезда, а проезд в автобусах «Асбест – Екатеринбург» подорожал на 30 рублей.[19]

Нам представляется продуктивным рассмотреть происходящие процессы с точки зрения *политики материальности* (в духе исследований науки и технологии – STS), анализируя, каким образом материальные, вещественные объекты регулируют и управляют поведением людей[20], включаясь как самодеятельные акторы (ANT). Особенно нас будет интересовать субъектный статус *акторов нечеловеков*[21]. Мы выделяем по крайней мере *четыре* таких актора: минерал асбест/хризотил, «Ураласбест», карьер и сам город Асбест. Как они действуют? Начнём с минерала.

• Именно он дал городу жизнь и идентичность: «Асбест – город особенный, с собственным лицом»[22].

• Люди «посвящают свою жизнь хризотилу»[23].

• Минерал «с чудесными свойствами», называемый «горным льном», «каменной куделькой»[24], вызывает романтические чувства и привязанность к месту.

тории – Геральдика Свердловской области // [Электронный ресурс] Точка доступа: http://gerb.rossel.ru/ter/ter15.

19 Альшевских А. (депутат Свердловской облдумы от КПРФ) *О партизанских тропах на Асбест* // [Электронный ресурс] 11 января 2011. Точка доступа: http://www.echoekb.ru/blogs/2011/01/11/1/1661/0/

20 Law J., Mol J. *Globalisation in Practice: On the Politics of Boiling Pigswill.* Version of 9th. [Electronic resource] April 2009. Mode of access: http://www. heterogeneities.net/publications/LawMol2006GlobalisationinPractice.pdf.

21 Б. Латур использует выражение «актанты-не-человеки»; см., напр.: Латур Б. Где недостающая масса? Социология одной двери [1992] // *Социология вещей. Сборник статей*; под ред. В. Вахштайна. М.: Изд. дом «Территория будущего», 2006. С. 199–222.

22 Атанасова И. О городе // *Официальный сайт Асбеста* [Электронный ресурс] Точка доступа: http://asbestadm.ru/index.php/2010-07-26-16-10-24.

23 *LiveChrysotile.com* // [Electronic resource] Mode of access: http://www.livechrysotile.com/#en:photo:all:all:1.

24 Атанасова, указ. статья.

• «Хризотил объединяет».[25]
• Хризотил нуждается в защите.

Хризотил стал объектом защиты в ответ на антиасбестовую кампанию. Противники считают асбест материалом-убийцей, с которым нужно бороться и защищать от него людей. Адепты же доказывают безопасность хризотила (разновидность асбеста; именно её и добывают на Урале), апеллируя к длительной практике изучения его влияния на людей, полезные свойства и дешевизну. Минерал выступает в роли жертвы клеветы и оговора, по мнению защитников, он стал заложником экономической войны, выгодной производителям альтернативных материалов.[26]

Развернувшаяся вокруг хризотила деятельность втянула асбестовцев в сложные, многосоставные отношения, включившие «большие» политику и экономику и подхлестнувшие локальный активизм горожан. В 1995 г. в местной газете появилась набранная мелким шрифтом крохотная заметка, в которой сообщалось о встрече в АО «Ураласбест» руководителей асбестовых комбинатов России и Казахстана, представителей государственного комитета внешнеэкономических связей, таможни и др. с целью «координации действий на внешнем и внутреннем рынках, а также совместных усилий против антиасбестовой кампании»[27]. Спустя полгода в Асбест прибывает группа американских и финских специалистов для проведения исследований на предприятиях и среди жителей города; их работа также интерпретируется в контексте антиасбестовой «шумихи»[28]. В 2009 г. в рубрике «В защиту хризотила» публикуются материалы о ещё более масштабном обследовании, призванном выявить воздействие хризотил-асбеста на здоровье 10 тысяч работников «Ураласбеста».[29]

Весной 1996 г. в Асбесте состоялась международная научно-практическая конференция «Асбест и здоровье» – первое в истории города мероприятие столь высокого уровня. Организатор – тот же «Ураласбест» «с участием специалистов АО НИИ Проектасбест и коллег с асбестовых предприятий СНГ», ведущих учёных-медиков из Москвы, Екатеринбурга и ряда зарубежных стран, со-

---

25 Заголовок информационного бюллетеня *Хризотил сегодня* (2010. № 5. С. 7).

26 См., напр.: Антиасбестовая кампания // *Хризотиловая ассоциация* [Электронный ресурс] Точка доступа: http://www.chrysotile.ru/node_2789.

27 Никольская Л. Съехались асбопромышленники // *Асбестовский рабочий*. 1995. 31 января. № 12. С.1.

28 «В мире не утихают страсти по поводу особой опасности асбеста для здоровья людей. В акционерном обществе “Ураласбест” составлена программа сотрудничества с рядом зарубежных организаций...», – так начинается статья; см.: Американцы рвутся в карьер // *Асбестовский рабочий*. 1995. 3 июня. № 68. С.1. См. тж.: Никольская Л. Пыль увезли за рубеж // *Асбестовский рабочий*. 1995. 29 июня. № 79. С. 2.

29 Никольская Л. Истину установят научным путём // *Уральский хризотил*, 2009. 6 января. № 1 С. 3; Дубовкина Л. Национальная программа – в Асбесте // *Асбестовский рабочий*. 2009. 9 января. № 2. С. 2.

трудников Министерства труда РФ, представителей областного правительства и центральных СМИ.[30] Борьба с общим врагом служит консолидации: на этой конференции учреждается «Асбестовая ассоциация». Если поначалу эта деятельность подавалась как прерогатива топ-менеджмента, то к настоящему времени она конструируется как всенародное движение: «На защиту хризотила поднялась вся общественность Асбеста» – говорится о семинаре, посвящённом противодействию антиасбестовой кампании в 2010 г. Одна из участниц семинара, руководитель городского управления образования, убеждена, что «[в]опрос о проблеме антиасбестовой кампании необходимо поднимать не только среди взрослых, но и говорить об этой проблеме с детьми. ... Нужно воспитывать в наших гражданах неравнодушное отношение к хризотилу, к антиасбестовой кампании, к судьбе города»[31].

Если глобальная тенденция деиндустриализации фактически стигматизирует индустриальные пространства, то стремление к установлению глобального безасбестового порядка[32] стигматизирует эту отрасль. Асбест превращается в своего рода сакральное, в расширенном понимании, когда оно «означает приблизительно то же, что и запретное. При таком понимании мир делится на вещи и действия, на которых лежит запрет, и на все остальные, на которых запрета нет»[33]. Восприятие всего связанного с этим минералом как нечистого, грязного, испорченного (в смысле М. Дуглас) побуждает асбестовцев к тактическим отступлениям. В 2003 г. «Асбестовая ассоциация» переименована в «Хризотиловую ассоциацию», УралАТИ – завод асботехнических изделий, второе по величине и значимости градообразующее предприятие Асбеста, в 2006 г. также сменило название на Урал-АТИ – завод автотекстильных изделий.[34] От людей зависит, будут ли они воспринимать хризотил как:

---

30 Мотив прежний: «Антиасбестовая кампания по-прежнему не утихает. В прессе разных стран то и дело публикуются материалы, утверждающие, что этот минерал смертельно опасен для человека. Появились также сведения о пока единичных фактах запрещения использования асбеста и в России»; см.: Дубовкина Л. Опасен ли асбест? // *Асбестовский рабочий*. 1996. 28 марта. № 41. С. 2.

31 Богданова М. Напуганные до смерти асбестом 25.11.10 // *Официальный сайт г. Асбест* [Электронный ресурс] Точка доступа: http://www.asbestadm.ru/index.php/2010-11-02-15-03-50/36-2010-07-25-09-22-50/578-2010-11-24-22-26-29.

32 В 1999 г. Европейская комиссия приняла директиву 1999/77/ЕС о запрете использования асбеста и асбестосодержащих материалов и изделий в странах Евросоюза с 1 января 2005 г. В дальнейшем сторонники запрета намерены распространить его по всему миру при помощи принятой 10 сентября 1998 г. Роттердамской конвенции; см.: *Асбест и здоровье* // [Электронный ресурс] Точка доступа: http://www.mesothelioma-asbestoscancer.info/ru-asbestos-rus.html.

33 Дуглас М. *Чистота и опасность. Анализ представлений об осквернении и табу.* М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2000.

34 В Канаде есть город-тёзка – квебекский Асбест (в нём, правда, всего 6.8 тыс. жителей – по состоянию на 2006 г. (Википедия)). Там точно так же настаивают на безопасности контролируемого использования

• «нейтральную» часть земли, *или*

• полезное ископаемое («природный минерал с исключительными свойствами», «служит человечеству на протяжении тысячелетий», как гласит бегущая строка на ресурсе *http://www.chrysotile.ru/*), *или*

• стратегическое сырьё, для добычи и переработки которого во время ВОВ квалифицированных рабочих возвращали с фронта, *или*

• ресурс, обеспечивающий работу градообразующего предприятия, как происходит сегодня. Этого ресурса хватит на сотню лет, но гораздо раньше он может истощиться социально, если люди потеряют веру в хризотил. А для того чтобы её сохранить, оказывается необходимой субъектность минерала-предприятия-города – дающего жизнь, оклеветанного и нуждающегося в защите.

Профильное производство и сам город также социально конструируются как объекты (и одновременно субъекты) заботы и защиты:

> «Только в начале XXI века город Асбест и асбестовая промышленность столкнулись с монстром, которого породила неорганическая химия. Искусственный аналог против натурального развернул антиасбестовую кампанию. Город сплотился в едином порыве: отстоим производство "горного льна", давшего жизнь Асбесту. И людям его – тоже»[35].

Не-человеческие акторы и люди связаны в сложные сети взаимных вовлечённостей, которые постоянно воспроизводятся, разыгрываются и переигрываются. Взятые в точках отклонения от более или менее точного воспроизводства взаимосвязей, они приоткрывают устройство этих сетей: куделька-асбест и в прошлые века вызывал романтически-ласковое отношение, но объектом мощной защиты стал только в последние десятилетия. В этой игре становится понятной роль асбестового карьера, если рассмотреть его как часть сети «анклавов» (фиксированных мест), «арматур» (инфраструктур) и «гетеротопий», следуя концепции Дэвида Грэхема Шейна: города создаются из постоянных рекомбинаций этих трёх элементов.

хризотила и необходимости его чёткого отделения от действительно опасных разновидностей асбеста; см.: Support from the trade union community for the safe and responsible use of chrysotile fibre UNION STATEMENT. March 2010 // Chrysotile Institute [Electronic resource] Mode of access: http://www.chrysotile.com/en/news/n_list.aspx. С другой стороны, блогер Б. Кассельман утверждает, что город хочет изменить своё название, настолько оно стало политически рискованным и экономически обременительным, ассоциируясь с токсичностью и смертью; см.: http://www.billcasselman.com/wording_room/asbestos_quebec.htm. В российских СМИ, конечно, также высказываются суждения о бесперспективности асбеста, однако о переименовании города, тем более от лица жителей, речи не идёт.

35 Атанасова, указ. статья; см. также: Синявский В. Поддержали «Ураласбест» // *Асбестовский рабочий*. 2009. 9 января. № 2. С. 1.

Анклавы – это фиксированные места с чётко очерченными границами, самоорганизующиеся, самоцентрированные и саморегулирующиеся системы, созданные городскими акторами.[36] Достаточно один раз взглянуть на асбестовый карьер, чтобы понять, как выглядит материально воплощённый анклав. *Во-первых*, это действительно фиксированное и чётко ограниченное пространство – гигантское углубление, всё более вгрызающееся в землю. *Во-вторых*, концентрические круги, по серпантину которых снуют грузовики с вывозимой породой, превосходно визуализируют и символизируют центрированную на себе, саморегулирующуюся систему замкнутого цикла. *В-третьих*, спиралевидный серпантин уступов образует жёсткую иерархию ступеней с вполне чёткими границами, в которые должен вписаться мощный БелАЗ.

Если арматуры, по Шейну, преобладают в пространственном порядке расширения в инфраструктуре или публичных пространствах индустриального города эпохи модерна, а гетеротопии – в сетевом пространстве постиндустриального города, то анклавы доминируют в архаически иерархичном пространственном порядке локализации. Асбест обладает тройной анклавностью: (1) как любой моногород, он по определению является анклавом ввиду исключительной центрированности на градообразующем предприятии; (2) асбестовый карьер продуцирует анклавность – конечно, не потому, что имеет соответствующие внешние признаки, а в силу того, что работа градообразующих предприятий целиком и полностью завязана на природные ископаемые, что жёстко ограничивает все направления деятельности; (3) транспортно-географически г. Асбест расположен в тупике, сообщение через него осуществляется только с близлежащими посёлками. Накладываясь одна на другую, эти три разновидности анклавности вместе создают очень сильный эффект изоляции и автономизации, предпосылки которого прочитывались ещё в дореволюционной Кудельке.

Жёсткая привязанность к месту реализуется не только через специфику предприятий, дающих рабочие места асбестовцам. Многие жители имеют сады и увлечённо занимаются хозяйством. Городская газета дважды в год публикует информацию об изменениях расписания пригородных автобусов на садово-огородный сезон, а цены на билеты по этим маршрутам дотировались из городского бюджета даже в самые тяжёлые 1990-е перестроечные годы. Садовое хозяйство, особенно в условиях рискованного земледелия, так устроено, что его нельзя оставить на более или менее длительный период – оно держит не меньше, чем залежи асбестовой породы. И, наконец, третий аспект воспроизводства седентаризма, который мы обнаружили в ходе исследования, – это специфическая, чрезвычайно сильная идентификация с местом, эффект

[36] Shane D.G. Heterotopias of Illusion; From Beaubourg to Bilbao and Beyond // M. Dehaene, L. de Cauter (eds.) *Heterotopia in a postcivil society: public space in a postcivil society.* London, New York: Routledge, 2008. P. 259–271.

принадлежности к своему городу, заводу. Пожалуй, именно данный эффект прежде всего ответствен за то, что население продолжает связывать свои надежды с градообразующим предприятием и не предпринимает попыток изменить сложившийся конструкт.

В самом простом виде *привязанность к месту* (*place attachment*) – понятие, бойко дискутируемое в современной науке, – можно определить как узы, связывающие людей со значимым для них окружением. Даже не отягощённые большой приверженностью функционализму исследователи всё же считают нужным отметить социальные функции данного феномена: от выживания и безопасности, поддержки целеполагания до темпоральной и личностной континуальности и чувства принадлежности. Все эти функции работают на построение и воспроизводство идентичности и потому чрезвычайно актуальны в современном обществе.[37] Нам хотелось бы остановиться ещё на одном аспекте. Привязанность к месту удовлетворяет потребность в *позитивной* самооценке, востребованной при длящейся неопределённости, но особенно важной в кризисных условиях. Привязанность к месту реализуется через множественные связи, самоощущение «инсайдера» и желание оставаться/возвращаться в данное место. Поддерживая пессимистические выводы относительно низкой мобильности россиян, этот феномен, с другой стороны, препятствует тенденции опустынивания и съёживания городов за счёт оттока населения в центры метрополий.

Привязанность к месту встраивается в *технологии социальной идентификации*. Мы выделили три такие технологии, которые оказываются специфически релевантными для моногородов типа Асбеста. Первая, позитивная, технология – это культивация привязанности к месту посредством: а) городских мероприятий, празднований и коммемораций, часть из которых отмечают повсеместно, но здесь они приобретают особый колорит (от Нового года и Дня Победы до Дня строителя, который работники градообразующих предприятий считают профессиональным праздником, и Дня города), часть – специфически асбестовские (день двора, всевозможные спартакиады, 70-летие Асбестовского техникума, 100-летие асбестовского муниципального оркестра в 2008 г. и т. п.); б) конструирования виртуального пространства города в интернете: помимо неплохого официального сайта работает ещё несколько виртуальных площадок.

Вторая технология, также позитивная, – это серьёзный брендинг и пиар предприятий, прежде всего, конечно, «Ураласбеста», ориентированный как вовне, так и на самих асбестовцев. В ходе экскурсии по комбинату

---

[37] Обзор см.: Scannell L., Gifford R. Defining place attachment: A tripartite organizing framework // *Journal of Environmental Psychology*. 2010. № 30. P. 1–10.

«[а]сбестовские руководители из городской администрации и других предприятий и организаций города *испытали чувство гордости* за свой край, за те инновации и достижения, которые внедряются в Асбесте.

– *Масштаб* градообразующего предприятия "Ураласбест" действительно впечатляет, – рассказывает начальник организационного отдела администрации города Наталья Свиридова. – Руководителям различных городских предприятий, организаций, учреждений было необходимо своими глазами увидеть производство, столь значимое для Асбеста. *Это наша культура, наше настоящее и будущее.* Именно такое знакомство с деятельностью главного предприятия города рождает *чувство патриотизма* и желание трудиться на благо родного края» (курсив наш. – *Авторы*)[38].

В моногороде взаимная вовлечённость людей и не-человеков в общие сети взаимодействия не просто велика, порой она оказывается тотальной. В эпоху индустриального подъёма это не вызывало тревоги, но и сейчас на официальном сайте Асбеста читаем:

«На комбинате во второй половине XX века трудилось 20 тысяч асбестовцев, к основному производству имела отношение буквально каждая семья в городе»[39].

Третья технология, негативная, – это борьба с общим врагом, силами, развязавшими антиасбестовую кампанию. Как было показано выше, она продуктивна для развития специфических солидарностей.

Достигаемые в результате совместного использования всех трёх технологий возвышенные чувства и гордость за завод, за город заново запускаются в эксплуатацию для воспроизводства привязанности к месту.

***

Согласно нашему исследованию, моногород – это социально-территориальное поселение городского типа, которое отличают узко отраслевая структура профессиональной занятости населения и высокая степень зависимости структур жизнеобеспечения от градообразующего предприятия (или нескольких предприятий, объединённых технологической цепочкой или относящихся к одной отрасли экономики). Специфика индустриального моногорода обусловлена доминированием анклавности, воспроизводящей замкнутое на себе пространство с признаками изоляции и автономизации, что препятствует мобильности.

В постсоветскую эпоху заводы были приватизированы и вышли из-под государственного контроля. Главной задачей их нынешних хозяев является получение прибыли. В тех городах, которых не кос-

---

38 Богданова, указ. соч.
39 Атанасова, указ. статья.

нулась деиндустриализация, глобализация проявляется во включении местных предприятий в большие холдинги. Это вырывает их из городских структур и помещает в глобальные рыночные сети. Однако для жителей таких поселений завод по-прежнему остаётся центром вселенной: он даёт не только средства к существованию, но и служит источником позитивной самоидентификации (а это особенно важно, когда источники гордости дефицитны). Альтернативы градообразующему предприятию фактически не существует, поэтому всякая социальная активность, как магнитом, автоматически направляется на его поддержку и защиту.

В Асбесте перспективу видят в создании на базе «Ураласбеста» предприятия по выпуску магния из отвалов асбестового производства. В ходе реиндустриализации, таким образом, главный завод-анклав будет дополнен другим анклавом. В этой логике, похоже, моноцентричное пространство не имеет шансов стать полиморфным. Жители моногородов «с оптимизмом смотрят в будущее», но это будущее выглядит как простое дление настоящего или возвращение прошлого *золотого века*, отвергающее вызовы современных преобразований.

Возникает ситуация «замкнутого круга»: население с целью позитивной идентификации продолжает придерживаться того, что есть, то есть градообразующего предприятия, и тем самым ограничивает свои возможности в поисках новых стратегий обеспечения собственной жизнедеятельности. Моногорода находятся на острие дилемм конструирования пространства, в той или иной форме характерных, думается, и для городов других типов. Речь в данном случае идёт о взаимодействии (столкновении, взаимопроникновении, нейтральном фрагментарном сосуществовании) глобального и локального, де- и реиндустриализации, гетеротопического сетевого пространства постиндустриального города и анклавного архаического пространственного порядка, расширенной модели потребления и профитирующей на натуральном хозяйстве, усиления разнообразия и мобильности и моноцентризма и седентаризма, открытого будущего и будущего как повторения прошлого или настоящего.

(НА)ЛИЧНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА

Филиппов А.Ф. *Социология пространства.*
СПб.: Владимир Даль, 2008

Возглавляющий кафедру практической философии и Центр фундаментальной социологии в московской Высшей школе экономики профессор Александр Фридрихович Филиппов хорошо известен российским и зарубежным специалистам в области общественных наук своими работами по политической философии и теории социальных событий.[1] Представляемое издание подводит итог исследований А.Ф. Филиппова в области социологии пространства. Развитие социологии пространства в целом является одной из важных составляющих так называемого «пространственного поворота», происходящего сегодня в самых разных отраслях социогуманитарного знания.[2]

В *первой главе* рассматриваемого труда содержится обстоятельный очерк тематизации пространства с точки зрения истории социологии. Надо заметить, что пространственный поворот содействует формированию единого междисциплинарного исследовательского поля, вовлекая в свою орбиту такие разнообразные темы, как, например, развитие современной городской среды, проблематика нарушений в области экологических прав различных групп граждан, территориальное измерение политической и экономической организации. Характерной приметой новейших работ по изучению пространства является единство теоретических и практических аспектов. Ядром значительного числа исследовательских предприятий выступает стремление соответствовать потребностям локальных сообществ как субъектов социального действия. Смена рефлексивных паттернов смыкается с практической активистской деятельностью в рамках повседневной жизни, поскольку именно в рамках последней первоначально артикулируются специфические познавательные потребности индивидов.

Иную перспективу предлагает автор рецензируемой книги. Он не касается ни одной из упомянутых областей, подчёркнуто декларируя намерение «говорить об актуальном, каким оно представляется одной только личной интуиции» (с. 5). У читателя, ответственно воспринимающего такое заявление,

---

1 См. напр.: Филиппов А.Ф. Триггеры социальных событий // *Логос.* 2006. № 5(56). С. 104–117; Филиппов А.Ф. Критика Левиафана // Шмитт К. *Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса.* СПб.: Владимир Даль, 2006. С. 5–100; Филиппов А.Ф. Пространство политических событий // *Полис.* 2005. № 2. С. 6–25.

2 См. напр.: Warf B., Arias S. (eds.) *The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives.* Abingdon, NY.: Routledge, 2009.

при последующем знакомстве с книгой возникает затруднение: отбор текстов, на которых основываются рассуждения профессора Филиппова, также является продуктом «личной интуиции»? Иными словами, можем ли мы полагать, что социология пространства, как она представлена в разбираемом объёмном труде, связана воедино чем-либо помимо индивидуальных предпочтений?

Искомое единство, по мнению автора, обеспечено особой теоретической логикой[3], состоящей из связанной системы положений, которые описывают отдельный сегмент человеческого опыта (с. 36 и далее). Тщательному представлению теоретической логики социологии пространства целиком посвящена *вторая глава* труда А.Ф. Филиппова. Ядром соответствующей логики является рассмотрение пространства как системного смыслового комплекса, социальное значение которого выявляется в практике общественной жизни (с. 116). Опираясь на классические работы Георга Зиммеля, которые специально разбираются в *третьей главе* рецензируемой монографии, профессор Филиппов сосредоточивает своё внимание на проблеме понимания пространства участниками социального взаимодействия. Реконструкция имплицитного значения пространства для наблюдаемых людей образует, согласно Филиппову, один из центральных узлов концептуального каркаса социологии пространства наряду с базовой интуицией пространства, которой располагает наблюдатель, и пространством как предметной темой коммуникации наблюдаемых/социальных агентов (с. 120). Все элементы указанного каркаса развёрнуто анализируются в *четвёртой* и заключительной *пятой главах* книги с привлечением концепций Б. Верлена, И. Гофмана, П. Бурдье и др.

Исходный пункт для построения социологии пространства образует так называемое «место наблюдателя», которое «предполагает комплексное событие-пребывания и событие-наблюдения» (с. 192). Движение социологии пространства обеспечивается возможностью проводить эксплицитное различие между разделяемым социологом дотеоретическим восприятием пространства из своего «места» и теоретической рефлексией на соответствующее восприятие пространства в деятельности других лиц. Тем самым в ткань социологического рассуждения незаметно вплетается своеобразное антропологическое априори, связывающее возможность существования пространства с возможностями *нашего*, человеческого, опыта. Пространственность тогда оказывается трансцендентальным условием возможности социальности, которое выполняется на уровне определённых практических *схем* (с. 128) и одновременно, заметим, способом трансцендентализации социологии. Функционирование пространственной схемы оказывается в таком случае вне зоны видимости для социального агента, который фактически бессознательно реализует её на уровне своего телесного

---

[3] В смысле Джеффри Александера; см.: Alexander J.C. *Theoretical Logic in Sociology.* L.: University of California Press and Routledge Kegan Paul, 1982. P. 83.

поведения. Итоговая модель, во многом сходная с некоторыми построениями П. Бурдье, заставляет задуматься об эпистемологическом статусе полученных результатов. Действительно, насколько оправдана социологическая апелляция к дотеоретической очевидности занимаемого наблюдателем места (с. 38 и далее), если пространственное измерение наблюдения определяет пределы всего этого процесса? Пространство будет уже не столько составляющей «континуума смыслов» (с. 208), сколько его границей.

Концепция Филиппова фактически редуцирует вопрос о сложности структурных свойств пространства как элемента взаимодействия. При этом сложность взаимодействий следует мыслить не только и не столько как последовательную направленную дифференциацию более или менее единых организационных форм, сколько как *обнаружение гетерогенности* социальных (про)явлений пространства, не допускающей сведения к единой концептуальной схеме. Следуя теоретической логике автора рецензируемого труда, мы должны будем «свернуть» гетерогенность пространства только по одному параметру – смысловому наполнению. При этом смысл реального пространственного взаимодействия превращается в инструмент избирательного теоретического конструирования, объективно снижающего рефлексивность индивидуального ориентирования в социальной среде.

Трансцендентальный эмпиризм разрабатываемого Филипповым варианта социологии пространства фактически блокирует возможность его применения в рамках полевой исследовательской работы, существенно затрудняя объективацию пространства в качестве реального компонента социальной динамики. Спекулятивная интерпретация места как «просто места, которое должно быть синтезировано в наблюдении и действии в соответствии с мотивом и практической схемой» (с. 147), не позволяет в достаточной мере осмыслить соотношение физического и социального измерений пространства. Оно, с одной стороны, элиминирует проблематику, связанную с использованием пространства для упрощения властного воздействия на те или иные социальные группы, а с другой – не позволяет ориентировать социологию на изучение нечеловеческого (вещественного, природного и т. д.) компонента пространства. Кроме того, неясным остаётся отношение изменения образов пространства в истории человечества к частной социальной «топологии» индивида. Можно ли, например, утверждать, что структура мест менее подвижна по сравнению со структурой пространств? Нуждается в уточнении и сам термин «наблюдение», который для Филиппова предполагает, по-видимому, возможность прямого доступа социолога к изучаемой реальности. Внимательное изучение рецензируемой работы позволяет утверждать, что операция наблюдения мыслится автором книги из перспективы когнитивной автономии познающего разума: *как если бы* социолог обладал способностью свободно выносить за скобки обратное воздействие социальной реальности на самого себя.

Культивация познавательной неангажированности, безусловно, заслуживает уважения, но, как представляется, подчас помещает на место наблюдения описание наблюдений, сделанных другими теоретиками, что, собственно, и гарантирует рассматриваемой социологии пространства желательную степень автономии. Обратной стороной достигнутой автономии становится трансформация рецензируемого труда в трактат по *мета*социологии, соединяющий талантливый анализ многочисленных социологических концепций с построением некой онтологии социального события, исключающей существование пространства «самого по себе» (с. 259). В результате мы оказываемся в парадоксальной ситуации, когда развитие «теоретической логики» концепции требует устранения лежащей в её основе базовой интуиции. Это неожиданное затруднение может быть разрешено, если допустить, что идея пространства с самого начала использовалась автором для формального указания на универсальные структуры смыслопорождения. Действие в пространстве оказывается в конечном счёте элементом формирования определённого «смыслового комплекса», который реализуется в событии (с. 249). Недостатки концепции Филиппова с точки зрения *социологии пространства* могут стать её достоинствами как *герменевтики* пространства. Герменевтический потенциал обращения к пространству в социальных исследованиях заслуживает дальнейшего глубокого развития.

Пётр А. Сафронов

«СУММА УРБАНИСТИКИ»: НОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ

Трубина Е. *Город в теории: опыты осмысления пространства*. **М.: Новое литературное обозрение, 2010.**

Книга Елены Трубиной представляет собой уникальный проект, подытоживающий годы научной и педагогической деятельности автора, сочетающий в себе историческую реконструкцию развития западных и российских городских исследований и детальную экспликацию наиболее актуальных проблем современных *urban studies*. Выстраивание «суммы урбанистики» производится автором с постоянной оглядкой на то, в какой мере и в каком виде каждая из описываемых парадигм может быть актуальна для исследования постсоветских городов. Своего рода лейтмотивом книги становятся постоянные отступления, предпринимаемые автором для того, чтобы с некоторой дистанции критически осмыслить адекватность той или иной теоретической традиции для российской урбанистики, ключевой проблемой которой, по мнению Е. Трубиной, является вопрос о применимости западных моделей к местной «фактуре».

Автор отмечает также «разношерстность» проектов постсоветских исследований города, в которых соседствуют созерцательность гуманитариев и цинизм политтехнологов, субъективизм исследователей-фланёров/туристов и позитивизм экономистов или географов. Преодолеть некоторую инертность, свойственную, по мнению автора рассматриваемой книги, российской гуманитаристике, невозможно без приятия принципиальной интердисциплинарности городских исследований.

> «Вскакивать ли опять в последний вагон уходящего поезда, воспевая "прецессию симулякров" в родных осинах, или попытаться найти в разнообразии школ и подходов такие, которые открывают возможность критического анализа происходящего или хотя бы интересно теоретически обрамлённых насыщенных описаний, – это серьёзный выбор» (с. 36).

Описывая и анализируя достижения урбанистики, Елена Трубина с лёгкостью меняет «крупность плана» и с удовольствием переключается с абстрактно-теоретического фокуса к примерам и деталям, демонстрируя, как та или иная теория может вдруг предстать перед нами не только в виде умозрительной схемы, но и в качестве убедительного и волнующего описания жизненных миров… самих читателей. Уже с первых страниц книги автор обращается к переживаниям, знакомым любому жителю современного города, предлагая прочувствовать, как наш рутинный опыт (например, использование

общественного транспорта, в частности т. н. «маршруток») посредством взаимоналожения различных оптик изучения обрастает концептуальным каркасом и переплавляется в теоретическое обобщение. Пример маршрутки, символа постсоветских городов, позволяет Трубиной продемонстрировать, насколько плотно связаны урбанистические исследования с опытом повседневности горожан. И в то же время этот локальный, в общем-то, феномен может быть рассмотрен из различных ракурсов: через опыт телесности, посредством социологической, экологической, экономической оптики. Следовательно, даже самый частный (но симптоматичный) городской феномен урбанистические исследования могут поместить в междисциплинарное поле, в котором «география, антропология, теория и история культуры, экология, собственно история, право, планирование, экономика, политическая теория, социальные исследования науки и техники вступают на их страницах в самые неожиданные альянсы» (с. 9).

Непосредственно «истории вопроса» посвящены две первые главы книги (Елена Трубина выделяет в качестве основных этапов развития *urban studies* классический и неклассический периоды), в которых представлен своего рода компендиум теоретического багажа, накопленного западными исследователями города. Последовательно систематизируя и интерпретируя различные теории, Елена Трубина прослеживает логику развития знаний о городе от Георга Зиммеля до Эдварда Соджи.

В общей картине, вырисовывающейся при реконструкции развития урбанистики, появляются некоторые любопытные и значимые особенности: в частности, особый характер связи урбанистической и социальной теории. С первого взгляда вторая может показаться более обширным дисциплинарным полем, но Трубина предлагает посмотреть на их соотношение, учитывая ещё и то, что сама социальная теория рождается уже в эпоху урбанизации, и любые попытки вырвать её из контекста города будут искусственными и надуманными. От Адама Смита до Макса Вебера и Георга Зиммеля, от Маркса и Энгельса до А. Лефевра и Ф. Броделя, Чикагской школы и неклассических теорий города исследования макроэкономических явлений (индустриализация и деиндустриализация, неолиберализм, коммодификация и т. п.) оказываются сопряжёнными с изучением городских процессов, таких как усиление пространственной сегрегации, безработица, кризис связей «по месту жительства» и др. И в этой связи тем более симптоматично то, что в конце XX века город как таковой перестаёт выступать в качестве единственного или даже центрального объекта урбанистики в силу того, что процессы глобализации приводят к принципиальной переконфигурации социально-экономических сетей в пространстве, делая город лишь одним из множества узлов этих сетей. Елена Трубина обращает внимание на то, что если для представителей Чикагской школы социологии город ещё был своего рода лабораторией, в которой производилось знание об американском обществе в целом,

то на сегодняшнем этапе подобный позитивизм уже не актуален, и (тут почти неизбежен каламбур) на место «города» в *urban studies* приходит категория «места», которое связано с другими транстерриториальными местами-узлами, минуя национальные и государственные границы.

Вполне ожидаемо, что в главе о неклассических теориях города перед читателем предстаёт причудливый пэчворк: в последние десятилетия XX века продолжаются исследования в духе Чикагской школы, неразрывные с количественными социологическими методами, социальным и «ментальным» картографированием, а также марксистский анализ городских экономико-политических процессов. К ним присоединяются постколониальные и феминистские исследования. Первое направление оспаривает конструктивистскую позицию дискурсов, в рамках которых городские процессы (как они разворачиваются, в первую очередь, на Западе) представляются как нечто само собой разумеющееся, закономерное и единственно возможное. Феминистские исследования города проблематизируют гендерное неравенство в городском пространстве, обращаясь к множеству острых вопросов: от типичных (но от этого не менее травматичных) ситуаций, в которых женщина в городе оказывается крайне уязвимым субъектом, до более комплексных проблем изучения маркетинговых технологий вовлечения женщин в практики потребления или особенностей их самореализации в больших городах.

Если основные тенденции развития урбанистических исследований в классический период, описанный в первой главе книги *Город в теории..*, во многом подытоживает Чикагская школа, то знаковым феноменом неклассического периода, по мнению Трубиной, является Лос-анджелесская школа. Ряд принципиальных различий между городами, давшими названия этим двум крупнейшим парадигматическим «островам» в архипелаге урбанистики, обусловил и специфику самих школ. В отличие от Чикаго, Лос-Анджелес – город максимально связанный со своим регионом, вследствие чего любые попытки рассматривать город-центр и его периферию как автономные пространства (что адекватно для Чикаго) тут было бы неправомерным. Теоретики-лосанджелесцы не претендовали на научную объективность своих исследований, предпочитая количественным методам качественные исследования, а глобальным обобщениям – «насыщенные» (в терминологии К. Гирца) описания.

Елена Трубина иллюстрирует пестроту исследовательских оптик Лос-анджелесской школы на примере разнообразия интерпретаций Ф. Джеймисоном, М. Дэвисом, Э. Соджей и др. феномена отеля «Вестин Бонавентура» (одного из «персонажей» знакового текста Ф. Джеймисона *Постмодернизм, или Логика культуры позднего капитализма*, который не обошли своим вниманием ни Анри Лефевр, ни Жан Бодрийяр). Для Джеймисона сфера эстетического (и в данном контексте архитектура выступает как привилегированный вид искусства) становится полем, где проявляются

совокупные эффекты технологического и экономического развития; он рассматривает «Вестин Бонавентура» как сгущенное воплощение постмодерна, *культурной* логики развитого капитализма. Майк Дэвис же выводит на первый план проблемы более частносоциологического характера. Он анализирует демографический состав населения района, где расположен отель, рассуждает об особой «микрофизике власти» в пространстве города, которую конструирует внешний вид отеля и его система безопасности: по мнению Дэвиса, отель «Вестин Бонавентура» – это, прежде всего, крупный механизм воспроизводства сегрегации пространства Лос-Анджелеса.

Отмечая множество альтернативных джеймисоновской интерпретаций этого архитектурного феномена, Елена Трубина подчёркивает, что именно ему принадлежит первенство в проблематизации одной из культурных тенденций, повлиявшей, в том числе, и на урбанистику, – разрыва между модерном как эпохой историчности, где центральным модусом являлось Время, и постмодерном, как эпохой Пространства и кризиса историчности. Зафиксировав таким образом «пространственный поворот» в культуре, Джеймисон дал толчок для возникновения многих других концепций пространственно-темпорального режима современных городов. Елена Трубина уделяет пристальное внимание теории Э. Соджи, который стремится поставить под вопрос характерный для *cultural studies* взгляд на *время* как на привилегированное по отношению к *пространству* измерение человеческого опыта, усматривая причины такого «перекоса» в доминирующих философских дискурсах – от философии *Бытия* Мартина Хайдеггера до теории прибавочной стоимости Карла Маркса. Эдвард Соджа пытается «снять» дихотомию пространства/времени, «корректируя» диалектический подход Джеймисона и пропуская его через теорию Анри Лефевра. В результате Соджа предлагает проект «триалектики» времени, пространства и социального бытия, призывая «исходить из пространства». В основе его проекта, в формулировке автора книги, лежит принцип: «Сначала пространство, а потом история, сначала пространство, а потом дискурс, сначала пространство, а потом бессознательное» (с. 120). Именно Соджа, один из немногих теоретиков-урбанистов, работы которых переведены на русский язык, выступает в книге Трубиной как наиболее знаковая фигура неклассического периода *urban studies*.

Другие главы книги *Город в теории…* выделены главным образом тематически: город и природа (центральная проблема – взаимопроникновение экологии и экономики городов); город и мобильность; город как место экономической деятельности (здесь на первый план выходит сцепка городской культуры и развития капитализма, в частности практик потребления); город и глобализация (речь о феноменах джентрификации и брендинга городов), городская политика и управление городом (затрагиваются проблемы геттоизации и социальной сегрегации в современных городах).

Две заключительные главы книги: «Город и повседневность» и «Город и метафоры» – становятся чем-то вроде эпистемологической рефлексии над тем, каким образом различные теории города формулируют свой объект и предмет и как подходят к его описанию. Обращаясь к теме городской повседневности, автор размышляет о том, как родившаяся в самом сердце модерна диалектика «видимого и невидимого», «присутствующего и отсутствующего», «поверхности и глубины» выкристаллизовалась в социологию повседневности и психоанализ. Эти теоретические проекты по осмыслению находящейся на «самом видном месте», но вечно ускользающей «поверхности» жизни (рутинные практики, опыт повседневности), за которой маячит некая скрытая «подкладка» (структуры бессознательного или социальные паттерны), можно, по мнению автора, также рассматривать в рамках городских исследований (коль скоро они рождаются в городском пространстве эпохи модерна и неразрывно с ним связаны). Исследования повседневности города можно понимать как своего рода комплементарный психоанализу проект, разворачивающийся на другой сцене: не столько индивидуальной, сколько социальной, не в пространстве памяти, а в памяти пространства. Социология повседневности в более эксплицитной форме, чем классический фрейдизм, смещает фокус с изучения «глубинного» внутреннего мира субъекта на «поверхностные» структуры повседневности, которые и обусловливают специфический тип субъективности, с чем и имеет дело психоанализ…

Такая игра этих двух перспектив рефлексии (с обязательной возможностью перемены ролей и методологической взаимопомощью) позволяет увидеть город как плотное сращение структур (Ф. Бродель) и аффектов (З. Фрейд, В. Беньямин), которые они производят друг друга. И в этом контексте, если мы сформулируем одну из задач городских исследований как попытку «проникнуть в бессознательное города», – это не станет лишь красивой метафорой. Структуры городского бессознательного порождают нашу повседневность (или, как просто и существенно сказал бы Зиммель, нашу Жизнь). Перефразируя афоризм Ж. Лакана, можно сказать и так: наше бессознательное структурировано как город, как особое (в том числе и текстуальное) пространство, производящее нас самих (наши жизненные миры, габитусы, когнитивные карты) в качестве продукта своей особой символической деятельности, в качестве речи, в которой город повествует о своих снах, оговаривается, шутит… Уникальность этой «речи» производит нечто наподобие беньяминовской ауры конкретного города, состоящей, по мнению Елены Трубиной, «в соединении качества нашего переживания и собственно культурной среды, которая это переживание делает возможным. Здесь индивид переживает особые игры пространства и времени, сам становясь местом встречи с миром, встречи мимолетного мгновения и вечности, мифа и рациональности, приватного и публичного, экстерьера и интерьера» (с. 406).

Эта диалектика не зацикливается на самой себе, подобно игрушке-переливашке в руках ребёнка (эдак посмотришь – красиво, так повернёшь – тоже хорошо), а становится полем «параллаксного видения» (если использовать термин С. Жижека), в котором возможно осмысление вполне конкретных социальных феноменов: отчуждения, визуального потребления и коммодификации и т. д. – с использованием логического оператора «и», а не «или». К примеру, вопрос о спонтанности/принудительности потребительского выбора решается не кивком в сторону одной из альтернатив, а описанием меры и способа, в котором индивидуальный (а в действительности – социальный) аффект ***и*** структурные эффекты рынка формируют паттерны потребления.

Ещё одна дихотомия, о которой заходит речь при разговоре о социологии повседневности, – это неразрывное сосуществование проблемы отчуждения и утопического идеала городского сообщества, коммунальности, «высвобождения праздничного потенциала повседневной жизни». Подобным же образом может быть поставлен и более фундаментальный вопрос об историчности соотношения темпоральности и пространства. В этой связи Елена Трубина подробно останавливается на исследованиях повседневности А. Лефевра, который, не без влияния философии жизни, социологии знания и экзистенциализма, стремился рассмотреть «длинное время» города, противопоставляя его архаическим циклам, подчинённым природным и телесным ритмам и традиции.

В главе «Город и метафоры» Трубина обращается к проблеме, с одной стороны, фундаментальной, а с другой – весьма симптоматичной. В первом приближении её можно сформулировать как неизбежное столкновение исследователей города со специфической эпистемологической апорией: если волевым усилием предпринять мысленный эксперимент по обнулению нашего словаря пространственных метафор, само пространство окажется пустым. Елена Трубина ссылается на Ж. Женетта, автора книги *Пространство и язык*, по словам которого о пространстве как таковом «содержательно» можно сказать не так уж и много, ибо содержания у пространства нет, есть только форма, для описания которой и был накоплен вокабуляр, результирующий собой изменчивость социальной риторики пространства. С другой стороны, если мы присмотримся к метафоре как таковой, то перед нами предстанет калейдоскоп оппозиций пространственного свойства – внутреннее/внешнее, даль/близость, широта/долгота, замкнутость/разомкнутость и т. д., и т. п, оппозиций, из которых складываются более сложные конструкции, призванные отражать психический опыт, становиться формой для философских абстракций, схватывать художественные образы. Это, с одной стороны, неизбежно приводит к смещению (по мнению Ж. Женетта, отчасти дисбалансирующему социогуманитарную мысль) внимания исследователей на изучение только *форм*, в которые живопись, кино и литература заключают «пустотность» пространства, придавая ему тем самым свойство

«содержательности». Другая сторона этой медали – релятивизм в использовании пространственных эпитетов в постсоветской гуманитаристике, свидетельствующий о том, что *spatial turn* здесь уже начался и находится в той фазе, когда острый интерес к новому стимулирует исследователей порой весьма вольно использовать пространственные аналогии и не к месту применять те или иные теории.

Ещё одна вариация этой же проблемы – тема пространства и телесности. Не являются ли философские проекты осмысления тела в первую очередь лингвистическими экспедициями, отправляющимися на поиски адекватного описания некоего глухого и слепого опыта телесности, в область поэтики? По мнению Трубиной, такая зависимость тела от языка, конституирующая сам этот опыт, демонстрирует тотальность метафоры, доминирование языка над телесностью. На изгибе этой ленты Мёбиуса, с «одной» стороны которой – пространство (повседневности, города, телесности), а с «другой» – язык, это пространство описывающий, возникает психоанализ с его направленностью на исследование диалектики возможного и невозможного, запрещённого (вытесненного) и артикулируемого в опыте городского жителя, в опыте, актуализированном не чем иным, как урбанизацией. И в этом смысле показательно, что вслед за Анри Лефевром Трубина говорит о власти метафоры в гуманитарном знании (в частности, о гегемонии метафоры в рефлексии над измерением пространства) в духе критики идеологии, описывая метафору как средство отчуждения:

> «Метафоры поэтому работают как идеологическая и художественная завеса, неизбежная и часто влекущая обманчивой точностью и ясностью, но драматически отчуждающая людей от пространства и собственных тел» (с. 447).

Автор также отмечает «симптоматичность» якобы «случайных» наборов метафор, формирующихся в той или иной научной парадигме. По мнению автора книги *Город в теории*.., метафора (и здесь её следует понимать скорее как веберовский «идеальный тип») должна сама становиться предметом анализа. Необходимо проблематизировать то, что некий феномен концептуализируется определённым образом, исследовать особенности дискурса, формирующегося вокруг него, и долговечность, популярность, «заразительность» метафор, которые его описывают. Ведь «случайная» метафора может стать принудительно надетыми на глаза исследователя искажающими очками, за право снять которые зачастую приходится бороться. Исследовательский интерес, по мнению Трубиной, представляет не только динамизм, смена метафор, но и инертность некоторых из них. Исходя из этого автор и приступает к критической рефлексии над господствующими метафорами, используемыми при описании постсоветских городов. Основанием для анализа становится типология «метафор города» Питера Лангера, который, используя бинарные оппозиции по двум крите-

риям – масштабу анализа и нормативной оценке города, – выделяет *четыре* ключевые метафоры; их, по мнению Трубиной, можно «использовать как эмблемы преобладавших в прошлом социологических подходов к городу, где среди "микроскопических" "позитивной" будет метафора *города как базара*, а "негативной" — как *джунглей*, а среди "макроскопических" "позитивным" будет *"город как организм"*, а "негативным" – как *"машина"*» (с. 461) Примечательно, что автор приходит к выводу, что все эти метафоры, будучи наложенными на постсоветскую реальность, сильно накреняются в сторону «негатива», чему отчасти способствует и транспарентность границ между дискурсом социальных наук и обыденным знанием. Если, к примеру, западные социологи находили аналогии между городским пространством и базаром или рынком, описывая сложные системы связей и отношений в этих локусах, то подобное сравнение не функционировало как прямолинейная редукция, что, к сожалению, характерно для описания постсоветских городов в СМИ и нередко возникает в работах отечественных урбанистов.

В *Заключении*, подводя некоторые итоги и делая прогнозы развития современных городов и городских исследований, Елена Трубина рассматривает ряд ключевых тенденций, с которыми связаны трансформации облика современных городов. В первую очередь, речь идёт о глобализации и таких контрастных процессах, которые по-разному проявляют себя в разных регионах планеты, как индустриализация и деиндустрилизация, централизация и децентрализация городских пространств, а также неолиберализация социальной политики, «моральная двусмысленность» (описанное ещё Зиммелем сосуществование полярных социопсихологических установок: враждебности, равнодушия к окружающим и стремления к солидарности и взаимной ответственности) и экологические проблемы. Перед лицом этих сложнейших процессов меркнет (модерная по своим основаниям) вера индивидов в возможность каким-то образом активно на них повлиять, а познавательный потенциал городских исследований требует переосмысления.

Елена Трубина предлагает несколько стратегий, которые способны сохранить и упрочить актуальность и валидность современных (и в частности постсоветских) *urban studies*. В качестве первого пути исследователь называет компаративную урбанистику, которая посредством включения самых непохожих городов в одну теоретическую рамку может выявить не только существенные различия, но и фундаментальные сходства, приводя к неожиданным и нетривиальным выводам. Вторая стратегия связана с изучением материальной культуры городов и их пространственной композиции, с исследованием тех связей и сетей, которые обеспечивают в городе «мобильность людей и вещей». Третья стратегия – это локальные исследования городов, связанные с тончайшим и детальнейшим описанием частных и общих аспектов их функционирования, которые можно будет позже использовать и при сопоставлении различных городских пространств. Сосуществование

исследовательских проектов, следующих этим трём стратегиям, по мнению Елены Трубиной, способно поколебать доминирование экономических и географических исследований и привести к тому, что «несопоставимость результатов, обусловленная разрывами и расколами современной урбанистики, уступит место интересно описанному разнообразному опыту, в том числе “исключённых” людей и мест» (с. 501).

Книга *Город в теории: опыты осмысления пространства* поражает и широтой охваченной проблематики, и глубоким проникновением во многие фундаментальные теоретические вопросы не только урбанистики, но и гуманитарных наук в целом, и дружелюбным и бережным отношением к читателю. Стиль изложения, динамичный и лёгкий, контрастирует с тяжеловесной и сухой обстоятельностью, которую читатель, порой по привычке, опасается встретить в изданиях такого синтетического толка. Избранная автором манера повествования не превращает урбанистику в эзотерическое знание, доступное лишь узкому кругу посвящённых, а репрезентирует её как инклюзивное поле, открытое для всех, кто к этому готов.

Всё это позволяет рассматривать монографию Трубиной как уникальное и «многофункциональное» издание, которое может с успехом выступить и как учебник, и как источник справочного характера, и как книга, открывающаяся читателю при медленном, вдумчивом и последовательном чтении. Быть кристально ясным, не профанируя, демонстрировать широчайшую эрудицию, не рискуя при этом потерять цепкость, системность и глубину мысли, – не к этому ли стремится каждый социальный исследователь, представляющий результаты своей работы широкому кругу читателей, среди которых могут и должны оказаться не только узкие специалисты? Автору же книги *Город в теории: опыты осмысления пространства* это удаётся с блеском.

Лидия Михеева

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ВООБРАЖЕНИЕ И ПРАВИЛА ИГРЫ[1]

Игра в города: по материалам экспедиций в малые города Беларуси. **Сост., науч. ред. Т. Водолажская. Минск: И.П. Логвинов, 2009. 218 с.**

Полагаю, надёжной установкой по отношению к этой книге будет считать её не столько встроенным в научные и академические диспозиции исследовательским текстом, сколько попыткой политизировать термины «город» и «городское развитие». Авторы старательно и убедительно показывают, что представленный в книге материал – это лишь один из результатов интенсивной интеллектуально-проектной биографии Агентства гуманитарных технологий (АГТ), а именно результат исследования условий, возможностей и экспериментов в русле культурной политики как программирования «жизни» норм культуры в их трансляции и реализации (с. 9).

Исходя из формулировки Владимира Мацкевича и Татьяны Водолажской во введении к изданию, реализация культурной политики предполагает работу с «материалом»[2] одновременно в пяти разных слоях, или планах. *Во-первых*, это план норм, эталонов, образцов и прототипов деятельности. *Во-вторых*, это план трансляции норм, эталонов и образцов деятельности. *В-третьих*, план ситуации, в которой реализуется деятельность. *В-четвёртых*, план реализации норм. И *в-пятых*, это план действий и актов деятельности (с. 13–14). Для авторов важно то, что деятельность в русле культурной политики должна происходить комплексно, то есть во всех пяти пластах одновременно, что также предполагает активное отношение исследователя к своей исследовательской проблеме.[3] Другими словами, если мы оцениваем установки и результаты таких исследований,

> «речь идёт не об объективной природе вещей, а о знаниях о сопротивлении материала тем или иным действиям» (с. 14).

В рамках данного проекта сопротивлением материала, по всей видимости, является сложность «реализации в Беларуси нормы городской культуры» (с. 18). В результате авторов не устраивают существующие определения города (дисципли-

---

1 Рецензия Сергея Любимова опубликована в журнале *Палітычная сфера* (2010. № 15(2). С. 254–260).

2 Здесь тем не менее не хватает чёткого определения того, что авторы понимают под «материалом».

3 Подробнее о последнем аспекте см.: Водолажская Т. Городские исследования в Беларуси: теоретико-методологические проблемы // *Палітычная сфера*. 2009. № 12. С. 40–42.

нарные или отраслевые), поскольку «все они применимы в ограниченной среде и могут противоречить друг другу», предполагая «некоторый набор характеристик, которые приписываются "городу" в той или иной ситуации, для решения тех или иных задач» (с. 19). Сами авторы предпочитают говорить о критериях «организации городской жизни, которая делает город городом» (с. 19). И, как объясняется далее, именно «многообразие образов жизни и их согласование образуют собственно городскую среду и городскую культуру» (с. 23).

Исходя из целей книги – а также её интеллектуального и деятельностного контекста – в рецензии будут реконструированы горизонты политизации терминов «город» и «городское развитие». Кроме этого, мы попытаемся оценить потенциал представленной модели политизации и определить её значение для актуальных городских исследований в Беларуси.

Что касается первого пункта, можно говорить о том, что базовым горизонтом политизации, которую предлагают авторы, является нормативное измерение модернизации, выражающееся в «смысле», или «идее», «города как такового». Это измерение является проблематичным в его приложении к «материалу», который исследователи нашли и с которым взаимодействовали в малых белорусских городах. Как пишут авторы, «идея города немыслима без прав и свобод горожан и без организованного ими самоуправления» (с. 22), которые ведут к определённым стандартам, где ключевыми являются категории «качество и образ жизни», а сами стандарты задаются практическим согласованием свойств этих категорий (с. 23). Из такой перспективы самым общим посылом книги является сообщение об эффектах властной вертикали, которые фиксируются и анализируются в масштабе малого города. Вертикаль в данном случае – сложившаяся в рамках государства иерархия социально-пространственных масштабов, которая воспроизводится и поддерживается установками и практиками социальных игроков и институтов. Значимость термина «вертикаль» в объяснении городской динамики Беларуси может частично оспариваться и детализироваться.[4] Но в целом авторы исходят из того, что белорусский вертикальный тип городского развития относительно успешно решает запрограммированные задачи, но не предполагает актуализации белорусских «городов» в качестве городов, а «горожан» – в качестве горожан.[5]

Новизна подхода авторов заключается в том, что отчёты о восемнадцати экспедициях, а также попытки систематизировать данные (в подавляющем большинстве случаев качественные) по-

[4] См., напр.: Егоров А. Малые города: Who governs? // Водолажская, *Игра в города*, указ. соч., с. 117–125.

[5] Более подробно и доступно об этом в статье А. Егорова *История взлёта и падения Мстиславского феста* (которую можно было бы также назвать этнографическим пассажем); см.: Водолажская, *Игра в города*, указ. соч., с. 175–182.

зволяют реконструировать то, каким образом вертикальная модель организации реализуется в рамках отдельных населённых пунктов, а не между отдельными местоположениями (как это обычно представляется). В этом смысле *Игра в города* – это открытая база данных для многих типов читателей[6], где отчёты и аналитические статьи (с. 116–182) должны служить толчком для дальнейших исследований и уточнения.

Тем не менее работа авторского коллектива с накопленной базой данных может быть предметом критики. Самая важная проблема видится в том, что нормативное измерение модернизации, в которое помещаются интеллектуальный и деятельностный планы реализации культурной политики в среде малых городов, во многом обедняет диагностику проблем урбанизации в Беларуси. В частности, авторы прилагают относительно мало усилий для того, чтобы концептуально «заземлить» в территориальных объектах конкретные наблюдаемые процессы, а книге не хватает размышлений о социальной структуризации пространства и обратном влиянии пространственных структур на социальные отношения. Кроме этого, при обсуждении уже сложившихся структур – например, отношения городов с другими территориальными формами (с. 154) – нормативное понимание города во многом блокирует дальнейшие рассуждения о качественных отличиях между различными социально-пространственными единицами и о необходимой «инфраструктуре» для поддержания этих отличий.

Восприятие пространственных структур как второстепенных по отношению к реализации «идеи города» выглядит радикально модернизационным. В таком случае категория пространства значит гораздо меньше, чем категория времени, и в результате выхолащивается конструкт города. К примеру, Оксана Шелест пишет о том, «что (в подавляющем большинстве случаев) город для его жителей является скорее "рабочей слободой", чем собственно "городом"». И далее:

> «В такой системе представлений обсуждение города как некоторой самостоятельной целостности, существование и развитие которой может зависеть не только от развития промышленности, которое зависит, в свою очередь, от системы распределения ресурсов на областном или республиканском уровне, становится невозможным» (с. 138).

В приведённом фрагменте поднимается вопрос негативного влияния вертикали, но автор его далее не развивает, удовлетворяясь фиксированием отсутствия нормы городской жизни. Тогда как специфика производства, сектора услуг, жилищной политики, бюджетной сферы и т. д., тесно связанная в Беларуси со спецификой функционирования вертикали, вполне может политизироваться

6 Например, статья А. Егорова *Малые города на фоне культурных катастроф* – вполне программный документ для городских элит; см. Водолажская, *Игра в города*, указ. соч., с. 146–151.

и требует подробного рассмотрения. А особенности организации производства, даже будучи единственными источниками представлений жителей о своём городе, вполне могут быть базовым каналом политизации.

Схожая взаимозависимость установок и практик в городской среде, с одной стороны, и общей системы воспроизводства пространства в Беларуси, в которую включена эта среда, с другой, выявляются и в историях «противостояния» Турова и Житковичей, Давид-Городка и Столина:

> «Например, жители Давид-Городка уверены, что все их проблемы связаны с тем, что город не имеет районного статуса (и эта точка зрения не лишена оснований). Однако поскольку решение о районном статусе принимается на совершенно другом уровне, неравнодушным к настоящему и будущему своего города людям остаётся только жаловаться на "историческую несправедливость" или писать обращения в различные властные структуры вплоть до президента страны с просьбами исправить положение (при этом понимая полную безнадежность этих действий). Обсуждать же какие-либо иные перспективы развития города до того, как будет решён "основной" вопрос, считается бессмысленным» (с. 138–139).

И здесь точно так же акцент на нормативности не позволяет исследователям пойти дальше и сконструировать условия возможности этого противостояния в его же терминах, т. е. в терминах организации пространства.

Отмеченная сосредоточенность авторов представленного сборника на нормативном аспекте города приводит к исключению анализа того, как своеобразие производства и структурирования пространства влияет на установки и действия (а не только наоборот). Это также приводит к склонности описывать то, чего участники экспедиций не нашли в среде малых белорусских городов, а не то, что нашли. По отчётам заметно, что исследователи ехали в населённый пункт с довольно жёсткими модернизационными установками и, таким образом, увидели именно то, что хотели видеть, т. е. определённый набор отклонений от «должного» функционирования городов. И описание, и концептуализация этих отклонений не всегда прозрачны: несоответствие нормам и эталонам очевидно, но чт*о* в реальности подменяет «ключевые нормы» – практически не анализируется. Иными словами, изначально сформулированные нормы развития городов блокируют попытки рассмотрения того, как города развиваются без этих норм, а белорусская модель урбанизации описывается скорее в терминах того, чего она не принесла.[7]

Более или менее сфокусированный качественный анализ конфигурации местной власти можно наблюдать только в отчёте о Поставах (с. 104–110). В остальных частях книги сложно найти про-

7 Хороший пример этому – отчёт о городе Дисна (с. 95–100).

зрачно представленные данные, которые позволяли бы полностью проследить, к чему именно приводит реализация вертикальной модели развития. Здесь интересными кажутся размышления об управлении зазором между «разрешённой» и «запрещённой» деятельностью как о ключевом моменте организации малых городов в целом, но им не хватает более подробного анализа данных, чтобы показать, каким образом достигается «беспроблемность» (с. 123–124). Полезным было бы более подробное рассмотрение реализации в городе международных программ (Глубокое, Брагин, Дисна) как важного фактора инструментализации такого «зазора». Скажем, в статье *Реализация и утилизация активности горожан* (с. 125–133), где приводится пример города Дисна, этот аспект кажется одним из ключевых, но практически не обсуждается. То же самое можно сказать о нехватке горизонтальных связей и доминировании вертикальных, что рассматривается во многих частях книги, но наиболее детально – в статье *Неправительственные организации: формы жизни и выживания* (с. 161–168), в которой Леонид Калитеня пишет:

> «Основная проблема в том, что их участники не замечают друг друга, не видят в коллегах из другой организации потенциального ресурса, который мог бы быть использован ими для своей деятельности, они стараются выживать поодиночке, не объединяясь для решения каких-либо задач. Почти в каждом городе нам удавалось познакомить друг с другом представителей нескольких организаций или инициативных групп (в Щучине, Сморгони, Ганцевичах и т. д.)» (с. 165).

Более тонкое описание этого процесса открыло бы читателю многие интересные и менее диагностические детали касательно специфики встраивания неправительственных организаций в локальные сообщества. Дополнительным случаем может быть ситуация в Сморгони, где авторы обнаруживают «достаточно грамотную политику местных властей: в настоящее время никакого особенного прессинга с их стороны не испытывают даже наиболее известные из “бывших оппозиционеров”, им не мешают вести бизнес и т. д.» (с. 83). Интересным было бы дальнейшее исследование особенностей такого консенсуса, как и «утилизации» НГО и партий в Поставах (с. 107).

В результате, несмотря на органичное встраивание в концепцию книги в целом, а также значимость для дальнейших исследований белорусских городов, отчёты об экспедициях слишком описательны (часто похожи на заметки путешественников), а описываемые там сюжеты помещаются в слишком жёсткую схему интерпретации. Причём складывается впечатление, что эта ситуация является не столько результатом ограниченности в ресурсах исследовательского коллектива, на которую ссылаются сами авторы, сколько следствием того, что главным горизонтом для них является нормативное измерение модернизации, подтверждение чему можно найти как в обосновании проекта, так и в совсем мелких

деталях представления данных. К примеру, читателя с антропологическим бэкграундом очевидно будет раздражать навязчивое использование клише в духе «приличный ресторан» или «приличное кафе».

В то же время отчёты предлагают перспективу для дальнейшего размышления и генерирования понятий, особенно если описываемые там детали даются в исторической перспективе. Речь здесь идёт не об истории города в традиционном смысле, но о биографиях отдельных проектов, важных, с точки зрения авторов книги, для фиксирования норм городской жизни или их отсутствия. Примеры – истории реабилитационного центра в Турове (с. 56–61) и дударской инициативы в Лепеле (с. 110–117), а также статья *История взлета и падения Мстиславского феста* (с. 175–182). Кроме того, эти биографии позволяют более надёжно судить о том, каким именно образом исследователи «воздействовали» на материал и каким образом в каждом конкретном случае «материал» сопротивлялся. Также неплохо было бы посвятить отдельную статью поведению информантов, например регулярному перенаправлению с вопросами в различные институции – «куда-нибудь повыше» (с. 88). Нечто подобное можно найти в статье О. Шелест (с. 139–140), а саму ситуацию рассмотреть в качестве дополнительного эффекта вертикали.

В целом, заявленные во введении подход и установка на деятельностное отношение к «материалу» во многом защищают исследователей от критики из перспективы, намеченной выше. Тем не менее обоснование исследования как «исследования действием» может притупить нашу чувствительность к тем терминам и горизонтам, в каких мы исследуем материал и воздействуем на него.

Проблемно-ориентированное исследование АГТ малых городов открывает перспективы для дискуссий и придаёт заметный импульс городским исследованиям в Беларуси. Вместе с тем такой подход настраивает нас видеть одно и упускать из виду другое, воздействовать на «материал» достаточно однобоко. Авторы говорят о способности культурного политика видеть ситуацию как целое:

> «Место “непосредственного действия” культурного политика – тоже в ситуации [по отношению к традиционному политику. – *С. Л.*]. Но вот рефлексия требует охвата пространства норм, образцов, идеалов (пространства культуры), и пространства реализации (ситуации). В деятельность культурного политика включена и работа с нормами, и деятельность по их реализации, и работа по повышению качества материала для обеспечения реализации норм. Таким образом, культурная политика требует удержания большого числа объектов и видов деятельности, а также связей между ними» (с. 12).

Возвращаясь к вопросу о пространственном воображении: чтобы видеть ситуацию городского развития как целое, нужно не просто видеть идеалы и лакуны, где эти идеалы не реализуются. Нужно и более чётко прослеживать зависимость между закономер-

ностями развития социально-пространственных единиц, а также мотивациями и практиками тех, от кого это развитие зависит.

Наконец, призыв «думать Беларусь» не должен отвлекать нас от критического выбора, совершенствования и использования уже испытанных исследовательских стратегий: то, что мы мало знаем о белорусских городах, не значит, что мы ничего не знаем о том, как исследовать города в целом. В этом смысле книга стала бы ещё более сильным продуктом, если бы сумела нащупать и удержать компаративную перспективу. На данный момент ключевая компаративная перспектива в книге – это перспектива БССР/Беларусь.

Сергей Любимов
Опубликовано в:
Палітычная сфера. 2010. № 15(2). С. 254–260.

ОТ КЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ КУЛЬТУРНОЙ ИНДУСТРИИ К КОНЦЕПТУАЛЬНЫМ МОДЕЛЯМ ГЛОБАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ИНДУСТРИЙ

Lash Scott, Lury Celia. *Global Culture Industry: The Mediation of Things.* **Cambridge: Polity Press, 2007. 248 p.**

В 2007 г. американское издательство *Polity Press* выпустило книгу *Global Culture Industry: The Mediation of Things*, авторами которой являются британский профессор социологии и культурных исследований Скотт Лэш и теоретик социологии культуры Селия Лури. Эта книга представляет собой попытку апробирования нового метода исследования современной культуры, а также новой теории, которую авторы книги последовательно излагают и аргументируют, – теории глобальной культурной индустрии. Ещё в 1995 г. авторы книги разработали план эмпирического исследования «глобальной биографии культурных продуктов».

Одним из главных тезисов авторов является оспаривание теории «культурной индустрии», предложенной Максом Хоркхаймером и Теодором Адорно в книге *Диалектика Просвещения*. Основная идея теоретиков Франкфуртской школы состояла в том, что ранее относительно автономная сфера культуры стала зависимой от индустриального принципа производства и монополистической концентрации капитала в руках крупных «культурных» корпораций. Согласно Хоркхаймеру и Адорно, культура превратилась в объект, как и любой другой товар. Подчинившись принципу индустриальной рациональности, культура потеряла ранее присущее ей пространство свободы. Присвоив логику аккумуляции капитала, распространённую в западных экономиках, культурная индустрия начала производить унифицированные продукты. Теория «глобальной культурной индустрии», которую выстраивают Скотт Лэш и Селия Лури, должна, по их мнению, заменить используемую до сих пор теорию «культурной индустрии». Важным маркером новой теории является прилагательное «глобальный»: с переходом от культурной индустрии к глобальной культурной индустрии сменилась логика развития культуры, глобализация позволила культуре работать по-другому. Сейчас культурные продукты присутствуют повсюду как информация, коммуникация, брендовые продукты, финансовые услуги, медиа-продукты и пр. Культура, согласно Лэшу и Лури, доминирует в повседневной жизни, присутствует в наших производственных и чувственных практиках.

Доминирование культуры в экономических и повседневных практиках приводит к тому, что она становится овеществлённой, поэтому глобальную культурную индустрию

можно рассматривать в рамках *медиатизации вещей*[1]. Данный тезис является центральным для этой книги. Авторы утверждают: «Классическая культурная индустрия исчезла». Для того чтобы обосновать возникновение глобальной культурной индустрии, Лэш и Лури замещают «классические» понятия теории Хоркхаймера и Адорно новыми концептами, которые, по их мнению, характеризуют современную индустрию культуры. Прежде всего, речь идёт о переходе от гомогенности к гетерогенности. В глобальной культурной индустрии продукты циркулируют вне зависимости от рынков, где были произведены. Они не повторяют «типичный» путь продукта от производителя к потребителю. Вместо этого эти продукты модифицируются в постоянной циркуляции, обретая собственную динамику. Далее следует переход от товара к бренду. Бренд работает согласно логике гетерогенности, выступая источником производства культурного продукта. Бренд обладает историей, которая составляет его идентичность. Возможность бренда воплощаться в различных продуктах подтверждает его «рассредоточенность», но в то же время утверждает его возможность объединять товарные единицы. Авторы книги описывают также переход от репрезентаций к вещам. Прежде всего, он выражается в том, что культура, ранее работавшая исключительно на уровне надстройки, становится частью базиса. Информация становится товаром, собственность – интеллектуальной, а экономика – в большей степени культурной.

Таким образом, культура обретает материальность, которой ранее не имела. В классической культурной индустрии отношения между продуктами происходили на уровне репрезентации. Культура была коммодифицирована, но это были коммодифицированные репрезентации, а не культурные объекты (с. 7). В глобальной культурной индустрии все процессы происходят на материальном уровне, что приводит к взаимодействию вещей, а не репрезентаций. Переход от символического к реальному описывается авторами через оппозицию классической и глобальной культурной индустрии. Лэш и Лури понимают символическое как набор идеологий и культурных структур, расположенных на уровне надстройки. Они организовывают предметы таким образом, чтобы те воспроизводили капиталистическую экономику и нуклеарную семью (с. 12). Реальное не оперирует на уровне надстройки, оно является базисом. Его можно описать как бесформенное образование, в котором означивание происходит стремительно и насильно, в отличие от классической культурной индустрии, где означивание происходит через смыслообразующие структуры.

---

[1] Под *медиатизацией* следует понимать отход от логики унифицированного культурного производства. Каждый отдельный культурный продукт, согласно авторам книги, обладает собственной траекторией развития. Именно эта уникальная траектория и позволяет говорить о культурных и социальных характеристиках каждого отдельного продукта.

В теорию глобальной культурной индустрии также вводится концепт биовласти, развитый Мишелем Фуко в 1976 г. Согласно авторам, биовласть характеризует мобильные, самоорганизующиеся и рефлексивные продукты глобальной культурной индустрии. Она противопоставляется механистической власти классической культурной индустрии. В глобальной культурной индустрии власть покидает структуры и действует на уровне потоков информации, людей, товаров и услуг, трансформируя всё вокруг себя. Экстенсивность классической культурной индустрии противопоставляется интенсивности.

Для описания глобальной культурной индустрии Скотт Лэш и Селия Лури обращаются к идее «глобальной деревни» Маршала Маклюэна. Глобализация медиа и коммуникации привела к расширению человеческих чувственных способностей. Глобальное информационное пространство служит местом, где различные продукты обретают свою траекторию развития. И если механистичность классической культурной индустрии описывалась в рамках протяжённости индустриального ландшафта, то интенсивность глобальной культурной индустрии – это интенсивность медиапространства и различных процессов. Скотт Лэш и Селия Лури приписывают глобальной культурной индустрии возрастание роли виртуального. Описанный выше переход от товара к бренду является частью «виртуализации». Авторы книги описывают город как пространство, где возможны различные опыты, воспроизводящие себя не через объекты, а через события. Архитектура становится коммуникационным медиумом, сообщая свою функциональность.

Используя биографию семи культурных продуктов (*Toy Story*, *Wallace and Gromit*, *Nike*, *Swatch*, *Trainspotting*, Euro'96, YBA), авторы данной книги показывают, каким образом глобальное культурное пространство предопределяет, как будет происходить «жизнь» определённого культурного продукта, каким образом локальные и глобальные факторы определят его место в глобальной культурной индустрии. Шесть глав книги посвящены подробному анализу биографий этих культурных продуктов; предложенный метод авторы книги обозначили как «слежение за объектами». Социология объекта видится уместной в данном контексте, поскольку позволяет следить за жизненным циклом того или иного культурного продукта из разных перспектив. Использование различных методов для составления биографии объекта (интервью, анализ документов, визуальных материалов), позволило авторам не только найти подтверждение предложенной теории глобальной культурной индустрии, но и обосновать её актуальность.

Несмотря на то что теория «глобальной культурной индустрии» может показаться, на первый взгляд, реальной альтернативой существующей классической теории Хоркхаймера и Адорно, всё же она исключает подробный анализ негативных аспектов глобализации и концентрируется на анализе типичных, «массовых» культурных продуктов, исключая также различные локальные и субкультурные

практики. Сам метод «биографии культурных продуктов» и «слежения за объектом» кажется интересным методологическим подходом, который позволяет выявить, каким образом формируется культурный продукт, а также то, каким образом формируется его позиция в культурном поле.

Анна Позняк

КАК ИССЛЕДОВАТЬ ГЛОБАЛИЗАЦИЮ?

Anna Tsing. ***Friction: An Ethnography of Global Connection.*** **Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 205. 376 p.**

Если мы хотим понять больше о мире и о том, как в нём всё работает, где нам нужно начать? Книга Анны Цинг *Friction: an Ethnography of Global Connection* предлагает необычное решение:

> «Заброшенная лесовозная дорога стала одним из самых безжизненных мест на земле. По определению она никуда не ведёт. Если вы идёте по ней, то это либо потому, что вы потерялись, либо потому, что вы посягаете на чужие владения. Либо и то и другое. Мокрая глина образует комки на вашей обуви, если у вас есть обувь, ослабляя ваши силы. А если у вас нет обуви, солнце и горячая грязь беспощадны» (с. 29).

Этот чувственно богатый образ Анны Цинг, потерянной и посягающей на чужие владения вдоль заброшенной лесовозной дороги, испачканной и неспособной сбросить тяжёлую глину с обуви, лучше всего передаёт вызов современным социальным наукам. Если вы хотите сказать что-то о мире, это не будет так легко сделать: вам нужно волочить тяжёлые от грязи ноги по заброшенным лесовозным дорогам мира и сделать это началом вашего теоретизирования и стиля изложения. И даже в этом случае у вас есть привилегия, которую следует иметь в виду. У вас, по крайней мере, есть обувь!

Friction – это книга, которая вдохновляет своим подходом по двум причинам. *Во-первых*, это продолжение долгосрочных полевых исследований Цинг в тропических лесах Мератус в Южном Калимантане и, *во-вторых*, оценка того, как всё работает в современном мире. Эти два аспекта неразделимы, поскольку то место, где проводит свои исследования Цинг, во всём его уникальном разнообразии – это то, что даёт ей возможность видеть, как глобальные связи функционируют на практике. Знакомя читателя с социальными и экологическими последствиями вторжения международной торговли в тропические леса Индонезии и передавая в равной степени яркую социальную, культурную и экологическую сложность этого пространства, Цинг привносит жизнь в регион, которого до этого не было на карте для её читателя. Обращение внимания на пространство в аспекте, который вообще не был или практически не был представлен в международных медиа и академии, является ключевым в работе Цинг. Ведь если мы говорим о глобализации, мы

предполагаем существование глобальной рамки. Но какая картина мира, или рамка, возникнет, если мы возьмём, как это делает Цинг, деревенские сообщества в тропических лесках Индонезии в качестве источника материала для того, как мы думаем о глобальности? Являются ли идеи и слова, в которых мы концептуально оформляем глобальность, адекватными тому, что происходит в таких местах, как описываемое Цинг? Таким образом, не последнее достоинство книги *Friction* – это призыв проводить бо́льшее количество полевых исследований в местах, которые слабо репрезентированы на дискурсивной карте мира. Этот призыв столь же значим для тех, кто занимается социальными исследованиями в Беларуси, Украине, России, Польше, Литве и т. д., сколь для Цинг в Индонезии. То, о каких местах мы говорим или пишем, и то, как мы это делаем, имеет значение. Поскольку лишь через этнографические детали мы можем включиться в дискуссию о том, что Цинг видит в качестве базовых дилемм нашего времени: почему глобальный капитализм настолько беспорядочен? Кто говорит за природу? Какого рода социальная справедливость имеет смысл в XXI веке (с. 2)?

***

Friction – это во многом самостоятельная работа, которая может именно так и прочитываться. Однако интересным и в равной степени огорчающим будет также соотносить эту работу с более ранними этнографическими исследованиями, которые Цинг проводила в том же месте, работая с главным персонажем и ключевым информантом тех исследований Умой Аданг.[1] Ума Аданг – это выдающаяся лидер сообщества Мератус Даяк, населяющего тропические леса Южного Калимантана. Несмотря на опасность для сообщества, которую представляют собой лесозаготовительные и горнодобывающие компании, наплывы миграции, международные проекты по сохранению природных ресурсов и здоровья, Аданг становится энергичной и независимой лидером сообщества в патриархальном контексте. Ключевым элементом в авторитете Аданг является харизма при повествовании истории, где факт смешивается с шаманской поэзией, пародия – с помпой, а локальные события интерпретируются в терминах древних предсказаний. Любое событие, даже приезд американской антрополога Цинг, может быть инкорпорировано в фантастическую историю Аданг о мире. И, таким образом, оно становится элементом в структуре относительной связности, которую она изобретает для своего сообщества, или в структуре того, что и она и Цинг называют «культурой»[2]. Эта книга создаёт ощущение хрупкости существования этого сообщества на периферии, перед лицом внешних угроз

---

1 Tsing A. From the Margins // *Cultural Anthropology*. 1994. Vol. 9/3. P. 279–297; Tsing A. *In the Realm of the Diamond Queen.* Princeton: Princeton Univ. Press, 1993.

2 Ibid., 284.

его экосистеме. При этом чувственность, юмор и энергия описания мира Умы Аданг, её хитрость в процессе создания собственной позиции власти и очевидная привязанность Цинг делают текст книги радостным, но также сложным для следования. Читая очевидно бессмысленные повествования Аданг, я был поражён тем, что способы, которыми лишённые власти сообщества создают связность из своей ситуации, могут выступать важным аспектом для анализа не только традиционных сообществ, но и национальных государств в эпоху глобализации.

В то время когда Цинг возвращается на Калимантан для написания *Friction*, картина уже совсем другая. Ума Аданг, когда-то энергичный центр внимания, теперь, по большому счёту, – периферийный и подавленный персонаж. Она говорит Цинг: «Я не думаю, что ты вернёшься. Здесь больше нет культуры» (с. 49). Действительно, если бы Маркс искал поддержку своему известному тезису о том, что капитализм имеет уникально деструктивное влияние на другие социальные структуры, которые попадаются на пути, ему было бы достаточно просмотреть первые главы *Friction*.[3] Ведь те деструктивные силы, которые Цинг описывает как спущенные с цепи на фронтире капитализма, действительно мрачны. Ландшафт стал фронтиром, природа – ресурсом, и всё кажется собранным в мобильную карту страха, возбуждения и странных желаний: единственная вещь, на которую кто-либо может надеяться – это получить хоть какую-то прибыль от ресурса, пока он не исчезнет. Ландшафт, где монотонные и заброшенные поля монокультур заменили уникальное многообразие видов в тропических лесах, развивавшихся миллионы лет, становится извращённым сопровождением бездыханных и неопределённых взаимодействий деревенских жителей, горняков и лесорубов в ускоренном времени мародёрства (с. 30).

> «Фронтиры дерегулированы потому, что они возникают в промежуточных пространствах, созданных сотрудничеством легитимных и нелегитимных партнёров: армий и бандитов, гангстеров и корпораций, строителей и грабителей. Они смешивают границы права и воровства, управления и насилия, использования и разрушения. Эти смешения меняют правила и, таким образом, делают возможной новые экстравагантные экономики дохода, а также потери» (с. 27–28).

Ситуация в Борнео, которую Цинг представила в поздние 1990-е, демонстрирует, что влияние и интересы многонациональных корпораций, государственных институций, международных программ по развитию, лесорубов-мигрантов, бандитов и местных деревенских жителей безнадежно размыты. Результатом становится путаница рамок пространства и времени в производстве и разрушении ресурсов и богатства.

---

[3] См., к примеру, описание Марксом постоянного распространения капитализма, требуемого «законами накопления капитала», в *Capital*. Vol. 1, ch. 25.

У Цинг есть характерная для антропологов внимательность к деталям и ярко выраженное умение погружать читателя в центр чувственных эффектов социальных, культурных и экономических изменений. Если в поздние 1990-е, с точки зрения многонациональной экономики, Индонезия выглядела как место, где потенциал фронтира мутировал в опасность кризиса[4], то с точки зрения этнографической работы здесь уже сложно чему-то верить. Деревья превратились в количество долларов. Земля, традиционно находившаяся во владении деревенских жителей, стала предметом более авторитарных, навязанных государством имущественных претензий (в какой-то момент наилучшим решением становится продать собственную землю – даже если она не является собственной во всей ясности – до того момента, когда это сделает кто-то другой). Даже яйца стрижей для специального китайского супа, до этого тщательно спрятанные птицами в пещерах, теперь массово собраны и охраняются армией, чтобы никто из местных не смог на них заработать. Сталкиваясь с такими угрозами, этническая идентичность и мораль переформулируются в припадочном спазме страха. Если до этого Ума Аданг шутила о попытках набожности, теперь – когда уже осталось немногое из того, что ещё можно защищать, – мораль Даяк становится защитным элементом сообщества. Теперь между группами, которые сложно визуально отличить друг от друга, появляются этнические напряжения, обосновываемые даже запахом как фактором отличия.

Тем не менее работа Цинг является настолько интересной не только ввиду красочности, с которой она сообщает о локальных эффектах капиталистической экспансии на Борнео. Скорее, читая её, сложно не почувствовать, что экспансия фронтира – это одна из определяющих характеристик сегодняшнего дня. Поскольку, несмотря на то что тропические леса Калимантана – это экзотическое пространство, легко ассоциирующееся с фронтиром, Цинг показывает, что это пространство лишь произведено в качестве фронтира благодаря сложному набору операций в сферах медиа, политики и бизнеса. Таким образом, фронтир как пространство, где ресурсы разных типов трансформируются в потенциальные источники прибыли в новой нерегулируемой парадигме, становится и полезным объектом для анализа того, что происходит в тропических лесах Калимантана, и пригодной оптикой для понимания неолиберализма в целом. В свете исследования Цинг неолиберализм может быть определён как активное стремление множить фронтиры, которые потом становятся объектами регулирования, государственными институциями для собственных конкурентоспособных преимуществ.[5] Точно так же глобальный экономический кризис

[4] Это заставило Цинг думать о том, насколько фронтир и кризис так уж отличаются друг от друга в конкретных пространственно-временных конфигурациях.

[5] Джон Ло и Анн-Мари Мол также описывают умножение фронтиров и контроль над ними вдали от границ национальных государств в каче-

2009 года может быть понят как результат эксплуатации ресурсов фронтира (формирование финансовых пакетов из ипотек для тех, у кого низкие доходы) в городах США. Спутанное парадоксальное пространство острова в Индонезии с его уникальной разнородной экосистемой не столько является значимым объектом *case study* Цинг, сколько становится парадигмой для понимания современного мира.

Это имеет особый резонанс для мышления о пространствах Центральной и Восточной Европы, которые после падения коммунистической системы возникли в качестве ещё одного фронтира капитализма, обещающего как волнующее богатство, так и пугающий риск. Из перспективы «второго мира» черты фронтира в Южном Калимантане, о которых пишет Цинг, кажутся поразительно похожими. Здесь можно говорить об экспансии приватизации общественного имущества для частной прибыли и о смешении частного и общественного. Здесь же заметны стирание границы между легальным и нелегальным, смешение темпоральностей, а также комбинация аморальности по отношению к ресурсам и усиления защитной консервативной морали. Возьмём, к примеру, нарушение временн*о*й оси, заметное в том, что «фронтир пришёл в Калимантан *после* движения в защиту окружающей среды (*enviromentalism*)» (выделено в оригинале) (с. 32).

> «Были приведены в действие планы спасения окружающей среды в процессе её разрушения. Для того чтобы восстановить вырожденную землю с вырубленным лесом, появились плантации с деревьями. Уже после того, как лес был вырублен, а земля стала вырожденной … индонезийский магнат в сфере деревообработки Боб Хасан организовал десятикилометровый марафон с названием “Беги за тропический лес” и был завален призами за инициативу в защиту окружающей среды» (с. 31).

Точно такая же логика позволяет торговому центру *Carrefour* в районе, где я живу в Варшаве, предлагать покровительство проектам локальных сообществ, в то время как сам торговый центр разрушает сети местной торговли, а компания *Carrefour* использует свои международные связи для того, чтобы не платить налоги в Польше. Обещание глобализацией доступа к товарам, которые попадают в Восточную Европу, можно понимать в качестве производящего международное социальное неравенство и разрушающего структуры локальных сообществ. Возможно, интересным в свете примера Цинг будет тот факт, что с 2010 года *Carrefour* также стал главным спонсором варшавского марафона.

стве стратегии, посредством которой отдельные национальные государства поддерживают свою доминантную иерархическую позицию в условиях глобальных сетей и торговли; см.: Globalisation in Practice: On the Politics of Boiling Pigswill // *Geoforum*. 2008. Vol. 39/1. P. 133–143.

***

Именно на таких сбивающих с толку процессах фокусируется Цинг, называя свою книгу *Friction*. Надо сказать, у этого названия (*friction* – трение, но ещё и антагонизм) много коннотаций. У трения могут быть положительные результаты. Именно трение становится причиной движения, когда, например, шина касается дороги или нога становится на половицу. Трение двух деревянных палочек становится причиной огня. Но трение также может вести к разрушению материалов или волдырям на нашей коже. В разговорной речи трение является условным обозначением эмоционального напряжения между людьми. Для Цинг трение выступает контрапунктом по отношению к лексикону текучести и мобильности, которым обычно описывается эпоха глобализации. Она показывает, что из физической, социальной и культурной перспектив этот язык игнорирует столкновение с различиями, подобное трению. А ведь именно это столкновение и делает возможным движение. Когда два тела оказываются в контакте, появляется энергия, которая зачастую создаёт непредсказуемую и неровную динамику. Например, дороги дают место для появляющегося в результате трения движения резины по покрытию и, таким образом, делают движение более лёгким и результативным. Но, «делая это, они также ограничивают то, куда мы передвигаемся», и, конечно, делят население на тех, у кого есть машины, тех, кто ждёт автобуса, и тех, кто не способен сделать ни первое, ни второе (с. 6). Для Цинг, *friction* – это теоретический инструмент, артикулирующий то, чем может быть этнография глобальных связей. Такая этнография должна схватывать появляющиеся в трении контакты между разными пространственными уровнями, сами пункты, где происходит трение, а также механизмы, посредством которых оно происходит.

Friction – это также концептуально новая стадия в развитии идей, представленных Цинг в более ранней статье *The Global Situation*. В этой статье она, с одной стороны, воодушевлена тем, как феномен глобальности меняет множество сфер жизни – от деловых практик, политического управления и социальной мобилизации до академических исследований, – и, с другой стороны, обеспокоена вопросом, к чему отсылает слово «глобальное».[6] Глобализация предполагает новизну, интенсивные межнациональные и транснациональные отношения, распространение вещей по всему миру, а также глобальность как исходную рамку для всего. Но когда все говорят о городах, культуре, потоках, сетях и связях как глобальных, автор удивляется: нет ли здесь скрытых политических повесток дня, которым нужно уделить пристальное внимание? Существуют значительные отличия между продвижением компании мобильной связи как создающей глобальные связи и фиджийской женской организацией, участвующей в глобальной женской конференции ООН. Общее между

---

6 Tsing A. The Global Situation // *Cultural Anthropology.* 2000. Vol. 15/3. P. 327–360.

ними то, что они создают глобальные связи. Цинг предостерегает, что, сводя разнообразие мира к гегемонии глобального, мы превращаем мир в искажённую карикатуру и, таким образом, помогаем тем силам, которые пытаемся критиковать.[7]

Анна Цинг, к примеру, замечает, что возникновение глобального движения в защиту окружающей среды и языка заботы, охраны и любви к планете, которым оно пользуется, должно прочитываться в тандеме с производством первых волнующих снимков земли из космоса в 1960-е и 1970-е гг.[8] В нашей погоне за термином глобализация не впадаем ли мы в иллюзию власти над глобальностью, которая выражена, в том числе, и в программе *Google Earth*, где мы можем двигать планетой так, как хотим? Как заметил Леви-Стросс в дискуссии о миниатюрах, получить непосредственную видимость целого – большое удовольствие. Но что прячется от нас в непосредственной визуализации целого?[9] Этот пример особенно значим, поскольку для Цинг экология – это не просто пример. *Friction* восхитительна в плане исследования деталей интеракций сообщества Мератус Даяк с богатством биологического разнообразия, и, таким образом, она открывает новые каналы понимания социальных отношений с природой. Для Цинг этнография окружающей среды является именно той сферой, которая позволяет нам расширить границы социальных отношений до природных пространств, где они случаются, и открыть локальное разнообразие, которое необходимо принять во внимание, когда мы конструируем картину глобального целого.

Для понимания сути подхода Цинг важно обсуждение ею книги Дэвида Харви *The Condition of Postmodernity*[10] в статье *The Global Situation*. В какой-то мере Цинг находит много интересного в подходе Харви к соотношениям между культурной эстетикой постмодерна и накопительными стратегиями постиндустриального капитализма. При этом как антрополог она поставлена в тупик наиболее известным тезисом Харви об ускоряющемся сжатии пространства и времени как определяющей характеристике постмодерна. Где Харви наглядно этнографически демонстрирует, как переживаются структуры пространства и времени?[11] Это не просто второстепенное упущение, но серьёзная теоретическая и стратегическая лакуна. Ведь

---

7 Здесь автор ссылается на Фредрика Джеймисона, Жан-Франсуа Лиотара и Жана Бодрийяра как мыслителей, попавших в эту ловушку.

8 Tsing, *The Global Situation*, op. cit., p. 331.

9 В разных статьях, затрагивающих вопрос видов с воздуха, Марк Дорриан обсуждает вопрос «слепых пятен» в образах, зафиксированных спутником, а также вопрос наслаждения от власти, ставшей возможной благодаря программе *Google Earth* и миниатюрным архитектурным моделям. Дорриана особенно интересует то, как техники визуальной репрезентации пространства переплетены с его концептуальным и политическим пониманием; см., к примеру: The Aerial Image: Vertigo, Transparency and Miniaturization // *Parallax*. 2009. Vol. 15/4. P. 83–93.

10 Harvey D. *The Condition of Postmodernity.* Oxford: Basil Blackwell, 1989.

11 Tsing, *The Global Situation*, op. cit., p. 341.

упуская из виду разнообразие опытов пространства и времени в современном мире, или, другими словами, упуская из вида этнографические детали, Харви сводит пространства и времена к понятиям сжатия и ускорения. Другими словами, он повторяет жест капиталистической системы, которую так усиленно критикует.

В этой статье глобализация для Цинг – это проект, который возникает в конкретных условиях нашего присутствия в мире. Её интересуют не столько потоки глобализации, сколько каналы для этих потоков – идейные, деловые, политические или активистские проекты, благодаря которым создаются связи между различными пространствами, – а также роль, которую играет для этих процессов глобальный горизонт.

> «Вместо того чтобы смотреть на заключающие мир в оболочку эволюционные стадии, логики и эпистемы, я скорее начала бы с нахождения того, что я называю проектами, то есть с нахождения относительно связных наборов идей и практик, реализованных в конкретном пространстве и времени».[12]

Тогда *Friction*, и как книга, и как теоретический термин, может прочитываться как развитие такого теоретического предложения: она фокусируется на узловых пунктах, процессах захвата, сопротивления и девиации, посредством которых конструируются пространства мира. Книга также является попыткой свидетельствовать о глубоких и драматичных трансформациях, происходящих в Индонезии. Книга состоит из трёх частей. Первая – *процветание* – фокусируется на бедствиях, причинённых влиянием многонационального капитализма в Южном Калимантане, и на странных связях, которые сделали его возможным. Вторая – *знание* (и в первую очередь знание о природе) – фокусируется на проектах и сотрудничестве, которые позволяют знанию циркулировать, каким-то деталям забываться, и, таким образом, благодаря генерализации они обеспечивают переход от деталей к универсальному. Третья – *свобода* – подчёркивает понятие фрикционных коалиций (*frictional coalitions*). Здесь задаётся вопрос о том, как в политических движениях язык универсальных идеалов может создавать траектории, переступающие дисциплинарные пределы и побуждающие к новым формам политики. Таким образом, эта книга – движение от свидетельств производства/разрушения пространства, через обсуждение производства знания, к возможностям и трудностям новой концептуализации политического действия.

***

Для меня захватывающим было бы соотнести подход Цинг с исследованиями критических географов, работающих в русле понимания пространства как продукта социальных отношений Анри

---

[12] Tsing, *The Global Situation*, op. cit., p. 347.

Лефевром. К примеру, Нил Бреннер в своей статье о неравномерном пространственном развитии цитирует следующий пассаж из Лефевра:

> «Принцип взаимного проникновения и наложения социальных пространств имеет один очень полезный результат. Он предполагает, что каждый фрагмент пространства, который становится объектом анализа, маскирует не какое-то одно социальное отношение, но всю совокупность, которая может быть выявлена с помощью анализа».[13]

Тогда «трение» можно рассматривать в качестве инструмента для исследования взаимного проникновения и наложения социальных пространств в результате социальных отношений. У Бреннера свои собственные инструменты анализа места, территории, масштаба и сети как разных сосуществующих концептуализаций пространства, а также сухой методологический стиль, максимально отличный от динамичной поэзии парадоксов и противоречий Цинг. Безусловно, работы Цинг и Бреннера являются продуктами разных дисциплин – социальной науки и географии, с одной стороны, и этнографии – с другой. Однако я сказал бы, что и первая и второй заинтересованы в том, *как* анализировать «неравномерное пространственное развитие». Что означает то, что пространства произведены неравномерно? Какого рода субъективность и теория нужны, чтобы исследовать мир в состоянии пространственного неравенства? Такое расхождение в подходах провоцирует интересные вопросы им обоим. Бреннеру – можно ли анализировать качественную неравномерность пространства без участия в теоретической схеме чувственного/телесного включения этнографии? Цинг – действительно ли можно построить теорию на такой этнографии?

Здесь Цинг идёт непростой дорогой. Она точно отвергает традиционный антропологический подход, который фокусируется на изолированном локальном контексте в терминах уникальных неотъемлемых культурных структур. Однако она в той же мере критична по отношению к слишком быстрому переходу к универсальному теоретизированию. Она также не говорит, что глобальные силы производят локальное разнообразие. Скорее, пространства производят капитализм, а капитализм производит пространства. Социальные отношения и пространства на всех уровнях втянуты во фрикционные отношения, без которых не существовали бы ни первые, ни вторые. Но, обращая внимание на разнообразие и сложность локальных пространств и необходимость испачкать обувь в полевых исследованиях, Цинг также показывает важность универсалий. Причина, по которой мы начинаем полевые исследования, – имплицитное убеждение, что исследуемые нами случаи позволяют что-то утверждать о мире, т. е. находить связь между

---

13 Brenner N. A Thousand Leaves: Notes on the Geographies of Uneven Spatial Development // R. Keil, R. Mahon (eds.) *The new political economy of scale*. Vancouver, B. C.: University of British Columbia Press, 2009. P. 33.

деталью и обобщаемой истиной. При этом Цинг настаивает на том, что даже в процессе обобщения вопрос о том, кто способен сделать своё знание общим, кто может выразить своё видение того, как выглядит или должна выглядеть глобальность, это также вопрос позиции в определённых политических проектах.

> «Следуя процессам глобальных связей, эта книга – изучение этнографических методов для исследования того, как функционирует универсальное. Как только мы начинаем признавать универсальное как реализующуюся саму по себе абстрактную истину, мы должны впутать себя в конкретные ситуации. И таким образом мы обязаны начинать снова и снова, в гуще вещей» (с. 2).

Таким образом, универсалии трения возникают всегда, когда мы снова и снова вовлекаемся в процесс указывания на то, что было упущено в существующих представлениях, и начинаем строить новое представление о социально-пространственных отношениях. Сама форма *Friction* отвечает этому вызову. Главы книги касаются огромной вереницы предметных полей, причём каждая из них движется от богатства деталей к общей теме.

Первая глава погружает нас в детали вырубки леса в горах Мератус, ставя во главу угла концептуальную роль фронтира (и разного рода дискурсов) для материальных деструктивных эффектов на этой местности. *Вторая глава* посвящена параллельным исследованиям в Канаде и Индонезии. Здесь представлена модель для того, чтобы исследовать трение между разными пространствами, а также история взлёта и падения канадской горной компании вместе с историей призрачной золотой лихорадки в Индонезии. Автор захватывающе показывает, что именно пространственная специфика обеих месторасположений – канадская традиция горнодобывающего фронтира и настроения фондовой биржи, с одной стороны, а также экзотическое местоположение и специфическая экономико-политическая ситуация Индонезии, с другой стороны, – обусловили действия и разногласия, которые привели к инвестиционному пузырю и последующему коллапсу.

Третья глава посвящена той роли, которую природа и её классификации играли в создании глобального горизонта. Хотя, как показывает Цинг, приводя ряд примеров, категоризация природы всегда выполняется в рамках специфического глобального горизонта, который сам по себе является результатом находящегося в определённых обстоятельствах проекта. Так, модели глобальных климатических изменений – где предсказательная возможность модели зависит от её возможности не подвергаться влияниям локальных деталей – возникают как форма политико-экологического включения в технологическое популяризаторство в отношении того, что они могут, а что не могут утверждать о том, как может меняться климат. *Четвёртая глава* прослеживает историю движения студентов – любителей природы в Индонезии, возникшего в контексте режима строгого контроля президента Сухарто. Здесь

мы находим «внимательное чтение» природного ландшафта гор Мератус и того, как он и выявляет социальные практики, и сам формируется ими. В главе анализируются типы знания о природе и способы взаимодействий с лесом, которые ускользают от навязанных извне моделей отношений к сельской местности.

Последний раздел книги исследует перемещение универсалий как агентов, мобилизующих социальное участие. В начале этого раздела показано, что социальный активизм зависит от перемещения универсальных мечтаний вне контекста, их сформировавшего. При этом в таком перемещении через разные контексты он может трансформироваться или иметь совсем другие эффекты. Таким образом, построение альянсов и организация кампаний – это ситуация, в которой и универсалия и контекст могут поменяться, то есть это социальное движение во всех смыслах. К этому моменту Цинг возвращается в самом конце своей книги, где прослеживает удачную кампанию за прекращение вырубки леса в горах Мератус: у каждой из участвующих в кампании сторон есть своя версия не только собственных мотивации и роли, но и реального общего развития событий. Для Цинг это показывает необходимость разногласий в сотрудничестве. Точки зрения тех, кто сотрудничает, действительно различны, но это их не останавливает. Кроме того, сам процесс кампании может привести к изменениям как в существующем контексте кампании, так и в установках её участников. Для Цинг именно это являет собой модель современного политического действия.

Каждая глава начинается с поэтического фрагмента или словарных определений ключевых слов: *распространение, масштаб, обобщение, космополитичный* или *специфический, зазор, движение, сотрудничество*. Очевидно, автор стремится сопоставить различные способы знания: от крайне эмоциональных и субъективных до лингвистических и всеобщих. Насыщая эти термины, Цинг даёт им более разнообразное и динамичное значение по отношению к значению, которое им обычно приписывается. Делая это, она задаётся вопросом о том, насколько пересмотр нашего понимания мира должен также включать в себя переосмысление языка, который мы используем. Хотя в случае некоторых терминов использование словаря Анны Цинг упускает из виду научные дебаты о значении этих терминов. Примером здесь может быть термин «масштаб», означающий дифференциальное отношение между единицами пространства и являющийся сегодня центральным концептом критической географии (хотя часто сложно точно установить, что он означает).[14] А. Цинг использует этот термин, но никак не соотносит это исполь-

[14] См., к примеру, Brenner N. The Limits to Scale? Methodological Reflections on Scalar Structuration // *Progress in Human Geography*. 2001. Vol. 25, № 4. P. 591–614; Marston S. The Social Construction of Scale // *Progress in Human Geography*. 2000. Vol. 24, № 2. P. 219–242; Moore A. Rethinking Scale as a Geographical Category: From Analysis to Practice // *Progress in Human Geography*. 2008. Vol. 32, № 2. P. 203–225.

зование с существующей дискуссией. Точно так же – при том, что обобщение замечательно позволяет Цинг исследовать социальные и политические проекты вслед за распространением определённых типов знания, – можно поставить вопрос о том, как можно соотнести её работу с другими концепциями теории (как, например, прочтение Альтюссером теории у Маркса).[15] Пожалуй, слишком смело ожидать, что этнограф сможет покрыть всё. Локализация Цинг в дебатах в других дисциплинах должна быть осуществлена за счёт усилий уже других исследователей.

В промежутках между главами Цинг оставляет пространство субъективным голосам тех, с кем она говорит. В плане предметной области эти вставки варьируются от мнения менеджера по логистике, который использует локальное знание для понимания эффективных способов мотивировки для загрузки лодки в Банджармасине в ситуации, когда работники не говорят на одном языке (с. 50–53), до истории забытой конференции 1955 года под слоганом «Пускай родятся новая Азия и новая Африка», объединившей африканских и азиатских глав государств в свете надежды только что обретённой независимости (с. 81–88), и составленного по памяти списка, классифицирующего растения острова Борнео согласно локальной значимости (с. 155–171). Эти драматичные подглавы в значительной мере передают разнообразие локальных контекстов и сложность процессов, благодаря которым эти контексты производятся. Они не являются внешними по отношению к теоретизированию, но выступают его частью: это разнообразие субъективных мнений о социально-пространственных процессах, с которыми должна иметь дело современная этнография.

***

Несмотря на шумное приветствие (а может, и благодаря ему), книге, тем не менее, адресованы два обвинения. Первое, пришедшее со стороны антропологии, может быть сформулировано следующим образом: чт*о* именно является новаторским в этой книге? Подзаголовок *Friction* звучит как «этнография глобальных связей», но исследование того, как местные сообщества активно включились в распространение капитализма, трансформируя свои ритуалы и обычаи, чтобы придать им новое значение в новых социальных условиях, – это то, что такие антропологи, как, напр., Маршалл Салинс, делают уже долгое время.[16] Пожалуй, правдой является то, что в этой книге отсутствуют ссылки на предшественников

---

15 Althusser L. From *Capital* to Marx's Philosophy // L. Althusser, E. Balibar (eds.) *Reading Capital*. London: NLB, 1970. P. 11–71.

16 См., напр., Sahlins M. The Economics of Develop-Man in the Pacific // *Anthropology and Aesthetics*. 1992. Vol. 21. P. 12–25. Интересную дискуссию по поводу книги с антропологической перспективы можно найти в антропологическом блоге «Savage Minds» (лето 2006-го); см.: [Электронный ресурс] Точка доступа: http://savageminds.org/2006/05/25/reading-circle-lets-do-friction/ Дата доступа: 11.03.11.

(как в более ранних работах автора), а риторическая сила Цинг не спасает от отсутствия академической строгости.

> «Трение делает глобальные связи крепкими и эффективными. При этом трение тем не менее препятствует гладкой деятельности глобальных сил. Различие может разрушать, обусловливая повседневные сбои и неожиданные катаклизмы. Трение отрицает ложь о том, что глобальные силы функционируют как хорошо смазанный механизм. Более того, различие иногда побуждает к бунтам. Трение может быть мухой в носу у слона» (с. 6).

Это замечательное поэтическое описание потенциала и проблем неровных отношений повседневных проявлений и разрушений власти, распределённых по территории, читается как радикально инновативное и наполняющее энергией. Но когда оно переносится на такой уровень генерализации, можно также остановиться и подумать о том, чт*о* на самом деле значат эти термины. Конечно, «различие может разрушать», но чем является это различие, где оно происходит и почему оно становится разрушающим? Если мы стремимся к точности, мы можем придраться к тому, что муха *является причиной* трения в носу слона и именно поэтому слон чихает. Не является ли формулировка, что трение может быть «мухой в носу у слона», более близкой сказке, чем теории?

Это приводит нас ко второму пункту критики: *Friction* – и книга и концепт – это теория? И если да, какого рода теория? Цинг показывает, что отдельные пространства, такие как тропические леса Южного Калимантана, предлагают нам точку зрения, разоблачающую доминирующее в*и*дение глобализации. Эффекты глобализации более многообразны, бедственны и пространственно чувственны, чем это предполагается существующим доминирующим дискурсом. В то же время работать с универсалиями из перспективы различия – это то, что делает возможной артикуляцию альтернативных представлений о том, как может выглядеть глобальность. Таким образом, в каком-то смысле Цинг показывает, что современный момент – это когда пространство, во всей свой чувственной сложности этнографического *case-study* создания связей, должно быть снова привнесено в теоретизирование в попытке артикуляции и влияния на *status quo*.

Так, когда я стою перед хутором среди полей северо-западной части Беларуси и мне показывают, что роща среди полей – это место, где сейчас живут или когда-то жили люди, я вижу эту рощу через оптику тех способов, которыми Цинг описывает местоположения когда-то выжженных полей, которые теперь читаются лишь через конфигурации фруктовых деревьев (с. 171–202). Выжженные поля превозносятся Цинг как одновременно поликультурные (в смысле множества видов), смешивающие культивацию и природный рост (так, что здесь нет разницы между растениями и сорняками), и временные: после того как лес был выжжен и земля какое-то время использовалась, домохозяйство переезжает на новое место. В то

время как бывшее поле всё ещё будет использоваться, например, как место, богатое на фруктовые деревья, растущие в лесу. По мнению Цинг, такое обильное использование «сорняковости» смешивает различие между культивированным и природным/диким, на котором обычно строятся в*и*дения сельской местности и охраны окружающей среды. Хотя этот способ культивации сильно отличается от способа культивации в северо-западной Беларуси, видеть ландшафт через призму концептов Цинг значит задуматься о том, какого рода пространственное трение на разных уровнях приводит к тому, что сельская местность формируется именно таким образом. Что означает – примерить на себя перспективу жителей этого региона (и его экологии) в качестве отправной точки для мышления о мире? И какие формы знания могут возникнуть из исследований локальных практик, через которые взаимодействуют люди и природа?

Я пытаюсь сказать, что я не уверен, что *Friction* – это теория. Скорее, это изумительное чтение, которое попадает вам под кожу и заставляет вас исследовать и выявлять те расхождения, из которых состоит мир. История лесов Южного Калимантана говорит нам как об индонезийских тропических лесах, так и о мире. Таким образом, трение – это призма для исследования того, как пространства создаются в сплетениях и искажениях идей, а в книге утверждается, что такие исследования – это основной социальный, академический и экологический вызов наших времён. Интенсификация интернационализации и транснационализации экономики, медиа и политики не делает мир более плоским. Напротив, эти процессы создают мир, где исследования процессов создания дивергенций и несправедливости становятся всё более и более необходимой интеллектуальной инициативой. Это поле сложно, но, читая Цинг, мы понимаем, что здесь действительно необходимо много поработать и что она сама будет рядом в качестве союзника.

Бенджамин Коуп
Перевод с английского *Сергея Любимова*

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Философско-культурологический журнал «Топос»
объявляет о сборе материалов для очередного номера

К рассмотрению принимаются оригинальные статьи (до 1 п.л.), рецензии (до 0,5 п.л.) и переводы (при наличии авторских прав). Материалы можно представлять на русском, белорусском, английском, немецком или французском языках.

Статьи должны сопровождаться краткой (до 250 слов) аннотацией на английском языке с указанием (на англ.) имени автора, названия и 5-7 ключевых слов. Материалы присылать в формате «doc» или «rtf». Ссылки и примечания оформляются в виде постраничных сносок. Примеры оформления цитат см. ниже. В сведениях об авторе просим указать: ученую степень и звание (если есть), институциональную принадлежность (место работы).

Материалы присылать по адресу: **journal.topos@ehu.lt**

1. Toulmin S. *Cosmopolis. The Hidden Agenda of Modernity*, Chicago: The University of Chicago Press 1992, p. 31.
2. Held K. *Husserls These von der Europäisierung der Menschheit* // C. Jamme und O. Pöggeler (Hg.), *Phänomenologie im Widerstreit*, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 1989, S. 13–39.
3. Хайдеггер, указ.соч., с. 54.
4. Ibid., p.15.
5. Там же, с. 78.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

Journal for philosophy and cultural studies ***Topos***
published by the European Humanities University (Vilnius)
wellcomes submissions for publication

Contributions can be presented in English, German, French, Russian and Belarusian. They should not exceed 40.000 characters for articles and 20.000 characters for reviews.

Contributions should be sent in doc or rtf format. Authors do the proof-reading of their texts.

The author should include an abstract of the article of no more than 250 words as well as five keywords in English. Please attach also a short CV (name, grade, position, institution). For notes and references, only footnotes should be applied. Notes should be indicated by consecutive superscript numbers using the automatic footnote feature in Word. Citations and literature should be put down according to the rules applied in the examples listed below.

Manuscripts should be addressed to:
journal.topos@ehu.lt

1. Toulmin S. *Cosmopolis. The Hidden Agenda of Modernity*, Chicago: The University of Chicago Press 1992, p. 31.
2. Held K. *Husserls These von der Europäisierung der Menschheit* // C. Jamme und O. Pöggeler (Hg.), *Phänomenologie im Widerstreit*, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 1989, S. 13-39.

Формат 70x100 $^{1}/_{16}$. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 21,3. Тираж 300 экз.
Отпечатано: «Petro Ofsetas»
Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius